

Серия
Баллада

КАРИБСКАЯ
ОСЕНЬ





Frank
Baum





КАРДИБСКАЯ ОСЕНЬ

ПОВЕСТИ
РАССКАЗЫ
ЭПЮДЫ

ДАГЕСТАНСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МАХАЧКАЛА 1987

ББК 84 Даг
Б 30

Б 30

Бахшиев Ф. М.

Кардибская осень: Повести. — Махачкала: Даг. кн. изд-во, 1987 — 280 с.

В книгу известного дагестанского писателя, тата по национальности, создающего свои произведения на русском языке, вошли уже известные дагестанскому читателю повести «Происшествие в ауле Муно», «Поезда», а также новые — «Кардибская осень», «Оборотень» и другие.

В новых произведениях поднимаются острые социальные и семейно-бытовые проблемы, затрагивается ряд вопросов морали, этики.

ББК 84 Даг

Б 4702010200—151 48—87
М 124—87

© Дагкнигоиздат, 1987 г.



ПОВЕСТИ



КАРДИБСКАЯ ОСЕНЬ

* * *

Это случилось высоко в горах. Там, где обрывают свой бег поросшие лесом горные кряжи и далеко до снежной гряды простирается желтое плато...

* * *

Над горами забрезжил рассвет. В чуткую тишину стали вплетаться еще слабые неясные звуки. Где-то, кажется, заскрипела арба. В густой листве зашуршал ветер, внизу, у реки, ухнуло. И наконец, нетерпеливое и долгое ржанье разорвало, казалось бы, установившийся покой.

Магома сбросил с себя бурку на деревянный пол, приподнялся, подперев поясицу рукой, потом сел на грубо сколоченную тахту, обтянутую буйволиной кожей, и широко и протяжно зевнул.

— Кто это там ни свет ни заря под моим балконом? — проговорил он громко, подходя к перилам. — Эй, кто ты? Алихан? Ты куда? Вижу, в долгий путь собрался, вон как хурджинами обвешался.

— К детям еду. Зовут к себе. Если понравится — останусь у них.

— Как не понравится, они, если мне не изменяет память, где-то в низовьях Сулака живут.

— За Кизилюртом, у моря.

— Да, да, помню. Езжай, счастливого пути!

Магома долго смотрел вслед Алихану. Отсюда с балкона просматривалось плато и уплывающие вправо горы, дорога, спускающаяся в долину реки и дальше в аул Кардиб. На хутор Магомы не доносились звуки и запахи аула — аул лежал в ложине километрах в десяти, — лишь от мельницы, что стояла на реке, слышались голоса людей, скрип колес, гул автомашин.

«К детям еду, зовут к себе, — повторил Магома слова Алихана. — Ишь ты, к детям понесло, а детям никак лет за сорок». Магома поднял с пола бурку, накинул на плечи и лег на тахту.

«А ведь я тоже ездил к детям, звали к себе, ох, как звали, поехал да вернулся».

И припомнил Магома.

Как только ни просили его: и письма писали, и сами наезжали, и стариков засылали — приезжай, отец, ты давно живешь без матери, трудно тебе, оставь этот богом забытый хутор, продай дом, овец, коз, продай все и приезжай. Хочешь, живи в Буйнакске, нет — в Хасавюрте, в Избербаше, все сделаем, чтобы ты не скучал. Да разве дадут скучать внуки, телевизор, гости... А там ты один-одинешенек, в тяжелую минуту некому и стакан воды подать...

И уступил старый Магома.

В Шуру он приехал не с пустыми руками. Четыре бурдюка овечьего сыра и столько же масла, несколько мешков муки, пшеничной и кукурузной, битая птица, два черных барана, большие корзины кураги — все это добро было встречено внуками с возгласами и криками радости, да и лица взрослых светились радостью: сын гордился щедростью отца, невестка была довольна обилием продуктов. Магоме отвели комнату, в которой стояла железная кровать, старый платяной шкаф, стол, стулья и табуретка. Пол был устлан верблюжьим паласом. Во время еды вся семья собиралась в большой гостиной, в остальное время, — а у Магомы оно почти все было свободное, — он работал во дворе, в огороде. Магома сначала было удивился практичности сына, но вскоре понял, что дома верховодит невестка, и идея закладки огорода принадлежала ей. Что только ни сажали они: лук и петрушку, укроп и сельдерей, клубнику и чеснок, помидоры и огурцы... Одним словом, за овощами, да и за фруктами на базар не ходили. Все было свое.

По вечерам семья собиралась в гостиной, сын сообщал жене о делах на заводе, а та — о своих делах в детском садике, Магома рассказывал внукам сказки и разные охотничьи истории. Казалось, что нужно было еще ему, Магоме? Что? Ни в чем он не испытывал нужды, на ласки был щедр, да и внуки отвечали ему тем же. А когда подкатывала, подступала к горлу тоска по Кардибу, Магома уходил за город и бродил по горам...

Прошло уже больше года. Как-то Магома случайно услышал разговор сына с невесткой. Магоме не спалось. Где-то за полночь он вышел во двор и сел на табуретке под окном. Его слух уловил еле различимый шепот; он осмотрелся, двор был пуст. Вдруг за окном послышался смех, потом женский голос со вздохом произнес:

— Ну и жаден же твой старик. Сундук набит деньгами, а он бедняком прикидывается! Кому бережет, на тот свет, что ли, заберет с собой?..

— Перестань чепуху говорить, отчего ему быть богатым?

— Сам ты... чепуху думаешь. Всю жизнь он чабаном был, а как чабанам платят — не мне тебе рассказывать.

— И это обо мне, неужели обо мне? — спросил себя Магома. — Ну, конечно, о ком же они могут говорить еще, мой сын и невестка? Вот так, значит, Магома, дожил ты до того, что и жаден стал, и скуп, детей обделил, а сундук полон денег. Верно невестка говорит — денег у меня немалс, но зачем им деньги? Живут они неплохо, в достатке, нужды ни в чем не испытывают, дом себе построили... А все остальное пусть наживают сами, тогда слаще будет...

— Хотя бы подарок сделал своей невестке, — слышалось опять из комнаты. — Ну, никакой благодарности ко мне, ухаживаю, как за малым ребенком, стираю ему, готовлю горские блюда, а он все это принимает как должное...

— Ну, что ты, в подарке нуждаешься или в словах благодарности? Отец тебя очень уважает, но пойми, он горец, кардибец, а кардибцы свои чувства скрывают глубоко...

— Как деньги в сундуке, — засмеялась невестка.

Магома покачал головой, поднялся и медленно пошел в свою комнату. До утра он не сомкнул глаз, ворочался в постели, кряхтел, поминутно пил воду и не мог утолить жажду: так сухо было во рту и жарко в груди. Утром, когда сын и невестка ушли на работу, Магома связал свои пожитки в большой узел, другой рукой подхватил сундук и вышел из дому. Внукам он сказал, что едет в Кардиб, пусть так и передадут отцу.

В течение всего долгого пути из головы Магомы не выходил разговор, услышанный им ночью под окном сына. И только увидев свой дом, показавшийся ему сейчас до боли близким, родным, словно живой человек, и войдя во двор, хранивший запах овец, сыра и солнца, он почувствовал, как в груди стал оттаивать тяжелый комок. Поднявшись на балкон, Магома долго глядел на горное плато, облитое сумеречным светом, потом повернул голову к острым пикам, обросшим буйной зеленью, прислушался к звукам, доносившимся с мельницы, забыл и Шуру, и неприятный разговор за окном.

На следующий день Аспарух привел Магоме жеребца, помог купить овец и коз, и потекли дни своим чередом...

Магома вздохнул и проговорил:

— Пятнадцать лет прошло. А кажется, все было вчера. — Он покачал головой, привстал, опустив ноги и ощущая, как к нему снова возвращаются силы, сбросил бурку и спустился с балкона во двор.

Над седловиной, возвышавшейся над аулом Цумилух, занималась заря, высвечивая зелень лесов.

— Марс...

Слова еще не успели слететь с губ Магомы, а огромный, почти с бычка, пес с коротко обрезанными ушами и обрубленным хвостом уже терся тяжелой мордой о его ноги.

— Ну, ну довольно ласкаться, пора идти на пастбище,— произнес Магома, потрепав пса за уши.— Пойдем, я тебя покормлю.

Потом Магома вымел со двора жесткой метлой старую свалывшуюся солому, сгреб ее в угол двора и поджег, и, вырывая вилами от стога добрые, увесистые охапки, раскорячась, широко шагая, перетаскивал свежую солому в конюшню и задал ее жеребцу. Уже умаявшись, опустил в огромный глиняный кувшин пол-литровую кружку и одним духом, делая большие глотки и чувствуя, как застывают зубы, выпил холодной бузы. Он крикнул, вытер губы тыльной стороной ладони и удивленно приподнял брови. За воротами сигнализала машина.

— Кому понадобилось будить тишину? — громко произнес Магома.

— Это мы, кудада¹, — слышался веселый голос.

— Мы не имя. Кто вы? — Магома шел к воротам, чувствуя в откликнувшемся голосе что-то знакомое.

— Аслан и Шагид...

— Ну, конечно, это Аслан, — сказал про себя Магома, — его голос. Как я мог забыть? Да и запомнить мудрено — не частые гости.

Магома распахнул ворота и встал в сторонку, пропуская белые «Жигули».

Из машины, вставшей посреди двора, вышли двое молодых людей. Один из них, среднего роста, широкоплечий, черноволосый, улыбаясь, подошел к Магоме и крепко обнял за плечи. Другой, высокого роста, худощавый, с болезненной бледностью, дождался, пока первый выпустит Магому из объятий, потом пожал руку Магомы, осторожно и бережно поцеловал заросшие короткой седой щетиной щеки. Глаза у Магомы увлажнились, он крикнул и громко, чуть грубовато произнес:

— Идите в дом.

Аслан пошел первым, за ним последовали Шагид, вслед и Магома.

— Как мои правнуки растут, здоровы, не болеют? — спросил Магома, поднимаясь по лестнице.

— А чего им болеть, если родились от таких здоровых парней-джигитов? — Аслан засмеялся.

К у д а д а — дедушка (с аварского).

— Ты больше не подарил мне никого? Шагида не спрашиваю, он деда не обидел.

— Мне хватает и одного. К чему собирать футбольную команду?

— А у меня вот была, как ты говоришь, футбольная команда. Только в живых остались пятеро: твой отец, Шагида, три дочери — ваши тети. И ничего, жили, выросли, разлетелись во все стороны. А правнуков сколько стало! У Шагида только шестеро детей... а ты... скупой ты, Аслан.

— Нет, кудада, не скупой, а жадный. Жадный до жизни. Я хочу увидеть, познать, почувствовать все, а разве с детьми позволишь себе это?

— Скупой. Ты не хочешь тратить на них, отдавать им свое тепло, душу, сердце. Это скупость. В кого ты такой пошел? Не в отца, наверное, в мать...

— И чего вы затеяли перепалку? — произнес Шагид. — Сколько лет не виделись, а нужных слов не найдете.

— Потому и мелем языками, чтобы не расплакаться, — ответил Магома.

Но Аслан последних слов уже не слышал. Он вошел в комнату, застыл, скрестив руки на груди, и удивленно произнес:

— Вот это да!.. Мы думаем, он живет отшельником на хуторе, а здесь цветной телевизор, радиола, пол весь в коврах, а комната-то — в нее вместится вся моя трехкомнатная квартира. Вот тебе и отшельник.

— Не думай, что мы здесь одичали. Поинтересней и побогаче тебя живем.

— Побогаче, может быть, — проговорил Аслан.

— Почему может быть? Показать тебе мое богатство? — Магома широко улыбнулся. — Ладно, сначала покормлю вас, а потом уже все остальное, что вас интересует. Ты, Шагид, полезай на чердак, возьми муку, Аслан принесет снизу мясо. Там на жерди баранья туша висит, а я пойду попробую печь растопить. Мужское блюдо будем готовить.

Вскоре в летней кухне под навесом, в каменной печи, запылал огонь. Мужчины готовили хинкал.

— Как вы оказались у меня? — не поднимая головы, спросил Магома.

— В Кардипе были, гостили у своих, — ответил Шагид. — Вот и заехали провести тебя.

— А чего это ты такой желтый, как шафран? Болеешь, что ли, или Киев тебя так перекрасил?

— Болею, наверное. Печень шалит.

— Печень — это плохо. От газа и чада, которые выпускают машины, какую только заразу не прихватишь. — Магома бросил

быстрый взгляд на Шагида. — В горах надо пожить тебе, я тебя травами подлечу да настоящим медом.

Магома тяжело поднялся и со ступкой в руке пошел в дом. Скатерть он раскинул на полу, покрытом толстым паласом, бросил рядом три плотные подушки, потом — плоские лавашы, разложил тарелки, с первого этажа принес сыр, кувшин с бузой и прилег на одну из подушек. Умаялся.

Вскоре поднялись внуки, неся казан с хинкалом.

— Расщедрился кудада! — воскликнул Аслан, бросив взгляд на скатерть. — Настоящее горское угощение.

— Послушай-ка, Шагид, ты, по-моему, мне что-то обещал, — проговорил Магома, прищурившись и откусывая от зубчика чеснока, не обращая внимания на Аслана.

— Ах, — Шагид опустил казан на деревянный поднос и развел руками, — совсем запамятовал. Я сейчас.

Он выбежал из комнаты. Аслан посмотрел ему вслед и усмехнулся:

— Видать, ты ему чем-то угодил.

— Не всех же ругать и поучать. Велел его отцу разрешить сыну ехать учиться куда хочет. Да-да, велел, тот не хотел отпускать сына из дому. Уехал Шагид в Киев, поступил в институт, а дальше сам знаешь. Стал хорошим специалистом; работает на заводе. Вот теперь и угождает мне.

Шагид вбежал в комнату, отдышался и протянул Магоме коробочку.

— Возьми, кудияв эмен².

— Ну, внук, большое тебе спасибо за подарок.

— А что там? — Аслан с любопытством вытянул голову.

Магома распечатал картонную коробку, достал из нее чуть поменьше, обтянутую черной кожей, осторожно открыл и тихо, зачарованно произнес:

— Линза.

— Что-о-о? — протянул Аслан.

— Линза.

— Какая еще линза?

— Для телескопа.

— Ничего не пойму, кудада. Для какого еще телескопа?

— А у меня на чердаке телескоп установлен.

— Ты что, звездочетом заделался?

— А чем я хуже звездочета? — Магома засмеялся. — А все вы... Помнишь, когда я жил в Шуре, у вас, мы вечерами по телевизору космонавтов смотрели, о разных звездах и мирах беседы вели. А уезжая от вас, я купил телескоп. И стал по ночам раз-

² Кудияв эмен — дедушка (с аварского).

глядывать звезды... Ну, а теперь пора наполнить стаканы бузой и приняться за хинкал.

Ели смачно, аппетитно. Когда все было съедено и выпито, молодые убрали посуду, и все трое вышли на балкон. Переваляло за полдень, и здесь было тенисто и прохладно. Впереди, до далекого заснеженного хребта, лежало горное плато, облитое ярким горячим золотом. Аслан и Шагид сели на крепкие низкие табуреты, прислонились к стене и вытянули ноги.

Магома несколько раз прошелся по балкону, потом забрался на тахту, подтянул ноги и обхватил их под коленями руками, глядя вдаль.

— Красиво,— проговорил он.— В любое время красиво. Сейчас плато цвета рыжей лисицы. Пройдет некоторое время, окрасится в цвет бурого медведя, потом серого волка, а там и черного ворона... На охоту не пойдете? Я вам снаряжение приготовлю.

— Не собираемся, кудада, мы завтра уезжаем,— сказал Аслан.

— Недолго вы у меня гостите.

— В Кардибе засиделись.

— От Кардиба до моего хутора очень далеко...— Магома усмехнулся.— Мои добрые ноги успевали туда и обратно, пока покойная хозяйка коз доила.— Что-то ко сну меня клонит, вздремну я немного, да и вы идите отдыхать.

— Мы пройдемся, наверное, немного,— сказал Шагид.— Ты как, Аслан?

— Где тут пройдешься, на что и кого смотреть? Пойдем вздремнем часок, а там и кудада проснется и сказки нам на ночь расскажет.

— Да, да, идите, потом расскажу,— проговорил уже сквозь сон Магома...

Отрывистый лай разбудил Магому. Он, крихтя, встал, провел ладонями по лицу, окончательно отгоняя сон, спустился во двор и толкнул ворота. Напирая друг на друга и блея, во двор вбегали бараны и козы, внося с собой терпкий, тяжелый дух.

Магома направился в летнюю кухню, вымыл руки в бочке, взял в руку два ведра и, гремя ими, пошел через двор. Присев на табурет, он зацокал языком, ласково похлопал козу по спине и взял ее за вымя. В ведро стекали струйки молока, коза стояла неподвижно и благодарно.

Подойв коз, Магома вышел с двумя полными ведрами, присел на нижнюю ступеньку лестницы.

— Аслан, или ты, Шагид, принеси лаваш, сыр и кружки. Будем ужинать. Что может быть вечером лучше свежего молока? Глядите, как пар поднимается от него.

Внуки приставили рядом табуретки и принялись аппетитно есть лаваш с сыром и запивать молоком, черпая его кружками прямо из ведра. Мужчины опорожнили почти ведро молока. Магома принес из кухни глиняный кувшин, налил в него содержимое другого ведра, поставил кувшин между колен и принялся перебрасывать от руки к руке, взбивать масло.

— Так какую сказку вам рассказать, внуки мои? — губы Магомы тронула улыбка.

— Ту, которая пострашней и подлинней, — засмеялся Аслан.

— Смеешься, а в детстве ты слушал, разинув рот. Да еще плакал от жалости к обиженным. В детстве ты был мягче душой, щедрее.

— А сейчас скупее стал?

— Я тебя знал маленьким. Сейчас ты для меня неведом... Ну, сбил я вам свежего масла на утро, а теперь пойдемте, побродим, на мельницу сходим, к чабанам заглянем, горным воздухом подышим.

— Что бродить зря-то, горного воздуха не знаем? — пробовал Аслан. — Я останусь.

— Нет уж, все пойдем, уважь деда. Может, в последний раз и видимся-то... А дела свои, — Магома бросил взгляд на Аслана и улыбнулся, — потом сделаешь. Впереди еще ночь у нас.

— Какие у меня дела? — встрепенулся Аслан. — Нет у меня никаких дел.

— Ну нет, так нет. Тем лучше. Пойдемте, что ли?

Они пошли с хутора вниз. У реки Магома остановился, зачерпнул ладонью воду, выпил, потом обмыл лицо.

— Здесь мы с Аспарухом делали запруду и резвились, пока каменные жернова перемалывали кукурузу. Целая вечность будто прошла, а река все та же, не убавилось воды в ней, не прибавилось.

Зашли они на мельницу посидеть с мельником чуточку и задержались, надышались свежей мукой, поговорили о мирских делах, посудачили. Потом поднялись на третий серпантин, посидели с чабанами у костра. Магома бросал в костер хворост, смеялся по-молодому задорно и весело, пил бузу, рвал зубами мясо и, казалось, он снова был молодым. Потом они перешли через реку по висячему шаткому мосту, вышли на плато и направились к хутору. Было тихо и спокойно, луна обливала все вокруг холодным призрачным светом, остужала горы, леса, небо...

Магома поднялся на балкон, сел на тахту, потом осторожно лег навзничь, накрылся буркой и, зевая, проговорил:

— Выпейте айран на ночь — освежит вас.

— А ты почему не выпьешь? — спросил Шагид.

— Меня айран уже не освежает. Только воспоминания...

Он взял из рук Шагида кружку, приподнялся, выпил, вытер рот ладонью и продолжил:

— Как сегодня. Правда, немного притомился, но зато сколько было воспоминаний, душа радуется. Идите спать, поздно уже.

Внуки ушли в комнату, а Магома еще долго смотрел на небо, пытаясь разглядеть звезды, но они в лунном сиянии словно оттаивали, как кусочки льда.

— Что ты рыщешь по комнате, как волк? — донесся до слуха Магомы голос Шагида. — Что с тобой происходит?

— Не твоего ума дело, спи, — сказал Аслан.

Над плато раздался протяжный высокий звук и растаял — пролетел самолет. Заржал жеребец, потом отрывисто, коротко дважды залаял пес. И все стихло.

Жаль мужчину, подумал про себя Магома и вдруг отчетливо вспомнил тот день, когда отправился с сундуком в сельсовет. Когда это было? Месяца три или четыре назад... Сел он на жеребца, поставил впереди себя сундук, аккуратный, резной, со всякими животными и птицами, вырезанными по дереву, и направился в Кардиб. В сельсовете кроме председателя никого не было.

— Приветствую тебя, председатель, — громко произнес Магома, со стуком поставив в угол кабинета сундук.

Председатель сельсовета пятидесятилетний Рапани, высокий, седой, худощавый, но жилистый мужчина, приветливо улыбнулся, поднялся из-за стола и повел Магому к креслу:

— Садись сюда, Магома, здесь мягко.

— Нет, я привык к жесткому... А впрочем... — он опустил-ся в кожаное кресло и словно утонул в нем:

— Будь у меня такая уютная вещица, я бы потерял вкус и чабанить, и охотиться. Век бы сидел здесь. И придумает же человек на горе себе такую усладу. — Он еще раз крякнул и провел ладонью по лицу.

— А я к тебе по делу, председатель. Придвинь к себе сундук и загляни в него.

Рапани удивленно глянул на Магому, молча встал, принес сундук к столу, открыл крышку и уставился не мигая. Потом перевел взгляд на Магому и тихо спросил:

— Нашел?

Магома, внимательно наблюдавший за председателем, вдруг захихикал, прикрыв рот рукой, потом откашлялся и проговорил:

— Много такого ты видел на горных дорогах и тропах?

— Ни разу не видел.

— Что же тогда спрашиваешь?

— Неужели твои?

Лицо Магомы внезапно стало серьезным. Он заложил руки между колен и задумчиво произнес:

— Сколько лет ты меня знаешь, председатель?

— Столько, сколько живу на свете.

— Сколько лет я работал в колхозе чабаном?

— До войны и после войны. Сколько живу на свете.

— А ты спрашиваешь: «Неужели твои?» Мальчишка!

Рапани растеряннo глядел на Магому и никак не мог взять в толк, чего от него хочет этот почтенный старик?

— Мальчишка! — повторил Магома, и следя за растерянным взглядом Рапани, мягко улыбнулся. — У меня таких сыновей, как ты, двое. Да ты их знаешь: тоже мальчишки. Дочерей трое, все имеют детей, внуков, живут хорошо, красивей и удобней, чем мы с тобой. И вот решил я, чтоб на эти деньги ты построил хороший детский сад-ясли для маленьких кардибцев.

Рапани вышел из-за стола и заходил по кабинету; ни с того ни с сего вдруг гулко застучало сердце. Он подошел к тумбочке, на которой стоял графин, долго смотрел на него, выпил воды и снова зашагал.

— Я что-то нехорошее предложил тебе? — сказал Магома, прищурившись.

— Нет, нет... просто... необычно это, впервые...

— Дай аллах, чтоб стало обычным. Ну что, берешь?

Наконец Рапани очнулся от наваждения, сел за стол, придвинул к себе бумагу и ручку.

— Надо составить акт.

— Какой еще акт? — удивился Магома, вытянув шею.

— Акт о том, что ты дал мне столько-то рублей на строительство детского сада-яслей.

Магома положил руки на подлокотники и громко расхохотался.

— Ты что думаешь, председатель, я не верю тебе?

— Все должно быть по закону, — рассудительно сказал Рапани. — Мы должны составить документ о том, что ты сдал свои сбережения государству, да еще копию документа я тебе вручу. Все должно быть по закону.

— По закону, так по закону. Я разве возражаю? Только об одном прошу тебя: чтобы он носил мое имя.

— Кто он? — не понял Рапани.

— Аждаха с горного плато. Помнишь, о нем говорили прошлой осенью.

— Какой еще аждаха?

— Да детский сад.

Рапани схватился обеими руками за голову и с силой откинулся на спинку стула.

— Ты издеваешься надо мной?

— Я же всегда говорил, что вы мальчишки,— примирительно сказал Магома.— Я прошу, чтобы детский сад носил мое имя.

— Ну... этого я не могу... Если бы ты был героем войны или героем труда... Нет, не могу...

— Героем...— передразнил Магома.— Красным партизаном я был? Был. С Аспарухом бандитов изгоняли, Советскую власть для тебя утверждали. Документы есть у меня и свидетель — Аспарух. В коллективизации участвовал? Участвовал. Первыми колхозниками были с Аспарухом. Потом Аспарух стал председателем, а я пошел в чабаны. В войну где я был? На фронте. С Аспарухом. Кавалеры трех орденов Славы. Это что тебе — не герой? Потом опять чабанил, орденом Ленина наградила меня Советская власть. Это тоже тебе не герой? Эх ты, мальчишка! Да если Магома, Аспарух и другие не щеголяют, не высовываются, они не герои?.. Героем человека дела делают, а не язык.

— Да ты не волнуйся. Что мы, не знаем тебя? Соберем сельсовет, поговорим, решим...

— Поговорим... решим... Я же тебя не заставляю мое имя высекать на стене детсада. Поговорим... решим... Так бы и сказал: соберем сельсовет. А то какими словами сразу прикрылся: героем надо быть... Ох, как удивил! Давай забирай деньги и верни мне сундук, мне на хутор пора, заболтался с тобой.

— Ты прости меня, Магома, что не так сказал, ведь необычно все это...

— Для тебя необычно, для нас обычно.

— Не спеши, Магома, сейчас составим акт, все по закону...

— Составим, составим, только деньги выгребай, не то — передумаю.

Рапани быстро встал из-за стола, открыл тяжелую дверцу громоздкого сейфа и высыпал в него деньги. Потом повернул к Магоме удивленное лицо и проговорил:

— Мы же не сосчитали сумму!

— Если ты мне веришь на слово, я тебе назову, садись, пиши акт.

... Высоко в небе снова раздался длинный, протяжный звук. «Быстро бежит время,— произнес про себя Магома.— Кто бы мог подумать, что над этими горами когда-то полетят самолеты. Да еще на такой высоте, что и не видно их: только звук касается уха, словно звон комара». Магома закрыл глаза и тут же уснул.

Разбудил Магому глухой стук и звон железа. Он открыл глаза и не поверил себе: солнце уже умывало небо! «Неужели я так долго спал? — спросил он себя.— Ну, конечно, самому трудно

поверить в это. Никогда так поздно не просыпался». Он поднялся с тахты и глянул во двор.

Шагид чистил машину.

— Собрались в дорогу?

— Пора, кудада. Пока заедем в Кардиб, соберем вещи, уже и полдень будет. А путь долгий.

— Да, путь долгий. Сколько суток до Киева на твоей машине?

— Три-четыре дня. От Махачкалы, конечно.

— То-то же... — усмехнулся Магома. — От Кардиба до Шуры почти день приходится петлять.

Магома сошел во двор, подошел к Шагиду, несколько минут смотрел, как тот копошится в моторе потом спросил:

— Аслан где? Не проснулся еще?

— Раньше меня, — буркнул Шагид.

— Заканчивай работу, надо завтракать, — сказал Магома, направляясь к летней кухне.

— Нет, кудада, не будем, честное слово, времени нет.

— Ну, вам видней.

Магома подошел к рукомойнику, ополоснул лицо, потом принес из погреба глиняный кувшин и поставил на нижнюю ступеньку.

— Кислое молоко выпейте.

— Это с удовольствием. Спасибо, — сказал Шагид, вытирая ветошью руки.

Магома поднял голову: насвистывая залихватскую мелодию, спускался Аслан.

— Как спалось, внук?

Аслан налил в кружку кислого молока, выпил, наполнил еще кружку и задумчиво произнес:

— Не знаю даже, как ответить. Как я спал?.. Как никогда. Это тебе что-нибудь объяснит?

— Почему же нет? В горах с непривычки всегда так спится.

Магома замолчал. Молчали и внуки.

— Вот что, Шагид, ты пройди в кухню и сними с жерди тушу барана, а Аслан принесет с чердака мешок муки. Поделите на двоих.

— Да что ты, кудада, не надо, мы... — начал было Шагид, но Аслан оборвал его:

— Что ты ломаешься, тебе от чистого сердца дает дед родной, а ты песни неясные поешь.

И быстро взбежал по лестнице. Вскоре он вернулся с мешком на плече.

Пока внуки укладывали тушу и муку в багажник, Магома вывел во двор жеребца, обтер его, расчесал холку и хвост и стал

прилаживать седло.

— Жеребца тоже даришь? — шутливо спросил Аслан.

— Провожу вас, — коротко ответил Магома.

Наконец внуки сели в машину и выехали за ворота, Магома вддел одну ногу в стремя, легко вскочил в седло и, тронув жеребца, последовал за ними.

Жеребец легко и свободно скакал, Магома чуть покачивался в седле, глядел на машину, едущую впереди, и почему-то грустно становилось на душе.

«Что это со мной происходит? — сказал себе Магома, — Совсем раскис. Погостили ночь и едут к семьям, и за то спасибо, что заехали, повидали старика. Нет, не то, совсем не то я думаю и говорю. Родных захотелось...

Да, родных захотелось повидать. Ну ты посмотри, что за создание человек! Увидел двух отпрысков рода, как захотелось повидать родных».

Машина въехала в реку, осторожно перебралась на противоположный берег и быстро пошла по ровной дороге вдоль берега. Магома недолго следовал за ней; натянув поводья, он погнал жеребца, перегнал машину и стал поперек дороги. Внуки поняли. Они одновременно открыли дверцы машины, вышли к деду, не дав ему сойти с коня, обняли, приложились щекою к щеке, потом сели в машину и уехали. И только три слова витали еще в воздухе: «Мы еще приедем!»

Магома повернул жеребца и поскакал к себе на хутор.

Запахи родного двора успокоили его. Он спешил, притворил ворота, поднялся на балкон, но сидеть здесь в такое время ему показалось скучно, и он вошел в комнату. Заложил руки за спину и ссутулившись, зашагал из угла в угол, ругая себя за то, что не пошел на плато.

Он взял с подоконника линзу, повертел ее так и сяк и опустил руку: и линза не вызвала интереса. И, чтобы скоротать или, вернее, убить время, решил поспать.

Магома поднялся на чердак, где было темно и прохладно, лег на душистый ворох соломы и с удовольствием почувствовал, как из тела стала уходить тяжесть. Вскоре глаза его стали узнавать знакомые предметы, а потом натолкнулись и на сундук. Магома улыбнулся, закрыл глаза и уснул. Люк на крыше был открыт и в него вливался чистый и свежий воздух. Спустя некоторое время люк залил солнечный свет и огненный квадрат упал на Магому.

Магома что-то пробурчал во сне, отвернул лицо от света, потом машинально отполз в сторону и откинул правую руку. Пальцы разжались, из ладони на солому выскользнула линза.

Пучок солнечных лучей медленно, но упорно приближался к ней.

* * *

Тонкую струю, поднимавшуюся над крышей дома Магомы в ясное небо, первыми заметили на горном плато. Чабаны вскочили на коней и помчались, не отрывая взгляда от хутора. На их глазах струя превратилась в клубы черного дыма, потом из-под крыши с какой-то яростью вырвалось яркое пламя, и огонь объел дом. Если бы в небе не было солнца, можно было бы подумать, что оно в дикой пляске, ярости и страсти вцепилось в каменные стены, распушив огненные космы. Когда чабаны остановили взмыленных коней и спешили, дом уже остывал. Почерневший от дыма и копоти жеребец дико ржал и бил копытами землю.

Гибель Магомы потрясла кардибцев. Даже они, привыкшие к суровым условиям жизни, даже они дрогнули от столь ужасной смерти... Но когда кто-нибудь из редких приезжих вдруг спрашивал, а где же Магома, отвечали:

— Ушел в горы, в леса. Охотнику не пристало сидеть у очага...

ПРОИСШЕСТВИЕ В АУЛЕ МУНО

1

— Вас обвиняют в преднамеренном убийстве.

— Я не убивал его.

Молодой мужчина поднял большие серые глаза, в которых застыли тоска и усталость, и снова повторил:

— Я не убивал его.

— Вот беда-то, — вздохнул Камиль, откинувшись на спинку стула. — Но платок и нож ваши?

— Мои.

— Бывали между вами и Батыровым столкновения?

— У кого их не бывает.

— Угрожали вы ему убийством?

— Пристал он как-то ко мне без причины, я и сказал, что нарвется когда-нибудь он на меня...

— Будьте точнее. Вы ему сказали: «Убью я тебя когда-нибудь, Батыров, чтобы раз и навсегда перестал ты меня преследовать».

— Да.

— И убили.

— Не я убивал его.

— А кто, кто? Кто убил Батырова? Убил же его кто-то, в конце концов?

Камиль вытянул ноги и зло глянул на мужчину. С таким трудом он добился короткого свидания с сидевшим напротив него заключенным, и вот драгоценное время истекало, уходило как вода в решете.

— Все очень тонко и умно подстроено. Кому-то, наверное, надо было меня убрать.

— И убить милиционера? Или наоборот, убить милиционера и свалить убийство на вас? — спросил Камиль.

— Зачем надо было убивать Батырова?

— Почему в это грязное дело ввязали вас? У вас были недоброжелатели, враги?

— Нет.

— Но кого-нибудь вы можете подозревать в убийстве?

— Нет, не могу.

— Подумайте серьезно. Мать и сестра ваши ночами глаз не смыкают, а вы тут героя из себя строите.

— Но кого мне подозревать? Османа? Он никак не ладил с Батыровым, даже за столом они грозились устроить друг другу злую шутку.

— Кто такой Осман?

— Егерь заповедника. Он иногда позволял мне бить маралов, а то и сам приносил тушу. Батыров знал, что Осман совершает противозаконные действия, но задержать на месте преступления не удавалось. Да и преступление ли...

— Это другая тема, еще кого можно подозревать?

— Нуцалхан не ладил с Батыровым. С легкой руки Батырова сельчане за глаза называли Нуцалхана спекулянтom, а при встречах с Батыровым Нуцалхан просил аллаха убрать «злопыхателя и клеветника с его пути».

— А Наби?

— Наби... нет.

— Я слышал, что он любил вашу невесту и сватался к ней.

— Так можно подозревать все селение и даже старого Ханипашу.

— А это что за личность?

— Человек.

— Все-таки?! Имя какое-то героическое.

— Появился года два назад в ауле и пригнулся у моей шашлычной.

— Подаяние, что ли, просит?

— Питается у меня, и денег, видно, ему не занимать. Нако-

пил на старость. Все свободное время проводит у шашлычной. Безобидный старик.

— И откуда приехал этот Ханипаша?

— Так можно и мою кошку подозревать, которую я приютил год назад. Чья она и откуда пришла,— не выяснял.

— Тут дело проще: ее привлёк запах шашлыка. Друзей хоть много у вас в ауле? Без сомнительных репутаций.

Мужчина улыбнулся, легкий румянец лег на его щеки.

— Долго будет перечислять.

Камиль взглянул в удивительно белое и нежное лицо мужчины, больше походившее на девичье, улыбнулся, подался вперед.

— Легче отыскать иголку в стоге сена, чем малую жемчужину в потоке твоих слов.

2

— И все-таки я убежден в невинности Арацхана,— сказал Камиль, перевернувшись на спину.

— Более того, в непричастности его к убийству,— в том же тоне продолжил редактор и осторожно прикрыл лицо соломенной шляпой.

Воскресный полдень пылал зноем. Камиль и редактор газеты загорали на пляже.

— Мне не понятны мотивы, заставившие тебя с таким рвением взяться защищать этого, как его, Арацхана. Верховный суд республики разберется, он не такие ларчики открывал. Может статься, что ты расклеился от горячих просьб и слез сестры его?

— Причем тут его сестра? В беде люди всегда обращаются за помощью к друзьям. Ну просила, что из того? Я же не следователем еду, а изучить микроклимат, в котором живет Арацхан, людей, окружающих его. Расклеился. Отчего я мог расклеиться?

— Невыносимый ты человек, братец,— раздалось из-под шляпы.

— Мой дед часто наставлял меня: «Не наседай в споре на собеседника, дай ему время взвесить свои суждения, и он найдет их несостоятельность». Пойду утолю жажду.

Камиль встал, стряхнул с себя песок и побежал по раскаленному песку к кафе. Взбежав по высокой бетонной лестнице на открытую веранду, он пристроился к длинной очереди, стоявшей за пивом, и облокотился на перила.

Песчаный берег, изогнувшийся на несколько километров золотым серпом, был забит тысячами отдыхающих. Окрашенные

в яркие цвета навесы и зонты, детские игровые площадки и шезлонги, разноцветные купальные костюмы, тела — от снежной белизны до шоколадно-бархатного — вся эта гамма красок под полуденным солнцем слепила глаза. Когда Камиль вернулся, редактор лежал в прежней позе, с большого тучного тела стекали капли воды.

Камиль присел рядом на корточки и шепотом спросил: — Как решили, Петрович?

— Надоел ты мне с этим своим Арацханом. Без тебя будто не управятся. Бери неделю и уезжай ко всем чертям, ради бога, и оставь меня в покое.

— Семь дней! — изумленно протянул Камиль. — За семь дней я не успею обойти и семь дворов.

— Ты что, на хинкал едешь, или форелей ловить в озере? Выпиши командировку на неделю. Потом продлим.

— Это уже деловой разговор.

Камиль поднялся, окинул взглядом пляж и побежал к воде.

3

Его оглушил рев мотора, прижало к креслу. За бортом закачалась земля.

Самолет набрал высоту. Справа лежало море, отороченное у желтого песчаного берега кружевом волн, слева — громоздились горы.

— Первый раз в горы? — раздалось за спиной.

Камиль обернулся.

За ним сидел красивый чернобровый молодой мужчина и снисходительно улыбался.

— Сто первый, — крикнул Камиль.

— Чего уши зажал?

— Сквозняка боюсь.

Тот громко расхохотался.

— Куда едешь, друг?

— В Муно.

— Вап-па-пай, значит, ко мне. Было время, муинцы гостей искали за аулом. Гость — это подарок аллаха, говорили они, без подарка жизнь серая и скучная. Теперь гостей находим в небе.

— Век технического прогресса. Как звать тебя?

— Наби. Наби Хижалов.

Камиль задумался, затем проговорил:

— Слышал, у вас милиционера убили.

— Не убили, а убил один человек. Арацхан, говорят.

— Как это, говорят? Раз арестовали, значит убийца уличен.

— Вап-па-пай, разве в таких делах ошибки быть не может?

— Ты хочешь сказать, что Арацхан не...

— Ничего я не хочу сказать,— прервал Наби.— Кто ты, следовательно?

— Нет. Просто любопытно.

— Любопытно,— неожиданно зло передразнил Наби.— Не маленький, сам знаешь, к чему приводит любопытство. И дикий зверь попадает в земляную яму.

— Я слышал, что к его невесте сватался другой, как звали забыл...— проговорил Камиль.

— Ну и что с того? — после минутного молчания спросил Наби.— Ты не знаешь наших обычаев! К одной девушке сватаются десятки парней. Слушай, от кого ты все это узнал, интересно мне, очень интересно. Нет, по-моему, ты следовательно.

— Разве я похож на него?

— Кто тебя знает. Легче раздеть черепаху, чем разгадать человека.

— Слушай Наби...— Камиль задумался: стоит ли бить последней картой? — Слушай, а мог ли жених убить милиционера и свалить убийство на Арацхана?

— Для чего? — крикнул Наби.

— Как для чего? Чтобы жениться...

— Дурак,— взорвался Наби.— Прости меня, но ты рассуждаешь как сумасшедший... Как можно из-за женщины убивать мужчину, вап-па-пай. И потом, зачем убивать милиционера, если мешает Арацхан? Ты, друг, наверное, начитался всяких книг, где убивают, расследуют, путаются в догадках... Или на самом деле следовательно.

— Не следовательно я,— сказал Камиль и устало откинулся в кресле.

Под крылом самолета тянулись горные цепи, на плоскогорье и в ложбинах виднелись коробки домов, в долине узкой реки теснились аулы. Вдали в лучах холодного солнца на фоне синего хрустального неба сверкала длинная белоснежная гряда. Главный Кавказский хребет.

— Какая красота,— прервал молчание Наби.— Сколько ни летаю, не перестаю удивляться: кто мог создать такое?

— Аллах.

— Несерьезный ты человек, друг. Я тебе такую красоту покажу — рот разинешь. К Осману поведу, в заповедник. Посмотрю, там какого создателя вспомнишь.

Самолет накренился, делая круг над поляной. Накренились земля, горы, небо. Самолет опустил, вздрогнул корпусом и, пробежав десяток метров, замер, и наступила тишина

и покой. Свинцовая тяжесть и гул, начинившие голову и тело, медленно отходили.

Камиль спрыгнул на землю, сощурился от солнца; свежий воздух ударил в ноздри, заставив запрокинуть голову и глубоко, до боли в груди, вдохнуть.

— Акклиматизируешься? — улыбнулся Наби. — Пойдем, ты мой гость. Никаких возражений быть не может.

— Мой дед учил: не отказывай никогда в гостеприимстве, иначе наживешь неприятеля.

— Твой дед был мудрым человеком. Правильно учил.

Они шли по траве. Солнце садилось. Внизу виднелся аул Муну, вытянувшийся вдоль мелководной речки. Добрая половина его домов расположилась на плоскости и утопала в зелени фруктовых деревьев, другая половина взбегала на гору, так и не достигнув до гребня. На гребне в гордом одиночестве возвышался телеретранслятор.

4

Мустафа спешил, стараясь успеть в аул к полудню. Природа не трогала его. В ауле, как ему сообщили чабаны, с утра идет какое-то совещание, и ему хотелось застать председателей колхоза и сельсовета, чтобы выпросить у них лес для строительства дома. Ветхий дом, в котором жили отец и дед его, еле противостоял ураганным ветрам, а в дождливые дни крыша напоминала хорошее сито. Он долго не слушался настояний жены строить новый дом, но однажды ночью, когда на плоской крыше хрустнули бревна и посыпалась глинистая земля, понял, что быть беде, если не уйти из этого дома.

Издалека послышался рокот и появился самолет.

— Двенадцать часов, — сказал себе Мустафа, — к двум я буду в ауле. Самое время. Только бы они не ушли...

Спустившись в аул, он направился прямо в правление колхоза. В кабинете председателя было накурено. У дверей сидел завмаг Нуцалхан. Председатель, устало откинувшись на спинку стула, размеренно качал головой, приговаривая:

— Зачем тебе еще дом, ну, зачем тебе еще дом?.. А, Мустафа, заходи. Присаживайся. Что-нибудь случилось?

— Ничего не случилось. По делу пришел.

— Присаживайся. Что за человек твой сосед, рассудительного слова не понимает, дисциплины не знает, закону не подчиняется...

— Как тебе не совестно, председатель, пожилого человека так честить, и за что? Два-три бревна прошу, а ты меня на суд выставил...

— Ты уже седым стал, а жадность свою так и не переборол.

— Астапируллах, какие издевательства я переносу из-за пяти-шести бревен, астапируллах,— Нуцалхан воздел глаза к потолку и провел ладонью по лицу.— Не дашь?

— Нет, беззаконие я не могу допустить,— твердо сказал Муртуз.

— Хо-ро-шо... Тогда я буду жаловаться.

Нуцалхан вышел, сильно хлопнул дверью.

— Видал, какой фрукт? — председатель указал головой в сторону двери и вдруг грохнул кулаком по столу.— У-у-у, стяжатель, управы нет на него. Ну, а ты зачем пришел, тоже за бревнами? Говори!..

Мустафа безнадежно махнул рукой:

— Не стоит, ничего мне не надо.

— Ты не сердись на меня, устал сегодня от таких, как Нуцалхан. Выкладывай, в чем нужда...

— Боюсь даже произнести.

— Духу не хватает? У тебя-то? Ха-ха-ха, ну выкладывай, времени нет.

— Бревна нужны. Дом надо бы построить.

— Бревна... Опять бревна... Дом тебе нужен, знаю. Нужен... День-два придется подождать.

— Мое дело не горит, подожду сколько надо.

— Именно горит твое дело. За лето надо дом построить, а рук не хватает... Поможем, Мустафа, не беспокойся, надо будет — весь аул подниму. У тебя все? А то меня Биби-ханум ждет уже больше часу, с глазу на глаз хочет говорить.— Председатель засмеялся, потом ласково обратился к незаметно сидевшей в углу старушке:

— Присаживайся поближе, Биби-ханум. Что же ты мне хотела сообщить? Выкладывай.

Мустафа притворил за собой дверь и облегченно подумал: «У меня будет новый дом». Он постоял еще минуту и, сам того не желая, невольно прислушался к разговору, происходившему в кабинете.

— Биби-ханум, из каких источников ты получаешь эти сведения? Сколько раз я тебя просил, брось гадание, настроишь весь аул против себя. Ну, к чему тебе людям голову морочить, а, скажи?..

— Сынок, кошки покидают дом, коровы тревожатся, предчувствуют; людям беда грозит, поверь, сынок, старухе...

— Биби-ханум, не говори никому, ради бога, осмеют тебя, старую женщину.

«Вот чудачка, опять принялась за свое»,— подумал Мустафа, и в этот миг будто кто-то сильно потряхнул дом. Мустафа вы-

глянул в окно, на улице было пустынно и тихо; он открыл дверь кабинета и встретился со спокойным взглядом председателя колхоза.

— Наверное, трактором задело нас.

Председатель распахнул окно.

Улица была пустынна.

Он обменялся с Мустафой взглядом, медленно повернул голову в сторону Биби-ханум, раскрыл было рот, но в это время пошатнулся пол: словно под досками была вода, а не твердая земля.

— Интересно, очень интересно,— протянул задумчиво он и сел за стол.

Все трое молча выжидали. Шло время: на стене уверенно и мерно тикали часы.

Выйдя на улицу, Мустафа остановился в задумчивости, пытаясь разобраться в происшедшем непонятном явлении, но тут увидел Камиля и Наби, выходивших из проулка.

— Камиль? С приездом, какими судьбами?

— Мустафа! Сколько лет — сколько зим!

— Что для нас время. Щелкаем дни, как орешки. Откуда ты явился, не с неба ли?

— Угадал,— засмеялся Наби.

— Чудеса,— сокрушенно покачал головой Мустафа.— Этот является с неба, под ногами дрожит земля. А ты тут глупо хихикаешь.

— Что с землей-то случилось? — улыбнулся Камиль.

— Вы ничего не заметили? — удивился Мустафа.— Земля под ногами ходила, дом трясло, а они ничего не заметили!

— Мы ничего не ощутили,— сказал Камиль.

— А, шайтан с вами,— махнул рукой Мустафа.— Пойдем домой, Камиль.

— Как домой? — удивился Наби.— Он мой гость.

— Вах, подумаешь, был твой — теперь мой.

— Слушай, Мустафа, я его, можно сказать, в небе нашел намного раньше тебя...

— А хоть у аллаха нашел бы, подумаешь. В самолете сидели сорок минут. А я с ним знаешь сколько лет знаком, не знаешь. Пойдемте ко мне, я еще и дома-то не был.

5

— Послушай, Наби, ты обещал познакомить меня с Османом,— вдруг вспомнил Камиль, замедлив шаг. Они поднимались по улочке, ведущей к дому Мустафы.

— Не много ли на сегодня знакомств? — спросил Мустафа.—

А, шайтан с вами, поступайте, как хотите. Зачем тебе понадобился Осман, не пойму.

Дом Османа, большой, крепкий, бревенчатый, стоял почти под телеретранслятором.

Наби громко постучал в дверь:

— Осман, ты дома?

Молчание длилось недолго, вышла женщина в накинutom на голову цветастом платке.

— Заходите, я его позову.

В доме пахло мясом, дымом.

— Печь не может наладить, мужчина, — произнес Мустафа. Он не успел договорить, как в комнату вошел невысокий, крепко сбитый, крутоплечий человек. На полном лице его выделялись острые глаза и черные усы.

— Наконец-то мой дом посетила радость, сразу столько гостей. Жена, готовь на стол.

Они обменялись крепким рукопожатием.

— Как поживает твое стадо, Осман? — спросил Мустафа, протянув руку за курагой, сушившейся на подоконнике.

— Разве это работа, брат? — Осман сокрушенно вздохнул, затем принялся пощипывать усы. — Буйволиные нервы надо иметь. Сам рассуди — пешком за турами бегать не будешь. Вертолет выпросить надо? Раз. Гоняться за ними и считать поголовье по всему заповеднику надо? Два. А ты знаешь, как они бегают? Со скалы на скалу — и нет их. Браконьеров ловить надо, да чтобы шальная пуля в тебе не застряла. Три. Отстрел туров запрещен, а некоторым товарищам приходится угождать. Четыре.

— Осман, — позвал женский голос из кухни.

— Эти женщины всегда не вовремя появляются, — сказал он, но встал и вышел. Вернулся он скоро.

— О чем вы тут без меня шептались?

Глаза его хитро пробежали по лицам сидящих.

— Камиль интересуется делом Арацхана, — сказал Наби.

— А, следовательно?

— Журналист.

— Понятно, писать будет, защищать, — сказал задумчиво Осман. — Хороший парень Арацхан, попал в грязную историю, непонятную. Чтобы он человека убил? Не поверю. Он не мог даже скотину зарезать.

— Я слышал, что ты разрешал Арацхану бить туров? — спросил Камиль.

— Кто сказал? — резко спросил Осман.

— Арацхан.

Осман бросил взгляд на Мустафу и Наби и опустил голову.

— И сам иногда приносил тушу в шашлычную,— продолжал Камиль.

— Друзьями мы были,— проговорил Осман.— Он готовился к женитьбе, хотел накопить немного денег... Ты наши свадьбы знаешь.

— А Батыров о твоих проделках знал?

— Ну, знал, а что из того? — насторожился Осман.

— Могу подсказать. Чтобы он не смог поймать егеря как браконьера на месте преступления, надо было от него избавиться...

— Молчи, как у тебя язык поворачивается? — взорвало Османа.— Из-за паршивого тура убить человека! Над тобой есть всевышний, намус. Что ты треплешь языком? Молчи, иначе я подожду дом, убью себя...

— Успокойся, Осман,— вскочил с места Мустафа,— это ведь только предположение. Он хочет помочь Арацхану.

Осман забежал по комнате, потом остановился и повернул к Камиллю багровое, налитое кровью лицо.

— Кунак, теперь послушай меня. Ради чего я должен был желать ареста Арацхана, моего друга? Ты же не младенец, понимаешь, если Батыров убит ножом Арацхана, значит, кому-то угодно убрать Арацхана.

— И Батырова.

— Да, и Батырова. Но такой противник Батырова, как я, никогда не пойдет на убийство, он на виду у всего джамаата. Враг Батырова — враг скрытный, умный, хитрый, коварный...

«Доводы его убедительны», — подумал Камиль и задумчиво спросил:

— Но кому было угодно убрать Арацхана? На чем пути он стоял?

— Вот на чем пути,— протянул Осман руку в сторону Наби и зло улыбнулся.— Может, ему было угодно, чтобы жениться на Гюли?

— Зажми свой скверный рот,— крикнул Наби,— и пошевели своими турьими мозгами. Вап-па-пай, чтобы самому спастись, он любого толкнет в водоворот.

— Вы что столкнулись, как бараны? Мы сюда не ругаться пришли,— стукнул Мустафа кулаком по столу.— Взрослое дурачье...

В комнату вошла хозяйка и, окинув всех удивленным взглядом, спросила:

— Подавать на стол, Осман?

— Подавай,— ответил он устало,— мои кунаки от голода бесятся уже.

Наби, изрядно захмелевший, ушел домой, напевая песню. Камиль и Мустафа спускались по темной каменистой улочке. Ночь была безлунная. За глухой саманной стеной вдруг кто-то завопил:

— Нет, нет, я поступлю по-своему, чего бы мне ни стоило.

— Что такое? — удивился Камиль, взяв за локоть Мустафу.

— Нуцалхан, завмаг.

— Он мне нужен.

— И этот тебе нужен, — устало вздохнул Мустафа. — Что ж, послушай его. Лучше — погляди.

Камиль нащупал ногой выступ, подтянулся на стену и, перевесившись, лег грудью. По ярко освещенной веранде, как затравленный зверь, бегал мужчина.

— Что ты понимаешь в жизни, пятьдесят лет прожила, что поняла, как сахар ломать, или хлеб печь. И все? А как деньги добывать, добро копить? Кто за тебя должен?

— Совсем сдурел, старик, — сокрушенно затараторила женщина в углу веранды. — Другие на старости лет покоя ищут, детей собирают вокруг себя, а этот взбесился от богатства, сыновей разогнал, прах мне на голову, до каких дней дожила...

— Не причитай, старуха, дети на нашей могиле надгробный памятник не поставят, я сам должен об этом позаботиться. О том все мои думы. И на час смерти сейчас деньги нужны, чтобы голодранцы не зубоскалили.

— Нуцалхан, уймись, пойдем в дом, соседи услышат, — взмолилась женщина. — Какой срам на мою голову!

— Нет, ты посмотри, один, два, три, четыре, пять, шесть метров. — Нуцалхан обмерил веранду из конца в конец. — Шесть метров всего-навсего длина моего дома, а я хочу довести его до десяти.

— К чему нам двоим такой дом?

— Эх, дура, да простит меня аллах. А зачем Муртузу такой дом, или Магоме, я не хочу ни в чем им уступать.

— Побойся аллаха, старик, у них дома полны детей. Возьми нашего соседа Мустафу, в каком доме он живет...

— Возьми Мустафу! — передразнил Нуцалхан, — нашла мужчину, в такой дом гяура я не поселил бы. Нет, старуха, мой дом должен быть самым большим в ауле, самым красивым. Как я решил — так и будет.

Мустафа стащил Камилу за ногу со стены и увлек за собой.

— Хватит слушать бредни спекулянта. Спать пора, поздно.

— А ты уже и обиделся на него? — засмеялся Камиль, — не знал я тебя таким.

— Что на него обижаться, спекулянта.. Магазин месяцами держит на замке, а сам где-то торгует фруктами из собственного сада. У-ух, кулацкий сын...

— Неужели кулацкий?

— А то нет. Одно правда: отец его не имел того, что имеет сын. Ну, вот мы и пришли.

Отворив калитку, Мустафа пропустил Камиля вперед. На звук шагов из темноты выскочил щенок, затавкал и, узнав хозяина, затих. Скрипнула дверь, выпустив во двор сноп света, на пороге застыли два мальчика, потом бросились навстречу Мустафе. Он обнял обоих, поднял, крепко прижав к себе, и закружился с ними.

— Ты что, так и не зайдешь сегодня в дом? — донесся до них женский голос. — Все знают, что Мустафа в ауле, только дети его не видят. Беспечный человек, совершенно не думает о семье. Есть будете дома или во дворе?

— Есть мы не хотим, чаю бы выпили, — опередил Мустафу Камиль.

Через пару часов, лежа в постели, Камиль услышал приглушенные голоса.

— Мустафа, сегодня наш дом так закачало, так закачало, я уж думала, что стены разойдутся.

— А, ну его к шайтану, — проговорил Мустафа.

— Кого?

— Дом, кого...

— Я не о доме, я о том, что его закачало...

— Шайтан с ним, спи.

Голоса смолкли. Камилю не спалось. Он достал из кармана куртки записную книжку, ручку и стал подводить итоги дня.

7

«Простые, добросердечные, щедрые люди живут в Муно. Неужели в перламутровой искрящейся раковине может сидеть гнилая личинка?

Кто убийца? Вопрос остается открытым. Кого назвал Арацхан? Османа, Нуцалхана, Наби, Ханцпашу. И только. А впрочем, я ищу не убийцу. Я хочу узнать характеры людей, которые окружают Арацхана, живут с ним рядом.

Может ли Осман убить человека, если хладнокровно убивает туров, кабанов, медведя? Смелости и бесстрашия ему не занимать, меткости тоже. Другой вопрос — способен ли? Судя по его человеческим качествам — нет. Такие люди, по-моему, пой-

дут на самопожертвование ради спасения другого... Осман не убивал Батырова, хотя и грозился...

Мог ли этой угрозой воспользоваться другой, чтобы отвести от себя подозрение? Например, Наби! Но почему Наби должен убить Батырова, а не самого Арацхана?! Совершенно верно он мне отпарировал. Но убить Арацхана — значит навлечь подозрение непосредственно на себя. А если Батырова?.. Тем более, что Арацхан с Батыровым жили как кошка с собакой. Кто-то именно этим и воспользовался. Именно этим...

Если я временно вычеркну из списка Османа, Наби, остаются Нуцалхан, Ханипаша, мулла и весь аул. Поистине мудр был дед, когда говорил: не берись за сложное дело один, начнешь его ты, завершит другой.

Удивителен быт мунонцев. Патриархальное сосуществует с современностью, минувшие века с двадцатым. Квартиры обставлены полированной мебелью, проведены электроэнергия и газ, а воду женщины носят из родника в больших медных кувшинах, закинув за плечо; зерно мелют в каменных жерновах, часами просиживая, подогнув под себя ноги и вращая рукой верхний каменный круг-жернов. В ауле работает небольшая пекарня, которая обеспечивает хлебом и соседние хутора, а многие мунонцы предпочитают печь свой хлеб; на чугунных жаровнях они пекут тонкие, плоские лавашы, которые некогда их предки пекли на раскаленных камнях... В домах рядом с эмалированной и оцинкованной современной посудой полно старинной, на стенах веранды и кухни, на полках висят и лежат почерневшие от времени, изготовленные из серебра и меди казанки и котелки, миски и тазы, блюда и кувшины, которые переходят из поколения в поколение. В торжественных случаях мунонцы готовят национальные кушанья в старинной посуде. Уверяют, что в них вкуснее и ароматнее.

Рассказывают, что много веков назад в эти места забрел молодой горец. У него не было ни скарба, ни богатства, лишь белый конь под ним, да два кинжала за поясом. Уж очень понравилась ему долина, в восхищении стоял он несколько минут над речкой, потом ускакал... Появился он здесь спустя неделю с братом, а когда однажды старший брат, умываясь в речке, глянул снизу на хмурые и молчаливые лесистые горы, сакли, улыбнулся и промолвил: пусть здравствуют и существуют. Говорят, отсюда и пошло название аула — Муно».

Утром Камиль и Мустафа вышли из дома вместе.

— Ты не пойдешь со мной? — спросил Мустафа, придерживая шаг.

— Нет, с Нуцалханом надо поговорить.

— Ты же о нем знаешь больше, чем он о себе? — удивился Мустафа. — Неужели думаешь спасти Арацхана? Если убийца и был другой, он давно исчез из аула.

— Мне нужно выяснить, Мустафа, как люди относятся к Арацхану.

— Ты хочешь доказать себе, что не Арацхан убийца. Не твое это дело.

Камиль ничего не ответил, направился к дому Нуцалхана.

Постучав в калитку и не дождавшись ответа, Камиль вошел во двор и, окинув взглядом ломившиеся от фруктов деревья, поднялся на веранду. На цветастом ярком паласе, поджав под себя ноги, Нуцалхан пил чай; полные щеки его разругались, на лбу выступил бисером пот.

— С добрым утром, хозяин.

— С добрым, с добрым, заходи, гостем будешь. — Он осторожно поставил стакан на блюдце и указал место рядом с собой. — Садись, чую сердцем — из города, меня проверять приехал. Дело нас подождет, пока выпей стакан крепкого чаю.

— Спасибо, хозяин...

— За что спасибо, — перебил его Нуцалхан, — боишься быть обязан? Хитер, молод, а хитер... Тогда дыши нашим свежим воздухом, за него надо благодарить только аллаха.

«Ну и тип, — подумал Камиль, — прав был Мустафа, говоря о нем...»

И опять Нуцалхан перебил его мысли:

— Значит, проверять приехал? Пишут на меня, все грамотными стали, от мала до старца, писать все могут, а завмаг я один. Стар уже, хворь подстерегает на каждом шагу... — Нуцалхан перелил чай из стакана в блюдце, поднял его на пальцах и степенно несколько раз подул. — Неделями болею, лежу дома, а они пишут, что я уехал своими фруктами торговать. Избаловался народ, отбилась от рук, потерял намус, не слышно имя аллаха на устах... Зря не пьешь чай, крепкий, ароматный, сам завариваю...

Камилю изрядно надоел монолог Нуцалхана, и он хотел было прервать хозяина дома, но взял себя в руки и дождался, когда тот умолк.

— Я по другому делу, — сказал Камиль.

— Астапируллах, еще второе дело есть? — Нуцалхан поперхнулся горячим чаем, на глазах выступили слезы. — Душманы, когда они меня оставят в покое.

— Это дело Арацхана.

— Что-о-о? — Глаза Нуцалхана округлились от удивления.

— Хочу узнать у вас, что он за человек?

— Какое мне дело до Арацхана? Сам чонет, сам и пусть карабкается. — И он с шумом отхлебнул из блюда.

— Он о вас хорошо отзывался, — решил соврать Камиль. — Говорил, что добрыми друзьями были, в гости друг к другу ходили.

— Да? Так и сказал? — Нуцалхан насторожился, призадумался. — В тюрьме поумнел, наверное. Бывало, часто скандалил, а теперь хорошо отзывался, говоришь? А ты кто, следовательно?

— В каком-то роде.

— Значит, видел его? Нет, неплохой парень Арацхан, правда, бывает излишне горяч, скандалит, — он отхлебнул из блюда, задумался и медленно произнес: — Неплохой, скажу тебе.

— Неплохой, а убийство совершил, — осторожно заметил Камиль.

Нуцалхан соорудил на лице невообразимую гримасу:

— Убил! Арацхан! Хе-хе-хе. Арацхан скотину режет с дрожью в теле... хе-хе-хе. Ну и следовательно, не той ногой шагнул.

«Не той ногой, значит, — сказал себе Камиль, — ну, тогда я шагну другой».

— Кто же мог быть убийцей? — задумчиво произнес он, искоса глянув на Нуцалхана.

— Кто знает, одному аллаху ведомо, — сказал Нуцалхан, наливая чай из фарфорового чайника в стакан.

«Удивительно спокоен он для убийцы», — подумал Камиль и как бы между прочим сказал:

— Мне Арацхан еще и другое сообщил.

— Что же? — На лице Нуцалхана появилась довольная улыбка.

— Что вы угрожали Батырову убийством.

— Я? Угрожал убийством? — Нуцалхан поперхнулся и вдруг заорал. — Собачий сын, и сын собачьего сына, змееныш, нечестивец и грязный клеветник... Угрожал, я? Аллах, покарай его за оскорбление моего имени и рода. Пусть отсохнет язык у лжеца, оглохнут уши лгуна... — Он внезапно замолчал и вытер лицо ладонью.

— Что же вы себя ругаете? — спросил с деданной простотой Камиль, отведя взгляд от Нуцалхана.

— Почему ты так думаешь? — Нуцалхан вздохнул и отодвинул от себя блюдо.

— Не вы ли взывали к аллаху при встрече с Батыровым убрать «злопахателя и клеветника с вашего пути», то есть Батырова?

— Взывал. Может, аллах и убил его?

— Вы на самом деле верите в аллаха? — с иронией спросил Камиль.

Нуцалхан не ответил. Он долго молчал, глядя поверх забора на улицу, потом внезапно быстро вскочил, схватил Камиля за руку и увлек за собой в конец веранды, откуда хорошо была видна вся улица.

— Видишь девушку, из-за нее все и произошло,— прошипел он.— Бесстыжая, до сих пор ходит в платке невесты, ждет, когда выпустят жениха из тюрьмы. Дура, зачем ждать, когда готов другой. Наби убил Батырова ножом Арацхана, чтобы овладеть ею. Понял? Я тебе ничего не говорил, ты ничего не слышал.

— А зачем Наби надо было убивать Батырова?

— А я откуда знаю! — заорал вдруг в бешенстве Нуцалхан.

— Я откуда знаю. Да, я торговец, но не убийца, нет, нет, и оставь меня в покое, наконец, оставь!..

Он бессильно опустил плечо, откинулся спиной к стене и проговорил, закрыв глаза и качая головой:

— Как я устал, аллах, как я устал...

9

Выходя на площадь, Камиль заметил, что за ним следует, прихрамывая, коренастый мужчина. Он показался Камилю подозрительным: шел настороженно, часто озираясь, но впереди с распахнутыми настежь дверями показалась шашлычная, и Камиль забыл о мужчине. Над ней не вился дымок, не парил ароматный запах, лишь недалеко, на деревянной скамейке, опершись руками и подбородком на толстый посох, сидел седобородый старец, одетый в белый длинный тулуп, на голове его была высокая каракулевая папаха.

В шашлычной, как и предполагал Камиль, никого не было. Он осмотрелся и хотел было присесть, но тут из кухни вышла пожилая женщина, держа в одной руке ведро, наполовину наполненное водой, а в другой тряпку; она мягко волочилась по полу, оставляя за собой струйку воды. Лицо женщины показалось ему знакомым, он напряг память, однако никак не мог вспомнить, где и когда видел ее; и только когда женщина подняла голову и взглянула на него, он понял, что она как две капли воды похожа на Арацхана. «Мать»,— решил Камиль, и тихо произнес:

- Добрый день, хозяйка.
- День добрый, какая я хозяйка...
- Кто же здесь хозяин?

— Перерыв сейчас, сынок, дома он у себя. Наверное, есть хочешь? Придется подождать.

Она поставила стулья сиденьями на столы, намочила тряпку и, нагнувшись, принялась мыть пол.

— Вы и при Арацхане здесь работали? — осторожно спросил Камиль.

— Да, сынок. А ты знал его? — Она выпрямилась и с надеждой посмотрела ему в лицо.

— Знал, — после минутного молчания вымолвил Камиль.

— Разве для таких, как Арацхан, построены тюрьмы, — запричитала женщина, и по морщинистой щеке ее заструились слезы. — Мой Арацхан не обидит ни злую собаку, ни глупую курицу. Спроси любого из аульчан об Арацхане — никто плохого не скажет о моем сыне. Добрый, уважительный, почитал старших, любил детей...

— Хороший у вас сын, — Камиль вздохнул. — Но вот не пойму я одного: как платок и нож Арацхана оказались на месте преступления.

— У убийцы, хочешь сказать? Не знаю, сынок. Мой Арацхан всегда держал их на прилавке. Как придет на работу, тут же положит на прилавок, они должны были быть под рукой.

— А вы не помните, кто-нибудь брал их у него? — оживился Камиль.

— У кого из мужчин нет платка и ножа? Нет, никто не брал.

— Может быть, когда Арацхана в шашлычной не было, платок и нож все-таки кто-то брал? Вспомните...

— Нет, не помню. Не было такого...

Она опять стала мыть полы. «От нее мне помощи не ждать никакой», — подумал Камиль. В этот момент женщина выпрямилась и прошептала:

— Да, вспомнила, сынок, никто их не брал, но они исчезли.

— Когда это было, в какое время?

— Дай бог памяти, около полудня, ну конечно, около полудня, когда Арацхан закрывал шашлычную на перерыв и уходил к невесте. Я ему еще сказала: «Сынок, ты оставил свои вещи, а он говорит: — Ты же здесь, мама...»

«Именно в это время и было совершено убийство», — сказал про себя Камиль.

— А потом, о аллах, не дай мне сойти с ума, — женщина всхлипнула, затем взяла себя в руки и прошептала: — Потом исчезли и нож и платок. Вышла из кухни, глянула случайно на прилавок — нету. Слепла старая, думаю, провела руками —

нету. Неужто шайтан взял? Испугалась, решила не говорить Арацхану ничего. Пропажу он сразу заметил, стал кричать, шуметь, потом успокоился, он у меня горячий, но отходчивый. Если бы я знала, что так обернется дело...

— Нож и платок исчезли, когда вы находились на кухне?

— Когда я вышла из кухни, их не было.

— Значит, кто-то вошел, взял и исчез?

— Значит, кто-то входил... Судьба, почему ты так жестоко наказала меня...

— А вы не заметили, чтоб кто-нибудь... как вам объяснить... чтоб кто-нибудь исчез вместе с исчезновением вещей Арацхана? Вспомните, пожалуйста! — Камиль с надеждой посмотрел на женщину.

— Я же сказала, сынок, был перерыв и Арацхан тоже ушел.

— Кто-нибудь, может, на улице стоял или сидел, вон, как старик этот...

— Подожди-ка, сынок, дай бог памяти... Ханипаши не было, он пришел чуть-чуть раньше Арацхана... да, да, кажется, так было.

— Ханипаша? — Камиль насторожился.

— Ну да, ты же сам сказал — как этот старик. Его зовут Ханипаша.

— Что он за человек? — вымолвил Камиль, сердце его учащенно забилось.

— Тихий, спокойный и уважительный старик. Много лет он сидит у нашей шашлычной, приходит с восходом солнца, уходит ночью. Одинокий человек, к людям тянется. В одиночестве и смерть страшна и жизнь горька.

— Значит, в тот момент, когда исчезли вещи Арацхана, Ханипаши не было на скамейке? — задумчиво произнес Камиль.

— Не было, — подтвердила женщина. — Точно помню. Еще воду из ведра выплеснула на улицу. При нем я себе не позволила бы этого сделать.

10

«С ним надо быть предельно осторожным, — подумал Камиль, присаживаясь на скамейку рядом с Ханипашой, — чем черт не шутит, может, он и имеет какое-то отношение к делу Арацхана».

— Салам алейкум, — произнес Камиль вслух и с деланным возмущением добавил: — Не шашлычные созданы для нас, а мы для них...

— Ва алейкум салам, — проговорил старик, не меняя позы, лишь заметно задвигался подбородок, покоившийся на руках. — Ты еще молод возмущаться. И поучать.

— Для чего нам даны разум и язык?

— Разум дан нам природой, чтобы не делать глупостей, а язык для напоминания, что все мы балагуры и глупцы.

— Непонятная философия.

— Не все в жизни ясно, как день и ночь. На то тебе и разум дан, чтоб разобраться. Вода и хлеб тоже простые вещи, но надо знать, как и сколько есть и пить.

«Совершенно к аллаху не прибегает,— подумал Камиль,— хитер или умен? О чем он сейчас думает? Не шевельнется, глазом не скосит, сидит как изваяние. Чем-то схож с матерым полком, нет, больше с мудрым шакалом».

— Красивый посох,— сказал Камиль, стараясь снова завязать разговор.— Видна рука мастера. Тяжелый, наверное?

Наступило долгое неловкое молчание, затем старик медленно повернул к нему голову, и усмехнулся.

— Ты, кажется, спросил, для чего нам даны разум и язык. Я ответил... К Арацхану приходил? — спросил после минутного молчания старик, глядя прямо перед собой.

— Почему так решили?

— Одного поля зеленые ягоды. Лучше будет, если ты уйдешь. Следить станут за тобой.

«У-у-у-ух, хитрюга,— подумал Камиль,— ты что-то знаешь, да крепко, не по моим зубам. Подождем, время покажет».— Мой дед любил поучать меня: не смей верить голосу разума и сердца своего, ибо они вечно в ссоре, а поверь совету старца.— Камиль поднялся со скамьи и медленно пошел через площадь. Поравнявшись с сельсоветом, он остановился и прислушался. За каменным забором спорили, женский голос перекрывал мужские. Внезапно калитка отворилась и на улицу вырвалась растрепанная женщина с криком:

— Не верят, никто не верит, аждаха грызет землю, никто не верит...

Камиль подошел к ней, спросил:

— Что случилось?

Женщина расплакалась, потом успокоилась и, вытерев лицо концом черного платка, проговорила слабым, дрожащим голосом.

— Звери и скот мечутся, убегают из дому, чуют беду, а Биби-ханум никто не верит. Как же так можно, сынок, когда надо — мне верят, но сейчас беда идет... как сказать людям...

— Но что случилось?

— Не верит никто, сынок... Случится, сынок... Кошки из дому ушли, коровы мычат, мечутся, змеи и те покидают гнезда, сама видела, как они переползали дорогу. А ты что, ничего не слышал? Оглох? Прислушайся.

— Что должно произойти? — удивленно произнес Камиль.

— Откуда мне знать. Народные поверья мне знакомы, и только...

Внезапно закачалась, поплыла земля под ногами.

«Землетрясение!» — мелькнула мысль. Камиль схватил потрясенную женщину за руку и перебежал дорогу.

— Вай аллах, что делается, — в ужасе прошептала женщина, — посмотри на мечеть.

Камиль успел бросить взгляд: верхняя половина изящного минарета накренилась и рухнула, купол мечети со скрежетом и хрустом сполз набок и застыл.

Истопленные крики, визг женщин, плач детей, вой животных стояли над аулом.

Из ворот сельсовета вырвался открытый газик и помчался через площадь по главной улице аула.

— Люди, не бойтесь, без паники, выводите из домов детей, выходите на улицу. Без паники, — гремел из машины голос, но его еле было слышно в хаосе.

Камиль некоторое время стоял в оцепенении, оглушенный происходящим, потом кольнула мысль: «Дети, Мустафы нет дома, дети одни». И он пустился бежать. Он тяжело дышал. За чьей-то глухой стеной кто-то захихикал, и это злое хихиканье полоснуло Камилу по сердцу. Он остановился, оглянулся и только тут понял, что добежал уже до дома Нуцалхана. Хихиканье повторилось, затем мужской голос зло, с ехидством произнес:

— Вот что значит строить добротню, никакой аждаха не страхнет. У других дома раскололись как орехи, а у меня трещинки появились, трещинки...

— У-у-ух, сволочь, — в сердцах произнес Камиль и побежал дальше. Обогнув угол, он остановился...

На трех потрескавшихся стенах, скосившись, лежала полуразвалившаяся крыша. Четвертая стена, превращенная в груды самана и глины, дыбилась, завалив часть огорода. Камиль перевел тревожный взгляд на двор, огляделся: свинцовая тяжесть свалилась с плеч. В саду под деревьями, на куче паласов и одеял, сидел Мустафа с семьей.

— Где тебя шайтан носит? — заорал Мустафа при виде Камилы. — Сколько можно о тебе беспокоиться? Будто у меня других забот нет!

— На улице безопасней, чем в твоём доме.

— На улице безопасней, — передразнил Мустафа. — Иди, отдохни, переждем.

— Все прошло, — сказал Камиль, усаживаясь на палас и чувствуя слабость в ногах.

— Ты-то откуда знаешь? — усмехнулся Мустафа. — Сооб-

щил, может, кто из-под земли? Или Биби-ханум наслушался.

— Ну тебя. Устал я очень, дай отдохнуть.

Камиль закрыл глаза и почувствовал сладостную истому в теле. Медленно спадало нервное напряжение.

11

Как всегда, Камиль записал главные события дня.

«Встретил случайно на улочке начальника районного отдела внутренних дел, вернее, столкнулся с ним. «На ловца и зверь бежит», — сказал он, широко улыбнувшись, пригласил к себе в кабинет. Мне он понравился с первого взгляда: среднего роста, атлетически сложен, голубые глаза смотрят прямо и ясно, ходит уверенно. Беседа наша вначале проходила дружески, но начальник районного ОВД, чувствовалось, оскорблен, во-первых, тем, что я не зашел к нему в первый день приезда, во-вторых, тем, что я усомнился в действиях и методах работы раймилиции, в-третьих, тем, что я хожу по дворам один... Я объяснил, что меня интересуют некоторые муновцы с нравственной, психологической точки зрения и я не доставляю ему буквально никаких хлопот.

В этот день меня удивил Нуцалхан. Экземпляр. Человек, способный на всякую гадость. На убийство? Нет, слишком большой трус. А вот направить чужую руку на убийство способен. Хитер и коварен. Есть ли резон Нуцалхану убрать с пути Батырова? И нет и да. Нет — потому что между ним и милиционером не было острых конфликтов. Все по пустякам и мелочам. Да — потому что мелочь могла его напугать, показавшись великой опасностью. К тому же он часто бранился с Арацханом и мог рассчитывать на то, что сумеет свалить ответственность на Арацхана. Чью руку он поднял на убийство? Ханипаши? Можно предположить. Старик не имеет средств к существованию. Раз. Не имеет? А пенсия! Отпадает. Может быть, Ханипаша поддерживал его бюджет? Предположим. Далее, завсегдатаем шашлычной был только Ханипаша, вернее, ее стражем. Он знал точный распорядок дня Арацхана, отсутствовал в момент исчезновения платка и ножа... Верно. Но, может, Ханипаша отлучился в час убийства по надобностям? Как и заявил. Вопрос, требующий дальнейшего разъяснения. И тут же у меня появляются сомнения: мог ли немощный старец одним ударом ножа убить громадного, здорового мужчину? Может быть, убийцу следует искать среди других аульчан? И что за личность этот прихрамывающий? Никто из ребят его не знает. Не в нем ли кроется вся загадка, точнее, разгадка? Голова раскалывается!»

Вторая половина дня прошла без происшествий.

Если бы не мелкие разрушения, можно было бы подумать, что аул Муно живет своей обычной жизнью. Но в каждом доме, в каждой семье жили в тревоге и беспокойстве: что-то еще будет?!

Однако сидеть сложа руки и ждать, когда еще что-нибудь случится, было не в характере мунонцев. Необходимо было подсчитать ущерб, нанесенный землетрясением, и оказать помощь пострадавшим. С этой целью была создана комиссия, члены которой разошлись по аулу и принялись за работу.

К концу дня мужское население было приглашено в сельсовет. Разместились во дворе.

Мустафа, отыскав глазами Наби, подсел к нему и тихо спросил:

— Как у тебя?

— Все окна вдребезги. Теперь и стекла не найдешь, — сокрушенно произнес Наби. — У тебя как, Мустафа?

— В трехстенном доме живу, да с крышей набекрень.

— А где Камиль? — перебил его Наби.

— На улице, зайти отказался.

— Ты бы лучше Камиля позвал, — заметил Наби.

— Сам чего не идешь?

— Ты ближе к выходу. Да вот и он, в воротах стоит.

В это время поднялся председатель сельсовета, собрал в стопку ворож бумаг и принялся рассказывать о результатах работы комиссии. Слушая его, мужчины издавали возгласы удивления и сокрушенно покачивали головами.

— Теперь надо решить, кому в первую очередь следует оказать помощь. Мы тут, правда, уже наметили, но не мешает обсудить вместе, чтобы не осталось между нами недовольства и не родились завтра кривотолки. Верно говорю?

— Верно, — поддержали его с мест.

— Значит так, у Биби-ханум развалился дом, пропало все добро, жить с дочкой негде...

С именем Биби-ханум по рядам прошел смехок, потом кто-то выкрикнул:

— Пусть дочь свою поселит у матери Арацхана.

— А еще лучше — отдаст Наби, — съязвил другой. ❀

Наби метнул взгляд по рядам, глаза его налились кровью.

— Сейчас не время для шуток, — прикрикнул председатель сельсовета. — Дальше. У Османа дом раскололся на две половины... Потом идет Мустафа, одна стена его дома совсем развалилась, и крыша вот-вот сорвется...

— Мустафу вторым, — раздалось из передних рядов. — У него сквозняк в доме, а Осман еще продержится.

— И верно говорит, без одной стены дом — не дом, — подержали другие.

— Переносим? — спросил председатель сельсовета.

— Да, да.

— Возражений есть?

— Нету.

— Слушай, я плохо понимаю тебя, — раздалось с заднего ряда. — Какую помощь оказывает власть?

— Я же вам все сказал! — возмутился председатель сельсовета.

— Ничего не говорил, неправда.

По рядам прошел ропот: — Не говорил.

— Меньше надо балагурить, — повысил голос председатель сельсовета. — Говорил. И еще раз повторяю. Завтра раздадим палатки, обеспечим мукой, маслом, сахаром, а в самом скором времени построим новые дома.

Гул одобрения вызвал довольную улыбку на лице председателя сельсовета.

— Продолжим нашу работу, а то уже начинает темнеть...

Мужчины расходились медленно. Мустафа, поискав взглядом Камилля и не найдя его, отправился домой один.

А Камилль все это время не спускал глаз с Ханипаши. Он и у ворот встал для того, чтобы не упустить старика из виду. Его интересовали друзья или знакомые Ханипаши. «Должны же быть у живого человека приятели, — подумал он. — Старик неразговорчив, скрытен, хитер, а приятели что-нибудь да расскажут о нем!» Но в течение всего собрания Ханипаша просидел молча, не заговорив даже с соседями, да и к нему никто не обратился. Камилль пошел было следом за ним, да раздумал и повернул обратно.

Выходя на улицу, ведущую к дому Мустафы, Камилль случайно оглянулся и увидел человека, кравшегося за ним. Что-то в его походке показалось знакомым. Камилль пошел быстрее, потом внезапно остановился и обернулся. Человек успел отпрянуть к стене дома и от резкого движения выронил палку. «Кто бы это мог быть? У меня и врагов-то здесь нет, — подумал Камилль. — А может, не за мной следит, кто их знает, мунонцев».

В это время из проулка на улицу вышел прихрамывавый коренастый мужчина, остановился, зажег спичку, прикурил сигарету, оглядел улицу и свернул в узкую улочку, поднимавшую

ся круто вверх! «Ничего не пойму, что происходит», — сказал про себя Камиль и ускорил шаг.

У дома Нуцалхана его остановил глухой стук.

— Нуцалхан, что ты делаешь? — слышался женский голос, полный ужаса. — Побойся бога, что ты делаешь?

— Не мешай, старуха, уйди прочь...

— Помойся бога, как можно ломать свой дом, ума лишился.

— Эх, женщина, чему ты научилась за свою жизнь... Ударю три-четыре раза ломом, сделаю трещину, а завтра потребую включить в список, пусть новый дом построят. Власть богатая. Я не хуже других...

— Ах ты сволочь, — прошептал Камиль, — ах ты...

Он не успел договорить, как почувствовал сильный удар по голове.

13

«Красивая девушка Гюли! Выразительные губы, вопрошающий взгляд больших глаз, матовый цвет лица, гладкие, иссиня-черные волосы... Изящна, стройна, как газель... Такая может лишиться сна не только мужчин одного аула... Любит Арацхана. Оказывается, росли вместе, жили по соседству, учились в одном классе. И отцы дружили. Как-то отец Арацхана заикнулся отцу Гюли: «Брат, не засватать ли наших детей, спокойны будем за них». «Нет, — отверг тот, — пусть вырастут, сами ищут свое счастье». «Прости, брат, — сказал виновато отец Арацхана, — шайтан попутал, глупость сказал. Прав ты, сто крат прав, пусть сами ищут свое счастье. Эти дурные, старые обычаи иногда и нам голову забивают».

А обычаи не только дурные, но и довольно смешные. Чтобы засватать девушку, жених должен преподнести невесте цветастый платок, что носят в Закарпатье. Когда и от кого пошел этот обычай — никто не помнит, но и нарушить не осмелится. Пытался было Арацхан отказаться от обычая, но воспротивилась Биби-ханум: «Не позорь, сынок, мою седую голову, не дай джамаату косо глядеть на меня и Гюли. Не хочешь ехать в Закарпатье — купи старый платок у кого-нибудь...»

Дело в том, что невеста, выйдя замуж, платок продает за ненадобностью. Точнее, перепродает.

— Но кому-то надо ломать этот обычай, — сказал Арацхан. — Пусть первыми и будем мы. Поначалу посплетничают, а пройдет время — благодарить будут.

— Пусть ломает, кто хочет, мы не будем, — твердо заявила Биби-ханум. И пришлось Арацхану ехать в Закарпатье, по-

сколько продавались очень уж поношенные, а деньги просили немалые — триста, четыреста рублей. Сошел Арацхан на одной из станций, глядит, идет женщина в таком платке. Он к ней: — Продайте, пожалуйста. — Она удивилась: — Зачем? Я не торгую. — Он опять: — Я вас очень прошу, продайте, нужен он мне, понимаете... — Она не соглашается. Он дошел с ней до ее дома. Одним словом, познакомился Арацхан с мужем женщины, гостеприимные хозяева накрыли стол, и рассказал гость, что его привело в Закарпатье: — Сколько нужно берите, сто, двести рублей, но продайте платок, — стал просить опять Арацхан. — Зачем же так много? — удивилась хозяйка. — Стоит-то он пятьдесят пять рублей. — Вах, — поперхнулся Арацхан. — У нас их перепродают в шесть раз дороже.

Зато в ауле совершенно не знают, что такое калым, на свадьбу ходят как на праздник. Не бытует у мунонцев и денежных приношений, молодоженам преподносят недорогие скромные подарки. Говорят, что это повелось от двух братьев-первопоселенцев. Когда женился старший брат, младший застрелил тура и преподнес брату рога, а когда женился младший, старший заколол огромного медведя и бросил под ноги молодым шкуру.

Слышал из уст самого председателя сельсовета, что решено избавиться от «дурацкого обычая».

— Молодой учитель Мирзахан женится без платков... Пора кончать, — заявил он решительно. — Побываешь обязательно на свадьбе и расскажешь о ней через газету. Чтобы народ знал, что мунонцы не какие-то там... как говорится... консерваторы, рутинеры, темные, отсталые люди. Что такое калым — мы не знаем. Раз, — он загнул один палец. — Мечети у нас нет. Два. Хозяйство — передовое в районе. Три. Аул дал республике шесть докторов и двенадцать кандидатов наук. Четыре. Наши танцоры завоевали первую премию на международном фестивале фольклора горских земель. Пять...

Когда уже были загнуты все пальцы, он подошел вплотную и серьезно сказал:

— А ты, дорогой кунак, один по аулу ночью не ходи. Нет, не бойся, у нас до сих пор ничего плохого не случилось. Начальник милиции просил передать тебе это.

Неясная ситуация.»

14

Биби-ханум выпростала руку из под одеяла, осторожно высунула голову.

Небо было синее. Высокие горы, окружавшие аул, стояли хмурые и холодные, преграждая острыми хребтами путь солнцу.

— Доченька, спишь? — спросила Биби-ханум, пряча обратно руку в тепло.

Рядом задвигался ворох одеял, затем послышался недовольный, сонный, глухой голос:

— Ну что ты, мама... спать не даешь...

— Тебе бы только спать!

— Встаешь чуть свет и других неволишь.

— Невезучие мы с тобой, девочка, — запричитала Биби-ханум, — о-о-ой, невезучие. Разве может долго существовать очаг без мужчины... Ни крика его не знаем, ни шагов не слышим... Наказание одно. Уснула, гляди, опять?..

— Нет, не уснула.

— Так что же ты молчишь, не отвечаешь? — рассердилась Биби-ханум.

— Что ты хочешь услышать от меня?

— Что ты хочешь... — передразнила Биби-ханум. — Не маленькая, понимаешь.

— Есть у нас мужчина, мама...

— Жди, когда он переступит порог твоего дома. Камни зацветут раньше, чем он вернется.

— Не смей так говорить! — Девушка стянула с головы одеяло. — Не смей так говорить! — Большие карие глаза ее горели гневом.

— Гюли, цветочек мой, я не со зла. Я мать, и сердце мое исстрадалось. Сколько будешь сидеть в невестах?.. Перед джамаатом стыдно, что скажут, что подумают...

— А ты не подумала о том, что они скажут, если изменю Арацхану? — она всхлипнула и, уткнувшись в подушку, заплакала.

— Нельзя долго без мужчины жить, цветочек мой, завянешь без времени. Кому тогда нужна будешь? А сейчас от женихов отбоя нет. Чем не мужчина Наби: и красив, и силен, и хозяйство крепкое...

— Замолчи сейчас же! — закричала Гюли. — Замолчи!..

Биби-ханум тяжело, со стоном вздохнула и печально прогнозирила:

— Почему нас в ауле не уважают? Живем тише всех и скромнее всех, баловства себе не позволяем, ты на ферме одна из лучших работниц, на всех торжествах с гордостью произносят твое имя — «Наша Гюли», «Наша Гюли». Если бы твой отец дожил до этого дня, какой гордостью сияли бы его глаза, у него они были большие, карие, ими меня и очаровал... Хороший человек был твой отец, добрый, сердечный. Если бы не пули войны в его теле, жил бы сейчас... Отдаем себя людям, почему же такое отношение?..

— Из-за твоей ворожбы и гаданий, — глухо проговорила Гюли.

— Вай, доченька, я разве дурное желаю людям, что-нибудь плохое им говорила? Никогда. Только доброе предсказывала. Для меня нет большего счастья, если увижу улыбающееся, радостное лицо. Не обижай меня, доченька... Разве я в колхозе не работала? Редко кто за мной угнаться мог — ты в меня пошла трудолюбием. Стара стала, колесо крутится, не спрашивая нас.

Над хребтом прорезались лучи солнца. Биби-ханум встала, надела платье, лежавшее рядом, накинула на голову платок, обула чуваки и зашаркала по двору.

Набрав охапку дров, она аккуратно разложила их между двумя большими, закопченными камнями и осторожно, бережно подожгла одной спичкой. Потом из лежащего чуть поодаль нехитрого скарба вытащила небольшой мешочек муки, отсыпала немного в плоский медный таз, налила из глиняного кувшина воду и принялась месить тесто.

Огонь разгорелся. Биби-ханум поставила на камни большую черную сковороду и снова зашаркала по двору.

Со вчерашнего дня у Биби-ханум и Гюли своего дома не было. Среди десятка фруктовых деревьев уродливо стояли две стены и печка. Крыша лежала на земле, аккуратно прикрыв обвалившиеся в одну сторону стены. Бедный нехитрый скарб — это было все, что Биби-ханум успела вынести до землетрясения и откопать после.

— Вай, вай, словно изжевали и выплюнули, — сказала она сокрушенно, устанавливая измятый, побитый самовар на землю. — Стоять не хочешь? Столько лет послужил, еще немного потерпи, выручи. Ты ведь один мужчина в нашем доме, кто может напоить нас и согреть. Без тебя мы холодны и немощны, жалки и ненужны, выручи, дорогой...

Самовар приятно загудел, выпуская из зева огонь. А вскоре на весь двор запахло свежим теплым лавашем.

— Вставай, доченька, на работу пора, вставай, завтракать будем, — ласково позвала Биби-ханум, расстилая на небольшом паласе скатерть.

Гюли высунулась из-под одеяла, приятно вдохнула запах теплого лаваша.

— Какая ты у меня молодчина, мама!

— Мука кончается, на три-четыре лаваша осталось, — сказала Биби-ханум за завтраком, отхлебывая из блюдечка горячий чай.

— Помогут нам, в беде не оставят. Молодчина, мама, очень вкусный лаваш, с сыром еще вкуснее.

— Ешь, ешь, доченька. Надо будет к Нуцалхану пойти, попросить немного муки.

— Не смей ходить к нему. Я же сказала, в беде никого не оставят.

— Это верно, не оставят. Слышала, и дом нам будут строить. Но от своего никто еще не отказывался.

— А что свое ты нашла у Нуцалхана? — удивилась Гюли.

— Он в руке у меня. Захочу — придавлю, захочу — выпущу.

— Опять ворожба... — устало произнесла Гюли.

— Тут уже не ворожба, тут пахнет огнем... — Она наклонилась к Гюли и тихо прошептала: — Видела вечером, как он дом ломал. Зверь кровожадный.

— Как это ломал? — изумилась Гюли. — Свой дом?

— Наверное, новый хочет строить. У других урвать. Зверь — он и останется зверем.

— Мама, не ходи к нему, умоляю, он прибьет тебя.

— Прибьет, этот трус? — Биби-ханум засмеялась. — Он нас одарит мукой, сыром, всем, что я захочу, только бы джамаат не узнал.

— Но ты поступаешь нечестно, мама...

— Замолчи, доченька, нечестивцы заслуживают того, чтобы с ними поступали нечестно. А потом, я не думаю, что только одна слышала стук лома.

И Биби-ханум хитро глянула на дочь.

15

Камиль открыл глаза.

Он долго, не шелохнувшись, смотрел на сплетение ветвей над головой, потом попытался приподняться, но острая боль пронзила темя, и он с глухим стоном упал на подушку. Ему слышался шум моря, неумолчный, непрерывный.

«Неужели я у моря, — подумал Камиль, — но на пляже нет деревьев, а надо мной покачиваются ветви... И эта боль, адская боль, откуда она взялась? Что со мной происходит?»

Он открыл глаза, но шум моря стал так силен, отвратительно оглушающе, что заставил его раскрыть глаза и напяречь память. «Где я был? На собрании, потом пошел домой, заметил кравшегося за мной человека, а потом? Потом стук, что это было... Вспоминаю, дом, да, Нуцалхан ломал стену. Потом... ничего не было. Удар. И вот я лежу. Что произошло?»

Он выпростал из-под одеяла руки и сказал про себя: «Что же произошло?»

— Проснулся, герой.

Сквозь шум моря до слуха Камиля дошел далекий голос Мустафы.

— Тише, не ори, — сказал другой голос, и Камиль узнал голос жены Мустафы. — Человек только в себя пришел.

— Да будет тебе, разве я со зла! Сколько раз твержу ему: брось, не твое это дело, клубок запутан.

— Всякий клубок имеет свой конец, а ты, Мустафа, сколько я тебя знаю, всегда был грубияном.

Камиль тяжело поднялся и сел, спустив ноги с раскладушки.

— Как себя чувствуешь? — спросил Мустафа.

— По-моему, намного лучше, чем вчера. Только голова кружится и боль в темени.

— Ничего, пройдет. С мужчинами и не то бывает.

— Долго я спал? — удивился Камиль.

— Ночь и полдня. Немного. Мы боялись, что ты дольше проспишь. Пойду помогу жене приготовить поесть.

— Наш нехлеван проснулся, — раздался от калитки голос Наби.

— Перестаньте.

— Кто стукнул? Не заметил? — серьезно спросил Наби.

— У меня на спине глаз нет.

— Сзади бьют, сволочи, — Наби заскрипел зубами. — Ну кого-то хоть подозреваешь?

— Хватит вам, — недовольно проворчал Осман. — Послушайте лучше, что я вам расскажу, да и Камиль о боли забудет. И обед готов, присаживайтесь...

На улице послышался топот десятков пар ног, гвалт, крики:

— Держи, держи Биби-ханум, держи.

Камиль вскочил на ноги, постоял несколько секунд и устремился на улицу. За ним последовали другие.

16

Ему стоило большого труда догнать, а затем и перегнать орущую толпу.

Когда уже оставалось несколько десятков метров до сельсовета, он вырвался вперед, схватил задыхавшуюся Биби-ханум за руку, устремился к калитке и, толкнув ее во двор, заорал во все горло:

— Стойте-е-е, стой-те-е-е!..

На крыльцо сельсовета выскочил председатель, лицо его было бледно.

Толпа ткнулась в передний ряд и остановилась в трех шагах от Камиля.

— Вы что, под суд хотите? — заорал он снова, перекрывая

ропот толпы. — Вы же истопчите старую женщину!

— Кто ты такой нас поучать?..

— Ты гость и не командуй тут...

— Откуда тебе знать, кто такая Биби-ханум...

— А ну, убирайся с дороги!..

Крики и угрозы вырывались из толпы как выстрелы.

— Уйди с дороги, сомнем...

— Она накликала на нас беду...

— Глупые, — закричал Камиль и краем глаза увидел, как к нему пробиваются сквозь плотную толпу Мустафа, Осман, Наби. — Глупые, в какое время живете? Как может женщина, человек вызвать землетрясение? Вы в своем уме ли? Мне стыдно за вас.

— Она ворожкой занимается и гаданием, — слышался неуверенный голос.

— Да, она колдунья...

— Подавай сюда Биби-ханум...

— Тихо, вы что, совершенно потеряли намус и председателя сельсовета перестали уважать? Как ведете себя?.. Ворожкой занимается... А вы не ходите к ней. Насильно за подол тянет она вас, что ли? Срам, сколько в вас еще суеверия.

— Ты на нас не замахивайся, мы — честные труженики! — крикнули из толпы.

— Нуцалхан, ты не смеешь так говорить! — крикнул Камиль. — Ты бесчестный человек.

— Оскорбляют, — завопил Нуцалхан. — Ответишь перед судом, все они будут свидетелями.

— Я могу повторить: бесчестный! Не ты ли вечером сокрушал ломом свой дом? Если ты мужчина, выйди сюда, ответь джамаату.

Толпа замерла, затем над головами волной прокатилось удивление и ропот.

— Ты врешь, нечестивец. Не верьте ему, люди, его заворожила Биби-ханум.

— Тогда пойдем к тебе домой.

— Не-е-т!

— Пойдем, Нуцалхан, пойдем...

Камиль вошел в толпу, она расступилась перед ним, давая дорогу. Вслед заторопился председатель сельсовета.

— А ты уверен? — успел шепнуть он на ухо Камиле. — Иначе будет худо.

— Иначе и я не пошел бы, — ответил Камиль.

Ввалившись во двор Нуцалхана, толпа застыла в изумлении, затем в едином дыхании выдохнула: Вах! Стены дома были исковерканы.

— Для чего ты это сделал? — спросил голос из толпы.

Нуцалхан забежал перед домом, хватаясь руками за воздух.

— Землетрясение это, землетрясение, оно ведь и вас пока-
рало...

— Нас — землетрясение, а ты для чего такой добротный
дом ломом — непонятно.

Толпа молчала.

— Не ломал, люди добрые, не верьте ему, он все надумал,
землетрясение это...

— Опозорил весь аул, перед гостем опозорил, намус уро-
нил, — сказал тот же голос. — Не жить нам с ним вместе. Вы-
селить его...

Нуцалхан разинул рот, глотнул воздух, поперхнулся:

— Как так, братья, как же так можно?..

— Выселить, — поддержало несколько голосов, и вся тол-
па загудела: — выселить!

— Брат, хоть ты заступись, аллахом прошу. — Нуцалхан
бросился к председателю сельсовета. — Аллахом заклинаю, по-
моги, не дай испить чашу позора на склоне лет. Мы же с то-
бой родственники, в нас течет одна кровь, смилуйся, помоги!

Председатель сельсовета отвернулся и пошел прочь.

17

К концу дня небо заволокло тяжелыми низкими тучами,
они висели над аулом, поглотив окружающие горы, и казалось,
до них можно было дотронуться рукой. Пошел дождь.

Мустафа натянул между деревьями брезент, собрал под не-
го свою семью, тепло одел мальчишек и укутал одеялами. Су-
мерки, барабанная дробь дождя по брезенту, мрачная тишина
рождали смутную тревогу и беспокойство.

Заблеяли овцы. В углу двора замычала корова, жалобно и
протяжно.

— Хороший концерт, — сказал Мустафа, — совершенно не
боятся ни окрика, ни палки...

— Пойду в дом, — сказал Камиль.

— Ты что, смерти ищешь? — прикрикнул на него беззлоб-
но Мустафа.

— У каждого на лбу написан жизненный путь, но счастье
в том, что прочесть никто не может.

— Суеверен! — изумился Мустафа.

— Объективный взгляд на мир вещей, на жизнь. — Камиль
встал и направился к дому. Войдя в комнату, он наощупь на-
шел выключатель и включил свет. Ярко вспыхнула лампочка.
В комнате было чисто. «Наверное, хозяйка днем вынесла не
одно ведро песка и мусора», — подумал Камиль, усаживаясь

на диван и извлекая из кармана записную книжку и ручку. Надо было записать происходящие в ауле события.

Дверь с треском распахнулась и в комнату вошел Мустафа с детьми на руках. Оставив дверь открытой, он присел на диван, посадив сыновей на колени и недовольно проворчал:

— Что ты за человек, не дал мне спокойно досидеть в своем шалаше.

— Я тебя не тянул, — сказал Камиль.

— Тогда, может быть, телевизор включим? — Мустафа просительно глянул на него.

— А почему нет?! С ним куда веселей, чем с тобой. — Камиль поднялся, включил телевизор и, спрятав записную книжку в карман куртки, зашагал по комнате.

— Послушай, Мустафа, чего ради ты пошел в чабаны? Получил высшее образование, работал зоотехником... Ну, чего ради? Дурь, что ли, проснулась?

— Ва-а, понимаю, жена нажаловалась, — снисходительно улыбнулся Мустафа.

— Да нет, причем тут жена...

— Понимаешь, Камиль, спор у меня вышел с руководством колхоза. Решил я доказать, что можно получить и сохранить от ста овцематок не сто, не сто десять ягнят, как у нас привыкли, а значительно больше.

— Получается?

— Еще как. И потом, мне нужны кое-какие выводы, опыты...

— Диссертацию пишешь?!

— Неужели и у тебя создалось мнение, что мы хуже других, или другие чем-то лучше нас?

— Мо-ло-дец! — протянул Камиль удивленно. — И до сих пор молчал!

— Чего зря трепаться...

Внезапно под ногами задрожала земля, Камиль зашатался, протянул руку, пытаясь схватиться за дверной косяк, но в это время Мустафа вскочил с дивана, с детьми на руках рванулся вперед, вытолкнул Камилу во двор и выскочил сам.

От крыши в разные стороны разлеталась черепица. Где-то глухо заурчало, словно в утробе громадного чудовища, погас свет, земля закачалась, содрогнулась, дом глухо осел и жалкая крыша распласталась в грязи и пыли. Остервенело хлестал дождь. Тучи все ниже и ниже спускались над аулом, будто пытаясь придавить его свинцовой крышей. Яркие вспышки молний, ослепляя людей, прошивали небо и стремительно падали на землю.

— Аллах...

Страшный вопль перекрыл все шумы и грохот.

«Это Нуцалхан!» — подумал Камиль и выбежал на улицу.
— Вернись! — заорал Мустафа. — Вернись!..

Камиль с разбега векочил на забор, вгляделся во двор Нуцалхана и замер. Огромная трещина расколола двор на две половины, на краю трещины стояла деревянная веранда. Дома не было.

— Нуцалхан! — закричал Камиль. — Нуцалхан, где ты? Отзовись!..

На веранде что-то зашевелилось, поднимаясь. Это была женщина. Она, как слепая, спустилась во двор и вдруг зарыдала:

— Нуцалхан, Нуцалхан, где ты? Что с тобой? Нуцалхан!..

18

Крыша дома вспыхнула от очередной молнии. Огонь быстро распространялся, пожирая бревна; даже ливень не мог прибить его.

— Жена, выноси добро! — Осман захватил топор и лом и взобрался на крышу.

Дождь остервенело хлестал по лицу, стучал по кожаной куртке, заливал глаза, а он рубил, рубил и рубил, чтобы остановить огонь, не дать ему пойти дальше...

— Осман!..

Голос, полный смятения и тревоги, заставил его вздрогнуть и глянуть вниз.

Жена стояла мокрая, жалкая и глядела в его сторону.

— Слезай, пусть сгорит этот дом, слезай, другой построим... Не шути с жизнью, подумай о детях...

— Уйди! — заорал Осман, сбрасывая вниз горящие стропила. — Прочь, за детьми присматривай. Ружья вынесла?

— Вынесла, Осман.

— А патроны, порох? — Осман, что было силы, налег на лом и сбросил бревно на землю.

— Они в подвале, Осман, я боюсь...

— Э, женщина... Быстрее, иначе дом взлетит на воздух.

Огонь начал сдаваться.

— Ну что, вынесла?

— Вынесла, Осман.

— Закрой плотно, не дай промокнуть.

В тот же миг дом закачало, какая-то сила толкнула Османа и, выронив лом, он рухнул вниз.

Когда он открыл глаза, жена вытирала ему лицо мокрым платком.

— Убери эти тряпки, я и без них мокрый, — сказал он хрипло и глянул в сторону дома. Огня не было. Не было и крыши.

— Эх, опять надо новый строить, — махнул рукой Осман. — Сейчас бы я выпил кружку родниковой воды.

19

— Мама, посмотри, что делается! — с ужасом произнесла Гюли, инстинктивно прижавшись к стволу дерева.

Биби-ханум обняла ее за плечи, прижала к себе, прошептала:

— Не бойся, доченька, может, обойдет нас стороной.

Земля загудела, появилась трещина, она зазмеилась, расширяясь. Послышался звон медной посуды: нехитрый скарб Биби-ханум сполз в расширяющуюся трещину и исчез в ней.

С паласа, висевшего между крепкими ветвями деревьев над головой у женщин, ручьями стекала вода.

Женщины сидели, оцепенев от ужаса, не в силах подняться. Крепко обняв друг друга, в немом молчании они смотрели, как расходится земля, поглощая в расщелину все, что лежит на пути: деревья, вещи...

— Деяния всевышнего не предугадаешь, — прошептала Биби-ханум. — Гюли, доченька, беги отсюда, беги...

— Не могу встать, мама, — прошептала Гюли, и по лицу ее заструились слезы. — Ноги онемели.

— Не губи себя, доченька, беги! — повторила Биби-ханум, словно не слыша Гюли.

— Куда бежать, куда? — вдруг зарыдала Гюли. — Где безопасное место, где?

— И то правда, — сказала Биби-ханум. — Вместе будем ждать свою судьбу.

Ослепительная стрела метнулась по небу и ринулась на аул. Грянул гром, казалось, небосвод раскололся надвое.

— Мама, смотри, — прошептала Гюли. — Трещина не расширяется. Ты видишь, мама!

— Тихо, не шуми, — сказала Биби-ханум. — Не глазей так на рану земли, не береги ее.

Они сидели под развесистым крепким деревом, на самом краю трещины.

20

Что-то рухнуло. Гул медленно поплыл над аулом.

Камиль спрыгнул с забора Нуцалхана и пустился бежать

вниз по улице. Выскочив на площадь, Камиль увидел спешившего в сторону мечети человека с посохом.

— Не ходи туда, там опасно, — крикнул он вдогонку, но тот, не обращая внимания, продолжал идти.

«Не слышит», — подумал Камиль. Он устремился за человеком, догнал его, дотронулся до плеча:

— Туда идти опасно. Ханипаша?! Вы?!

Ханипаша повернул к нему злое, ненавидящее лицо и прохрипел:

— Отстань от меня, собачий сын, отстань...

Внезапно откинувшись назад, он поднял посох и занес над головой Камиля. Тот отпрянул в сторону. Посох с силой опустился на плечо и сломался. Несколько мгновений оба смотрели друг на друга. Неожиданно Ханипаша со словами — «Тебе, змееныш, тут делать нечего!» — крепко взял Камиля за плечи и сильно отбросил от себя. Камиль стукнулся спиной о стену, сполз на землю, потерял сознание.

Когда спустя минуту он пришел в себя, к Ханипаше подбежали двое мужчин. Один из них прихрамывал. Взяв Ханипашу за руки, они свернули в узенькую темную улочку.

Камиль тяжело поднялся, побрел по улице.

21

Прошло три дня после того страшного вечера. Земля еще продолжала изредка вздрагивать, но толчки шли на убыль. Люди перестали обращать внимание на гул, на дрожь земли...

Камиль стоял на летном поле в ожидании самолета.

— Спасибо, Камиль, доброе дело ты сделал, — сказал Мустафа. — Еще джамаат тебе свое спасибо скажет.

— Почему мне? — удивился Камиль. — Он давно находился под наблюдением.

— Ты разбудил зверя, вселил в него страх, вывел из логова. Такого зверя, хотя и опасного, легко подстрелить.

— Но он страшен в эти минуты.

— Ошибаешься, он труслив. Гнев и сила в нем рождаются от трусости. У Османа следовало бы проконсультироваться: он специалист по этой части.

— Будь здоров, Мустафа, передай привет ребятам, Наби, Осману. Приедешь в город — загляни обязательно.

— Приезжай в новый дом, — сказал Мустафа. — Без тебя не буду устраивать новоселья.

— Э-эй, подождите! — размахивая руками, к самолету бежал Осман. — Уф, устал, — сказал он, тяжело дыша. —

Вот что значит прожить несколько дней в ауле. Человек без родной стихии, что орел без неба.

— Скажи лучше, что стареешь, — засмеялся Мустафа. — Куда путь держишь, орел?

— В город еду, в охотинспекцию.

— Это еще зачем?

— Как зачем? Вертолет просить. Туров пересчитать надо, может, полстада уже нет. — Он хитро глянул на Мустафу, потом перевел взгляд на Камиля и произнес: — Свистом их не соберешь.

Они дружно засмеялись.

...Самолет оторвался от земли, набрал высоту и сделал разворот. Под крылом, внизу, лежал в развалинах аул. В километре от него расположился палаточный городок с прямыми длинными улицами.

— Красивая была долина, — сказал Камиль.

— Настоящее кладбище, — проговорил Осман. — Переселяться будем на плоскость, к морю.

— Простишься с турами?

— Зачем? Построю дом семье и уйду в горы. Человек без родной стихии, что орел без неба. Послушай, я тебе одну байку расскажу.

— Давай немного помолчим, Осман, наговориться успеем. Мне надо кое-что записать.

— И то верно, — добродушно сказал Осман и удобней развалился в кресле.

22

Был полдень, окно искрилось от солнечного света. «Через несколько дней осень, — подумал Камиль, — а там и долгожданный отпуск». Он хотел дать ход своей фантазии, когда услышал осторожный стук в дверь.

— Войдите, открыто! — крикнул Камиль, предполагая, что пришла медсестра делать укол. Послышались тихие шаги, и в комнату осторожно вошла девушка. Камиль долго вглядывался в нее, улыбнувшись, воскликнул:

— Гюли! Садитесь, пожалуйста, в кресло напротив. Чтоб я мог вас видеть.

Он попытался встать, почувствовал боль, сморщился:

— Простите, мне не разрешают вставать.

— Лежите, лежите, что вы, — произнесла Гюли. — Не беспокойтесь из-за меня. Я принесла вашу записную книжку.

— Как вас и благодарить, не знаю! — искренне обрадовался Камиль. — Она мне так нужна... Где вы ее нашли?

— Осман передал... Вы забыли ее в вертолете. Он не смог навестить вас, улетел в горы.

— Добился, — улыбнулся Камиль.

Девушка оглядела комнату.

— Мы так вам благодарны... за Арацхана. И мама моя, и его мама, и друзья ваши каждый день вспоминают о вас. — Гюли помолчала, опустила голову, затем словно спохватилась. — А за что Ханипаша убил Батырова? В ауле разные слухи ходят.

— Любопытно?

— Ходят разные небылицы.

— У Батырова были натянутые отношения со многими мунонцами, — стал рассказывать Камиль. — Но никто не знал, а тем более Батыров, что настоящий враг его — Ханипаша. Как-то на тропе Ханипаша столкнулся с Батыровым, который поднимался в гору, внимательно оглядываясь по сторонам. — «Добрый день, старик, — сказал Батыров, — не дают мне покоя эти поганцы Осман и Арацхан. А ты что здесь делаешь? — удивился вдруг он. — Зачем забрался так далеко от аула?» — «Воздухом дышу, ноги укрепляю. Разве сравнить воздух аула и этой местности?» — «Не поднимайся больше сюда, старик, нелзя».

На плато базировалась авиачасть. И вот как-то в полдень, когда в шашлычной никого не оказалось, Ханипаша взял с прилавка нож и платок Арацхана, взял умно, своим платком, чтобы не оставить следов от пальцев, и пошел на тропу.

— «Эй, старик, не говорил ли я тебе, чтоб ты сюда не поднимался?» — услышал он голос Батырова. И когда милиционер подошел вплотную, старик обернулся и вонзил нож ему в грудь. Потом бросил платок Арацхана и быстро спустился к шашлычной, чтобы вовремя занять свое место. Вот и вся история.

— Но почему он убил Батырова? — спросила девушка.

— Кровная месть. В гражданскую войну отец Батырова в перестрелке убил брата Ханипаша. У убитого не было сыновей, и Ханипаша поклялся отомстить...

— А кто вас ударил по голове?

— Он же. Подумал, что я иду по следу...

— Вы пишите статью об этом убийстве? — сказала Гюли.

— Нет, Арацхан на свободе, Ханипаша арестован. Дело закончено. Я сейчас пишу о мужестве мунонцев в дни землетрясения. Кое-что я испытал на собственной шкуре.

Камиль тяжело вздохнул и вытянулся на диване.

— Очень хочется пить. Не сварили бы вы кофе или крепкого чая?

— Но... я не знаю вашей кухни, — сказала смущенно Гюли.

— Там все на виду. Найдете.

Девушка встала.

— А кто же был тот, прихрамывающий? — спросила она из кухни.

— Сотрудник милиции.

Камиль, утомленный, прикрыл веки, и из тьмы на него наплыли картины землетрясения.

Он понял, что память о событиях в Муно будет жить в нем долго. Очень долго.

ПОЖАР

1

Амалбек захлопнул калитку, по дорожке, вымощенной кирпичом, прошел к дому. Было темно. По всему чувствовалось, что жена еще не вернулась с фермы. Двор не был подметен, двери хлева распахнуты и напоминали ему разинутую пасть ишака, да и труба без сизого привычного дыма походила на подожженный молнией пенёк.

Амалбек вытер обувь о половицы, вошел на веранду, разулся, небрежно стряхнув ботинки (он их никогда не зашнуровывал), и прошел в дальнюю комнату. Прижавшись лбом к оконному стеклу, он долго и пристально всматривался в сторону холма, возвышающегося над селом, но, ничего не обнаружив, возвратился во двор.

Он и сам не ожидал, что воспримет случившееся довольно спокойно. Как же так, спрашивал он сам себя, меня не лихорадит, не трясет, не колотится сердце, не прошибает холодный пот, неужели так должно быть?.. Мне казалось, человеком должен овладеть страх, дьявольский страх. А я его не чувствую, ничуть...

Амалбек усмехнулся, засунув ноги в азиатские калоши, вышел во двор и, взяв лопату, прислоненную к стене, прошел в огород, который занимал добрую половину двора. На грядках он выращивал лук, петрушку, помидоры, огурцы и клубнику, не потому, что был стеснен в деньгах, а просто так, ради удовольствия, да и чтобы сельчане не подумали, что он гнушается труда, отдалился от земли. Отец его, дед, прадеды и все дальние предки кормились этой землей, и он не хотел отрываться от нее.

Вдруг он повернулся, бросил лопату и быстро засеменял к дому. Войдя в дальнюю комнату, снова приложился лбом к стеклу. Он пристально всматривался вдаль, а когда увидел, облегченно вздохнул: над холмом поднимался дым. Сердце Амалбека защемило... Он вернулся во двор, поднял лопату и принялся перебрасывать землю с грядки на грядку. Только когда взмокла и заныла спина, Амалбек выпрямился и понял, что делает бесполезную работу. «И что со мной происходит сегодня? — усмехнулся он. — Черт меня побери, как мальчишка несмышленный».

Он долго бы еще копался в себе, если бы не крик жены:

— Амалбек, магазин горит!

Она вбежала во двор, остановилась, широко раскрыв рот, задыхаясь от бега, и снова уже еле выдавила из себя:

— Амалбек, магазин...

— Что случилось, Соня? Успокойся, разве тебе можно так волноваться, в твои-то годы. Успокойся. — Амалбек пошел к ней, приговаривая: — Успокой сердце, нельзя его так надирать.

— Как же успокойся, Амалбек, горит...

— Что горит, Соня, не волнуйся, ради бога. Вспомни, сколько лет мы ездили по больницам, сколько врачей подняли на ноги...

— Как не волноваться, когда магазин горит, — голос Сони сорвался, и она всхлипнула.

— Черт с ним, с магазином, он что, дороже твоего здоровья, что ли? Магазин... Нам-то какое до него дело.

— Твой же магазин, Амалбек, — проговорила Соня сквозь плач.

— Мой? — Амалбек пожал плечами. — Мне отец магазина не оставлял в наследство. Мой... Откуда у меня магазин... Подожди, подожди, Соня, что ты сказала?

— Твой магазин горит... — Соня уже не могла стоять на ногах и села на землю, уронив голову в колени.

— Мой магазин!? Быть этого не может. Что он, с кочегаркой что ли, или с печкой, чтобы пыхтеть?.. Что-то ты путаешь, Соня.

— Какой ты бестолковый сегодня, Амалбек, — запричитала жена, — дурень ты толстопузый, с тебя же шкуру...

— Молчи жена, молчи. Неужели на самом деле горит? Вай аллах, права ты, теперь вижу, вон какой густой дым повалил. Что же это такое, кто мог поджечь его? Теперь по милициям водить будут, вай, вай, вай, — запричитал Амалбек и, бросив лопату посреди двора, выбежал за ворота.

Тяжело неся свое тело, Амалбек представил, как вокруг

магазина собирается народ, пожарники сбивают пламя тугими струями воды, и холодные мурашки пробежали по спине. Но он не успел ощутить страха, потому что споткнулся и упал лицом в дорожную пыль.

— Тыфу, шайтан, — плюнул в сердцах Амалбек, поднимаясь на ноги. — Один единственный камень на этой проклятой дороге и об него я должен споткнуться. Тыфу. — Он стал отряхивать ладонями пыль с лица, с рубашки, с брюк, потом поглядел на камень, торчавший из земли, покачал головой и засеменил в сторону холма.

Когда Амалбек, задыхаясь от бега и обливаясь потом, подбежал к пожарищу, пожарники скатывали шланги, народ расходился по домам. Магазин стоял с обугленной крышей, земля вокруг была так залита водой, словно прошел ливень. Только сейчас что-то заняло в груди Амалбека,хватило дыхания и он с тревогой спросил себя: как же так могло случиться, что магазин... остался невредимым? Только крыша сгорела. Неужели... неужели огонь не пожрал их?

Он забегал, причитая и охая, топая по грязи и разбрызгивая грязь, сельчане, глядя на его побледневшее лицо и покрытую пылью одежду, сочувственно кивали головами, а иные ободряюще похлопывали по плечу и успокаивали. Остудил его спокойный голос начальника милиции Шапурова.

— Ты что из себя изображаешь кудахтающую курицу? Разберемся. Не такое еще распутывали. Да будь же мужчиной, наконец, Амалбек.

— Тебе легко сказать, Шапуров, будь мужчиной. А пятно-то и на меня ложится.

— А ты зря не топай по грязи, вот и не будет пятен.

— Все шутишь, Шапуров, твои бы мне заботы.

— Бери, с удовольствием отдам.

«Зубоскал, — сказал про себя Амалбек, — и отец его был таким.» Вспомнилось Амалбеку, как давным-давно, когда колхоз только организовали, решили они с мальчишками в колхозный амбар залезть, чтобы поживиться добром, да какое там добро-то было, кукуруза и немного ячменя, голодно было. Часть ребят отвлекла сторожа, упросив сказку рассказать, он с товарищами залез в амбар. Ну и отодрал их потом милиционер Шапуров ремнем, ох и отодрал. Неделю не мог сидеть, спал на животе.

— Послушай, Шапуров, мне бы глянуть, в каком состоянии магазин, добро посмотреть, убытки подсчитать.

— Темно уже, Амалбек, ничего ты не подсчитаешь. Утром мы тебя позовем.

— А зачем меня звать? — насторожился Амалбек.

— Сам же просишь. Подсчитать убытки, — засмеялся Шапуров. — Ступай-ка домой, ступай, поздно уже, и скажи Марату при встрече спасибо, он тебе великую услугу оказал.

Амалбек еще раз окинул взглядом магазин, повернулся и медленно побрел домой. Он и не заметил, как на село опустился вечер. Безлюдные улицы словно настороженно прислушались к тишине.

«Марат, кто такой Марат? — вспомнил вдруг Амалбек последние слова Шапунова. — И почему я должен кланяться ему? Гляди-ка, услугу оказал, и кто? Человек, которого я не знаю и которого ни о чем не просил. Марат, кто это может быть? Нет, я не знаю никакого Марата. Тьфу ты, зачем мне этот Марат, когда меня другое волнует — магазин? Что там осталось от пожара? Я должен знать, что там осталось.»

Что-то с жалобным лаем выскочило из-под ног Амалбека. Он замер, ничего не понимая, потом до его сознания дошло: собака. И усмехнулся: надо же так задуматься, чтобы наступить на пса! Он двинулся было дальше, но его остановило грозное рычание. Инстинктивно Амалбек присел на корточки, и лишь через несколько секунд до его сознания дошло, что перед ним чабанская собака. Как я вовремя присел, сказал про себя Амалбек. Этому аждахе ничего не стоило бы меня повалить. Ух, как глядит на меня, зверюга. Так и готов сожрать.

Чабанская собака стояла не двигаясь с места, выжидая.

— Был бы у меня в кармане нож, я бы с тобой померялся силой, — сказал, глядя ему в глаза Амалбек, — а безоружный я перед тобой слаб, отпусти ты меня, слышишь, разойдемся по-мирному. Ты меня понял? Ну, я встаю...

Амалбек попытался чуть привстать, но хриплое рычание мгновенно заставило его опуститься.

— Ну что ты за дурень, — сказал Амалбек, пытаюсь смягчить в голосе злые нотки, — неужели ты будешь держать меня в таком положении до утра? Сейчас крикну людей и они избьют тебя палками. Ты этого хочешь? Ну, что я тебе плохого сделал? Эх, дурень. У меня забот по горло, а ты еще тысячу первую прибавил. Магазин сгорел, дурень. Что с товаром, документацией — ума не приложу, а ты свои глазища на меня вытаращил и оскалился...

Перед взором Амалбека вдруг взметнулось пламя. Представив себе, как мог возникнуть пожар, охваченный неясной тревогой он привстал, но тут же что-то тяжелое упало ему на грудь, он дико закричал и рухнул навзничь.

Когда Амалбек пришел в себя, была уже ночь. Он просунул руку под голову, наткнулся пальцами на камень, потом ощутил липкую жидкость на затылке. Кровь, мелькнула мысль.

Опять напоролся на камень, и надо же, чтоб я об него споткнулся. А может этот камень моя судьба? Э, хватит петь панихиду, пора вставать.

Амалбек поднялся, преодолевая боль в голове, и, прижимая к затылку ладонь, поплелся домой.

На стук двери из комнаты донесся голос жены:

— Это ты, Амалбек? Слышал о Марате? Мальчику нужна кровь для переливания. — Она вышла на веранду, увидела мужа, окровавленного и грязного, всплеснула руками, запричитала, забегала вокруг, не зная чем помочь, наконец, оправившись от страха, громко велела:

— Ложись на тахту, сейчас принесу воду.

Она вернулась скоро, раздела мужа, и, опуская в до блеска начищенный медный таз полотенце, принялась осторожно проводить им по разбитому затылку.

— Разве так можно? Ребенок и то умней тебя. Суетился, больше всех тебе надо, ты должен выставить себя напоказ...

— Ты о чем, жена? — не понимая ее, сквозь стон спросил Амалбек.

— О твоей дурости. Никто себе башку не разбил на пожаре, только ты умудрился...

Ах, вот о чем, мысленно сказал себе Амалбек и в душе радовался: пусть так и думает.

— Не знаю, чем ты там занимался. Пожар потушили пожарники: а очаг, так передали по радио, очаг ликвидировал Марат. Мальчик сильно обжегся, ему нужна кровь для переливания.

Опять Марат, подумал Амалбек, кто это такой — ума не приложу, Марат, тоже мне герой...

Но когда до него дошел смысл сказанных женой слов, по спине прошел озноб. И внезапно затрепетало сердце, словно рыба, выброшенная на берег.

— Что ты сказала, Соня? Что там передало радио? — глухо спросил он:

— Очаг, говорят, ликвидировал Марат, но мальчик сильно обжегся...

— Очаг, очаг... что ты все заладила одно и то же — очаг, очаг. Ты-то знаешь, что это такое?

— Также мне, ученый выискался грамотей, видали его? Не глупее тебя. Очаг пожара — место, где он возник.

— Смотри-ка, не знал я, что ты так умна.

— От тебя набралась.

— Ладно, не время препираться. Ты говоришь, он ликвидировал очаг пожара?

— Ну да. До тебя не дошло еще?

— Значит, он знает, от чего пожар? — сказал вслух Амалбек и положил большую ладонь на грудь: он испугался, что жена увидит, как неистово бьется в груди его сердце.

— Кто такой этот Марат? — тихо спросил Амалбек жену.

— Ты что не знаешь Марата? Не пойму, что с тобой стряслось, или память отшибло, или со страху поглупел — сын председателя колхоза.

— Сын Муталиба? Марат? Ему же и пятнадцати еще нет...

— Ну и что? При чем тут возраст? Хорошие поступки зависят не от возраста, а от воспитания.

Хорошее же воспитание дает сыну Муталиб, сказал про себя Амалбек и произнес:

— Как же он увидел пожар?

— Ребята ехали на машине с поля, увидели дым. Пока все толкались в дверь, пытаюсь ее взломать, Марат взобрался на крышу и пролез в магазин...

Амалбек больше не слушал жену, он представил, как Марат пробрался в его кабинет, выключил раскаленный чайник... Тошнота подступила к горлу.

Он все видел, он все расскажет, отрешенно подумал Амалбек, если уже не рассказал. Он все видел. Он все... Перед глазами закружилось, Амалбек прикрыл веки и спросил: — неужели это конец? Но ведь неумышленно. Вот именно, скажу, забыл по рассеянности, оставил включенным, стар ведь уже, память не молодая, зрение да и слух — слабые. Что со старика возьмешь-то...

— Ты слышишь, — прервала его мысли Соня, — вот опять по радио передают. Плохо мальчику, нужна кровь для переливания, первой группы. Если бы не твоя рана, ты бы помог ему... Ведь у тебя тоже первой группы...

Дам я ему кровь, конечно, зло подумал Амалбек, он меня, считай, на суд выносит, а я ему кровь дай. Вот дело-то как обернулось.

— Он тебя, считай, от тюрьмы спас, — продолжала Соня. — Не будь его — магазин сгорел бы дотла, вместе с твоими товарами, документами, деньгами... Вай аллах, что было бы, что было бы?..

Что было бы, что было бы, зло передразнил жену про себя Амалбек. Ничего не было бы. Я остался бы цел. Дура, ты не умнее своих коров, разница лишь в том, что ты заведешь ими, а впрочем, от них проку больше: молоко и мясо. А ты... одного ребенка родила, который в трактористы пошел, не отцовскую линию продолжил, тьфу...

— Если бы не твоя рана, ты бы помог ему, — повторила Соня. — Ведь да, Амалбек?

— Как же, помог бы. Но ты видишь, сколько я крови потерял. А в селе наверняка найдется человек, и не один, с его группой крови. Да не какое-то село у нас, а райцентр. Из десяти тысяч, наверняка, несколько человек найдется. А теперь я хочу спать, Соня. Я очень устал, да и затылок так сильно болит.

— Может, пойдем в больницу?

— Опять? — заорал Амалбек. — Что ты вокруг этого Марата носишься? Не бойся, не дадут умереть, спасут, у нас народ сердобольный, наверное, сейчас все село там...

— Ты что, ошалел? — тихо ужаснулась Соня. — Я о тебе беспокоюсь, голову хотела показать врачу.

— Нечего показывать, поболит и перестанет. А теперь я хочу спать.

Соня засунула под мышку грязную одежду мужа, подняла тазик и вышла во двор. Как только стукнула дверь, Амалбек застонал, но не столько от головной боли, сколько от душевной, от досады, закрыл глаза и, ругая все на свете: и пожарников, и Марата, и жену, и камень на дороге, и чабанскую собаку, уснул. И приснился ему сон.

2

...Рано утром, когда, казалось, еще и петухи не думали возвещать о начале дня, Амалбек постучался в калитку дома Муталиба, но, сообразив, что на стук вряд ли в такой час кто и откликнется, отворил ее и вошел.

— Ты что по чужим дворам шастаешь?

Амалбек вздрогнул от неожиданности, но догадавшись, что голос принадлежит Муталибу, успокоился, огляделся.

— Где ты, Муталиб, и чего прячешься?

— Почему по чужим дворам шастаешь, говорю? Может, что приглядел, а, или корову свою ищешь?

— Может, и корову ищу. Где ты, не пойму, откуда трубишь?

— Где я могу быть? Опять же под ней, проклятая, совсем измучила меня. Сил нет уже...

Муталиб кряхтя вылез из-под «Жигулей», сел на лавочку, пристроенную у стены дома, вытер руки о старые, замасленные штаны, полез в карман, вытащил пачку сигарет, спички, закурил.

— Присаживайся, Амалбек. Что тебя разбудило раньше петухов?

Амалбек присел, вытащил из пачки Муталиба сигарету,

прикурил, выпустил струю дыма, только потом задумчиво проговорил:

— Ревизор приезжает, а у меня больше тридцати тысяч не достаёт.

— Как так больше тридцати тысяч? — чуть погодя спросил Муталиб.

— А вот так и есть. Покупателей, подобных тебе, у меня не один. Товар возьмут, а деньги жду месяцами.

— Ну ты скажешь тоже, месяцами. Я тебя предупреждал, что выплатить смогу из тринадцатой зарплаты. Ты сам же предложил взять, настоял даже. А теперь упрекаешь?

— Предупреждал, — буркнул Амалбек. — Я же не мог нагадать, что нагрянет ревизор.

— Ты на меня не бурчи. Подумаешь, милость оказал, в долг ковры продал. Я ведь не бурчу, когда ты молоко и сметану колхозные ешь, и фрукты тащишь из сада. Бесплатно. Я не бурчу.

— Да что ты заладил «бурчу, бурчу», — смягчился Амалбек. — Не в духе я. Не в настроении. Попробовал бы побыть сейчас в моей шкуре.

— И не хочу, мне своя нравится. А долг, что же... Сколько с меня там... причитается?

— Тысяча девятьсот пятьдесят рублей шестьдесят копеек. Можно и без копеек.

— Почему же без копеек? Так и растратиться можно, округлю до рубля. — Муталиб задумался, погасил окурок, прижав его в лавке. — Вечером привезу. Отвлек ты меня от дел, Амалбек, придется ехать в соседнее село к брату, зятю, свояку. Наберу, не волнуйся. За меня не волнуйся.

— Ну, я пойду, Муталиб. — Амалбек встал с лавки, потоптался.

— Выпей холодного молока, вон в том глиняном кувшине. Муталиб уже сидел в машине и пробовал заводить мотор.

— Не хочется... Я пойду.

Амалбек медленно пошел по улице, разговаривая сам с собою. Принесет, ему верить можно. Но как попрекнул? Молоком, фруктами попрекнул. Эх, Муталиб, не ожидал от тебя, тоннами яблоки, груши, сливы гниют, а я несколько ящиков взял на зиму и уже, видишь, попрекнул. Будто сам не берет. Что я говорю, самому-то можно, хозяин ведь, от нескольких ящиков колхоз не обеднеет, но годится ли так попрекать человека?... Рубли им цена, всего-то — рубли, эх, Муталиб, Муталиб...

Амалбек остановился у дома секретаря сельсовета, приблизился к окну и забарабанил толстыми пальцами по стеклу.

Приподнялась занавеска, показалось заспанное лицо, потом со скрипом открылась створка окна.

— Амалбек? Что случилось? — хрипло произнес средних лет мужчина, в его темных выпученных глазах застыла тревога.

— Ничего скверного для села, Махмуд, не пугайся. На тебе лица нет.

— С вами разве доживешь до преклонных лет. Еще два-три таких стука — сердце оборвется.

— Что оно у тебя, на нитке привязано? — усмехнулся Амалбек.

— А что ты барабанишь, как на полигоне? Тоже, барабанщик нашелся. Чего с утра баловаться вздумал?

— Баловаться вздумал? — Амалбек поперхнулся. — Это ты баловник, а не я. Из-за вас, баловников, я не высыпаюсь, пороги обиваю, как попрошайка. Ты у меня мебель брал?

— Брал, — опешил Махмуд. — А что?

— Платить пора.

— Как так пора... Сейчас? В такую рань?

— Да, в такую рань. Днем у вас времени нет, вечером — времени нет, потом забываете, вот я и решил, что самое время обойти вас между ночью и утром.

— Ну надо же как-то... подготовиться...

— К чему подготовиться? В баню, что ли, сходить, грехи с себя смыть? Для того, чтобы уплатить за товар, никакой подготовки не надо. Выкладывай деньги, и баста!

— Ты погоди, чего разгорячился-то. Подумаешь, товар продал, свой будто продал. Государственный.

— Тем более. Потому и выкладывай деньги.

— Если бы я знал, что ты такой злой человек, я бы тебе без очереди первым не устанавливал газ, и воду еще проложил.

Голова Махмуда исчезла, потом снова высунулась:

— Жена еще спит.

— Зачем мне твоя жена?

— Деньги-то у нее... Эх ты, друг, расстроил на весь день.

— Меня, думаешь, не расстроили? Мне охота по домам ходить, как... как... — Амалбек долго подбирал слово, но так и не мог найти нужное, — как почтальону? Ревизор приезжает, вам наплевать, а мне отчитываться. А как отчитаюсь, если тридцати тысяч не хватает?

— Ва-пабай, — протянул удивленно Махмуд. — Сумма...

— А ты мне еще душу выматываешь... Газ установил, воду провел... Да разве можно добрым делом упрекать? Установил — спасибо. Без очереди установил — трижды спасибо. Но зачем

же так. Я вас, задолжников, никогда ни в чем не упрекал. Пришло время — выкладывайте, товар-то не мой, не отцовский, значит, и деньги государственные, народные.

— Сколько я тебе должен? — настороженно спросил Махмуд.

— Тысячу сто пятьдесят рублей. За импортный гарнитур немецкого производства.

Наступило молчание.

— Деньги есть. — Прервал его Махмуд. — У жены они. Проснется — принесу.

И окно захлопнулось.

Принесет, сказал про себя Амалбек, но прежде в доме начнется такой скандал, хоть уши затыкай. Ох, как не любит жена Махмуда отдавать деньги. Будто от сердца отрывает. И откуда такая жадность? Тьфу.

У дома старой Минаханум Амалбек стоял долго, раздумывая, зайти или последовать дальше. Откуда у нее, одинокой женщины, свободные деньги, — думал он, стоя у калитки, — сын где-то далеко, присылает гроши, да и присылает ли? Да не зайти нельзя, хоть напомним, что платить пора.

Открыв калитку, он увидел сухонькую, сморщенную женщину, которая укладывала банки с кислым молоком в большую потрепанную корзину.

На базар готовится, мелькнуло в голове Амалбека.

— С добрым утром, Минаханум. Что в такую рань встала? Еще и петухи не думают шевелить своими бородами.

И в это самое время надрывно закукарекал петух.

Минаханум засмеялась, потом прикрыла рот ладошкой.

— Мне и днем сна нет и ночью. Мое дело хлопать глазами и ждать своего последнего часа.

— Ну что ты говоришь, Минаханум. Еще внуков надо на ноги поставить, даст бог, правнуков...

Минаханум укоризненно посмотрела на него, махнула рукой:

— Скажешь тоже, правнуков... Внука вижу-то всего месяц в году. Остальные одиннадцать думаю о нем. Чего ни свет ни заря пришел-то?

— Да так, по пути, дай погляжу, думаю, как живешь, в чем нуждаешься?

— А ни в чем не нуждаюсь, все у меня есть.

— Сын-то как, пишет?

— Пишет, пишет и деньги шлет, и посылки. То платье, то халат, то туфли, а то вдруг апельсины... Зачем они мне?..

Взгляд Амалбека остановился на посылочных ящиках и замер. На самом деле ящики, сказал он себе. А в селе болта-

ют, что сын ее забыл... Что только не говорят языки. А может, Минаханум сама их купила и поставила, чтобы показать людям? Чушь, чепуха, зачем ей это, да и где она купит ящики...

— Эх люди, люди, — проговорил он вслух.

— Что ты сказал, сынок?

— Что? Ах, я. Люди, говорю, какие-то стали интересные. Чем лучше живут, тем скупее становятся.

— Всегда так было, сынок, всегда так и будет. Мой отец любил говорить: деньги человека делают и богом и червем.

— Вот наш уважаемый Муталиб четыре ковра взял у меня, а денег пока не дал...

— Ой, ой, ой — всплеснула руками Минаханум и зашаркала домой, приговаривая, — совсем забыла, старая дура, совсем забыла...

Амалбек удивленно поглядел ей вслед, потом поднялся и подошел к ящикам. На них, размазанные дождем, были широко выписаны два адреса.

— Я совсем забыла, прости меня, старую, сынок. Вот твои шестьдесят пять рублей. И большое тебе спасибо, что одолжил.

— Что ты, Минаханум, какие шестьдесят пять рублей, за что?

— Неужели забыл? Я брала у тебя платок японский для невестки, рубашку сыну, плащ на меху и брючки внуку... Вспомнил?

Минаханум снова прикрыла рот ладошкой и погасила улыбку. Амалбек засунул деньги в карман, проговорил:

— Может, пока не надо, Минаханум?

— Сын прислал, а для чего они мне, не знаю. В доме у меня все есть. Только тихо уж очень, а ночью совсем сил нет слушать эту тишину. Сынок, а ты хоть завтракал? Наверное, нет? Подожди, я тебе свежего кислого молока дам.

Минаханум засеменила в сарай и вышла оттуда с банкой в одной руке и лавашем — в другой.

— На, поешь.

Амалбек отломил кусок лаваша, опустил в кислое молоко, направил в рот. Потом отхлебнул из банки.

— Вкусно, Минаханум, — проговорил он с набитым ртом. — Дай бог тебе долгих лет. С утра никто и не предложил куска хлеба. Ты первая.

— А многих ты посетил? — Минаханум снова прикрыла рот ладошкой.

— Многих, спрашиваешь? Не так важно сколько, важно — кого. А молоко у тебя на самом деле вкусное. Надо сказать Соне, чтобы зашла к тебе за наукой.

Амалбек последним куском лаваша вычистил банку, аппетитно дожевал, потер ладони, стряхнул с колен невидимые крошки, встал:

— Ну, я пойду, Минаханум.

— Иди, сынок, иди, у тебя, видать, дел много сегодня, да и мне надо спешить на базар.

Амалбек вышел на улицу, перешел дорогу, свернул за угол и очутился у дома сына. Ворота были открыты, выбегавшая по нужде беленькая кудрявая собачонка залилась лаем, оскалив на него маленькие зубы, и не позволила войти.

— Марта, ну-ка прекрати, что я тебе сказала, Марта... — на крыльце стояла Гюльназ, невестка Амалбека. — Заходите, папа, она не будет больше лаять.

И на самом деле собачонка легла на землю, положила на передние лапы морду, и закатив глаза, следила за Амалбеком, пока он не вошел на веранду.

— Разбогатели? — Амалбек вошел в комнату и плюхнулся на диван.

— Как вы догадались? — наигранно удивилась Гюльназ.

— По собаке сужу. Если завели такую злую животину, значит, есть что сторожить. Смотрите, село насторожите.

Гюльназ весело расхохоталась.

— Вы уже стареете, папа. Прежде, бывало, учили совершать умные поступки, читали красивые назидательные речи, бесконечно длинные, но забавные.

— А сейчас глупость сказал?

— Нет, что вы, папа, как можно... Просто уже чувствует-ся стариковское, .. как вам сказать...

— Прямо возьми и скажи: стариковское брюзжание.

Амалбек посмотрел в смеющиеся глаза невестки и отвернулся. Не любила она меня и не любит, — подумал он про себя. И зачем только Керим женился на этой красавице, ума не приложу. Что их роднит, черт их знает, он механик, она учительница, как они находят общий язык? Не поймешь современную молодежь. Боюсь, как бы не стала верховодить в доме, а там, где командует женщина, порядка не ищи...

— Тракторист спит?

— Это ваш сын-то? Почему спит, он до первых петухов встает.

— Что же он делает в такую рань?

— На огороде работает.

Вот-вот, — подумал Амалбек, утром на огороде, весь день до позднего вечера — в поле, утром опять на огороде, и так вот все дни, вся жизнь...

— Вы как-то наставляли нас, что труд приносит человеку

радость, — сказала Гюльназ, словно прочитав его мысли. — Вот тракторист и трудится в поте лица. А если бы приходили чаще, — ее голос стал серьезней, — узнали бы, что он поступил в институт.

До Амалбека не сразу дошел смысл сказанных невесткой слов, потом он просиял, но тут же насторожился: а как же семья? Он в городе, жена и ребенок здесь, кто им будет помогать?

— Институт... это хорошо. Я зсю жизнь мечтал... — Он осекся. Не мог же сказать, что мечтал сделать из него торгового работника. — А не трудно вам будет без него?

— Почему без него? Он будет дома.

— Дома? А как же институт? Не пойму тебя.

— Он поступил на заочное отделение.

— На заочное... — протянул с сожалением Амалбек. — Разве это учеба?

А про себя подумал: теперь круг для него замкнулся — огород, поле, учеба... Вертись, пока не высосет тебя жизнь. Дурень.

В коридоре послышался шум, кто-то вытирал обувь, потом открылась дверь и вошел высокий, ладный молодой мужчина. Увидев Амалбека, он радостно воскликнул:

— Приятная неожиданность, здравствуй, папа.

— Здравствуй, здравствуй, студент... Мог бы и отцу с матерью сказать, что в институт поступил, радостью поделиться.

— Времени совсем нет, от зари до зари в поле, семью почти не вижу. А вы... не за горами ведь живете вы, могли бы заглянуть к невестке и внуку.

— Ученая она, с ней трудно говорить.

— Тебе, как я помню, со всеми образованными трудно говорить.

Вошла Гюльназ, стала накрывать на стол.

— Будем завтракать, папа.

— И на том спасибо. С утра одна только Минаханум предложила мне поесть.

— А что тебя привело к Минаханум? — удивился сын.

— Да при чем тут Минаханум? Минаханум ни при чем. Должников обхожу.

— Что-нибудь случилось?

— Что может случиться? Ничего не случилось. Ревизор приезжает.

— Ну так что ж из того? В первый раз, что ли?

— А то, что тридцать тысяч недостает.

Керим свистнул.

— Доторговался.

— С нашими сельчанами доторгуешься. Товар возьмут, деньги жди вечность.

— Слушай, Керим, мы ведь тоже у папы брали, — подала голос Гюльназ.

— Да что ваш долг по сравнению с другими. Как фундук перед горой, — отмахнулся Амамбек.

— Почему же... — Гюльназ поставила на стол самовар. — Кериму взяли костюм...

— Ну, сто шестьдесят рублей, — произнес Амамбек.

— Мне платье...

— Сто рублей.

— И Мурату костюмчик и плащ...

— Ну сорок. Триста рублей разве деньги? Другие по две-три тысячи не уплатили.

— Сейчас каждый рубль дорог. — Керим взглянул на жену. — А дома ни лишней копейки. «Вот оно как получается, — подумал Амамбек, — когда в доме верховодит жена. Разве можно жить от зарплаты до зарплаты! Я не для себя, нет, мне эти триста рублей погоду не делают, пусть возвращают хоть через год, я к слову: разве можно жить без... хотя бы маленького запаса? Ученые называются...»

— Может, занять у кого? — произнесла Гюльназ.

— Не надо, не люблю заниматься. И до премии месяц еще... А знаешь, давай продадим твое кольцо, ну то, с агатом. Оно тебе и не очень-то нравится, по-моему... Я тебе из премии новое куплю.

— Если надо, давай продадим, — Гюльназ замешкалась, потом ушла в другую комнату и вернулась с кольцом.

— Сколько за него дадут, папа? — она протянула кольцо Амамбеку. Тот взял, оглядел его со всех сторон, подбросил на ладони.

— Рублей триста, триста пятьдесят.

— Ну вот и хорошо, — обрадовался Керим. — Предложи в школе учителям, или соседям.

Амамбек еще несколько раз подбросил кольцо.

— Оставили бы, хорошее золото, и форма красивая, сейчас такие не делают.

— Не такой, так другой купим, — беззаботно сказал Керим, — верно, Гюльназ? Предложи подругам.

— Зачем вам кого-то просить, да и по селу слух пойдет, что вы на беденежье, личные вещи продаете. Не надо никого просить, я сам продам.

— Вот и хорошо, — на лице Керима сияла искренняя радость. — А теперь со спокойной совестью примемся за завтрак.

«Питаются неплохо,— сказал про себя Амамбек,— ценят здоровье, на столе все есть.»

И поднявшись с дивана, он грузно опустился на стул.

На работу Амамбек пришел вовремя, но на душе было неспокойно. Даже несколько тревожно. Заходили и выходили люди, многие просто глазели на товары, Амамбек осторожно двигал костяшками счетов, но никак не мог досчитать до конца: его поминутно отвлекали, и он сбивался со счета, да и путал имена. Как назло заболели оба продавца, грипп свалил их с ног дня три назад, и Амамбеку приходилось одному вести все это сложное хозяйство. Наконец он резко стукнул костяшками, отложил счеты и проговорил зло:

— Разве они дадут спокойно поработать? Ходят, таращат глаза на добро, а деньги в сундуках держат.

— Амамбек, подбери мне холодильник. Хорошей марки. Качественный.

Типун мне на язык, сказал себе Амамбек, сейчас пойдет просить в долг, а кто ему даст перед ревизией, да и кто он такой, чтобы в долг ему давать? Колхозный шофер...

— А деньги принес с собой?

— Как же без денег? — удивился тот.

— Успокойся, и пошутить нельзя уже. Я тебе самую лучшую марку предложу, бери «Орск».

— Жена мне уши прожужжала про «Апшерон», красивый, говорит.

— Только что и красивый. Ты красивый хочешь брать или качественный?

— Качественный.

— Говорю тебе, бери «Орск»...

— Перестаньте там «кудахтать», иди дай мне стиральную машину, — донесся из дальнего угла магазина женский голос.

— Сама ты курица, — отпарировал Амамбек, — с деньгами пришла или как?

— Ты что, на старости лет совсем рехнулся? Неужели хочешь, чтобы собой оплатила, ха, ха, ха...

Амамбек вдруг узнал бойкую вдовушку Амину и весь съежился: не дай аллах развязать ей язык, такое сейчас наговорит, что уши «увянут».

— Иду, иду, погоди, у меня что-то сегодня со здоровьем плохо, сердце шалит...

— Бабу тебе надо найти здоровую, энергичную. А твоя Соня разве баба, только и знает, что вымя давить...

— Придержи язык, болтунья, не то из магазина выведу...

— Где это видано, чтоб из магазина выводили? Он что, твой,

отцовский? Тоже мне, хозяин нашелся. Ты лучше Соню попробуй из дома вывести... Он меня из магазина выведет, видали?...

— Ну, идем, идем, какую тебе машину дать? «Чайку» берешь? Хорошая машина.

Чего она на меня взъелась, да и на Соню, подумал Амалбек, и уже выпроводив вдовушку с покупкой, хлопнул себя по лбу — вспомнил. Сунулась было как-то она купить стиральную машину, но в долг: денег свободных не оказалось. И так просила Амалбека, и этак. А чего ради я ей дам, подумал Амалбек и кто она такая, да, именно, кто? Чем может быть полезна? Глянул на нее, а та вся тут. Глаза обо всем говорят... Нет, на это я не пойду, твердо заверил себя Амалбек, село узнает, сраму не оберешься. Вот с того дня и взъелась она на него — вдовушка...

Наконец подошло время перерыва. Амалбек запер дверь, лег грудью на прилавок и снова задвигал костяшками счетов. При каждом подсчете с его губ срывались имена председателя колхоза, секретаря сельсовета, колхозного сторожа, завхоза школы, тракториста... Пересчитав всех должников, он задумался удивленно и снова вернулся к подсчетам. «Как же так, — спросил он себя, отложив счета, — где же еще 'десять тысяч?»

Холодный пот выступил на лбу, Амалбек вытер его ладонью, задумался: — ничего не пойму. Десять тысяч не иголка, скажем, десять рублей, сто — я допускаю, могут где-то затеряться, чего в моей работе не случилось, но десять тысяч... Надо еще раз перечислить должников.»

Тут он хлопнул себя по лбу и закачал головой: тетин сын, шайтан его побери, тетин сын взял, чтобы купить машину. Что делать теперь, найдешь его черта с два... Подожди-ка, а расписка, на месте ли она?

Амалбек заторопился к дверям, на которых жирно было написано «завмаг», отпер их, вошел в маленькую комнатку, где стоял стол, кресло с подлокотниками, несколько стульев, большой сейф. Протиснувшись к нему, Амалбек с хрустом открыл дверь сейфа, засунул руку в нижнее отделение, вытащил толстую папку и принялся быстро перебирать ее содержимое. Наконец, он остановил взгляд на листе бумаги, которая оказалась нужной распиской, облегченно вздохнул, бросил папку в сейф, закрыл его и плюхнулся в кресло.

— На месте, полегчало на душе, — проговорил Амалбек вслух. — Но где взять десять тысяч, кто мне их даст? У нас в селе? Никто. Попросить у завмага Кадырманана, он и от меня далеко, и от сельчан, не проболтается. Да и вообще наши люди — завмаги не болтливы. Кадырманан... Нет, не буду унижаться. Еще посмешищем стану в его глазах, в лицо ничего не

скажет, а в душе будет насмехаться. Нет... Может продать свое добро, а как тетин сын вернет деньги — снова куплю, еще лучше куплю. Вот это выход. Так, четыре ковра — три тысячи, если округлить, конечно, столовый и спальный гарнитур — две тысячи пятьсот, холодильник, телевизор... Продать-то продам, а с чем я останусь? В голых стенах жить да ждать, когда тетин сын возвратит? И почему я должен продавать свое добро? Голова кругом идет, не знаю, что делать... Десять тысяч, немалые деньги.

Амалбек откинулся на спинку кресла, закрыл глаза, пытаясь отвлечься от тревожных дум, потом почувствовал, как остро засосало под ложечкой и вспомнил, что проходит обеденное время. Он встал, включил в розетку электрический чайник. Потом достал из тумбочки письменного стола колотый сахар, несколько кусков вареной холодной баранины и четверть лаваша, оставшегося от вчерашнего обеда. Ел он смачно, аппетитно.

Вдруг его внимание привлекло шипение. Он настороженно огляделся по сторонам, потом усмехнулся, дожевал и, поднявшись с кресла, выключил чайник. Насыпав индийской заварки и залив ее кипятком, он снова поставил заварной чайник на электрический, когда чай заварился, перенес заварной чайник на стол, налил чаю и с шумом стал прихлебывать, откусывая маленькие кусочки сахара. Золотисто-багровый цвет чая всегда радовал Амалбека, а терпкость и крепость — успокаивали.

Амалбек еще раз глянул в сторону электрического чайника, встряхнул головой, отгоняя навязчивую мысль, но она опять пришла в голову, он снова встряхнул головой, проговорив: шайтан тебя поberi, и уже не стал уходить от нее. Что ж тут преднамеренного, — сказал он про себя, — забыл выключить. Нет, нет, разве ж так можно?.. Но кто догадается, что чайник... Его и в помине не будет. Конечно, не будет. А если останется, если докопаются? Но ведь не преднамеренно. Забыл, стар стал, память уже не та... И что это мне в голову взбрело, к шайтанам все...

Половину оставшегося дня Амалбек работал как в тумане. Казалось, он не видел ничего, натыкался на людей, товары, и ежеминутно твердил себе: успокойся, на тебя смотрят. И на самом деле он успокоился, и тайная мысль уже его не беспокоила, — она глубоко засела в мозгу.

Наконец, когда подошел к концу рабочий день и последний посетитель вышел из магазина, Амалбек прошел в свой кабинет, включил электрический чайник, прислонил к нему огром-

ный ворох оберточной бумаги и, резко повернувшись, вышел. Он тщательно закрыл двери магазина и медленно побрел домой.

Не пройдя и двухсот метров, Амалбек вдруг замешкался, остановился и повернул назад. Открыв магазин, он тяжело вбежал в кабинет, расшвырял ногой бумагу и с остервенением выключил уже шипевший чайник. Амалбек долго стоял над ним, внезапно уставший, опустошенный, чуть слышно шепча: дьявол тебя побери. Потом сунул вилку чайника в розетку, тяжело прошел по магазину, закрыл двери и направился домой.

Амалбек захлопнул калитку, по дорожке, вымощенной кирпичом, прошел к дому.

Было тихо. По всему чувствовалось, что жена еще не вернулась с фермы. Двор не был подметен, двери хлева распахнуты и напоминали ему разинутую пасть ишака, да и труба без сизого привычного дыма походила на подожженный молнией пенёк.

Амалбек вытер обувь о половицы, вошел на веранду, разулся, небрежно стряхнув ботинки (он их никогда не зашнуровывал), и прошел в дальнюю комнату. Прижавшись лбом к оконному стеклу, он долго и пристально всматривался в сторону холма, возвышающегося над селом, но, ничего не обнаружив, возвратился во двор.

Амалбек и сам не ожидал, что воспримет случившееся так спокойно. Как же так?—спрашивал он сам себя.—Меня не лихорадит, не трясет, не колотится сердце, не прошибает холодный пот. Неужели так должно быть?.. Мне казалось, человеком должен овладеть страх, дьявольский страх. А я его не чувствую, ничуть...

Амалбек усмехнулся, засунул ноги в азиатские калоши, вышел во двор и, взяв лопату, прислоненную к стене, прошел на огород, который занимал добрую половину двора. На грядках он выращивал лук, петрушку, помидоры, огурцы и клубнику, не потому, что был стеснен в деньгах, просто ради удовольствия, да и чтобы сельчане не подумали, что он гнушается труда, отдалился от земли. Отец его, дед, прадед да и все далекие предки кормились этой землей, и он не хотел отрываться от нее.

Вдруг он повернулся, бросил лопату и быстро засеменил к дому и, войдя в дальнюю комнату, снова приложился лбом к стеклу... И раздался острый звон...

Амалбек открыл глаза, удивленно повел ими из стороны в сторону, не сразу поняв, где он и что происходит. До слуха донеслись приглушенные причитания жены.

— Что такое, что случилось?

— Шайтан мне дорогу перешел, фарфоровый заварной чайник разбила, — протяжно захныкала Соня.

— Для чего ты его брала?

— Тебя хотела чаем напоить. И чай весь разлился.

— Да ладно, что там. Черт с ним, с чайником. Дай мне еще немного поспать.

— Не к добру все это, не к добру, чтоб мои руки отсохли...

— Перестань. Дай мне поспать.

Амалбек закрыл глаза. Вспомнил весь свой долгий сон. И поразился. Это же все со мной было, сказал он себе, именно так и было. Как могло случиться, что прошедший день так подробно приснился мне?.. И люди, их, лица, разговор, да и я сам... Словно второй раз все пережил. Нет у меня слов, чтобы объяснить это. Амалбек незаметно уснул...

В комнату осторожно вошел начальник милиции Шапуров, встал у двери, помолчал, потом кашлянул в кулак:

— Я бы хотел, чтоб ты зашел ко мне, Амалбек.

— Чего идти к тебе, когда ты у меня? Садись, поговорим.

— Здесь Соня, не хочу при ней говорить о деле. А присыпать за тобой милиционера и вести через все село тоже не хочу. Что могут подумают люди? Сам придешь. Договорились?

— Ладно уж.

Амалбек открыл глаза — комната была пуста.

— Соня, где ты? — настороженно спросил он.

Никто не отозвался.

— Соня, — крикнул Амалбек. — Ты где?

— Здесь, что случилось? — Она вышла из комнаты, зашпанный, в ночной рубашке.

— У нас никого не было?

— Кто в такой час может быть у нас?

— В такой час... А сколько сейчас?

— Скоро утро. Тебе что-нибудь надо?

— Нет, иди досыпай.

Соня ушла, а Амалбек долго глядел в потолок и думал: все это от аллаха, что бы не говорили ученые люди о снах, все от аллаха. Всем нашим существом, душой, действиями владеет всевышний, владыка... Который и сам требует от нас добродетели.

Внезапно Амалбек вспомнил Марата. Что с ним, оказали ему

помощь, или она еще нужна? Надо бы совершить благородное дело, дать свою кровь. Правда, подвел сорванец, но какое дело совершил, уму непостижимо: зайти в удушающий дым и огонь, увидеть раскаленный, как закатное солнце, чайник и выключить его. И суметь еще выйти. Герой, настоящий герой. И не поверишь, что геройский подвиг совершают так просто. Но как этот герой подвел меня, подвел, сорванец. А впрочем, он ведь думал — как лучше, хотел сохранить мне магазин... Доброе дело надо совершить, и джамаат заговорит, и перед блюстителями закона предстану как благородный человек. А что до чайника, то моя вина, что правда, то правда, забыл я его, оставил включенным и забыл, память уже стариковская, дырявая стала, ведь не преднамеренно же... Что же я, враг своим сельчанам, государству, враг себе?!.. Надо вставать и потихоньку идти в больницу, помочь надо Марату.

Амалбек осторожно поднялся, надел чистую одежду, которая лежала рядом на стуле, опустил ноги в туфли и тихо вышел во двор.

Светало. Воздух был чист и прохладен. Свежий ветер слабо тянул с гор. Затворив бесшумно за собой калитку, Амалбек пошел по улице в сторону видневшейся на площади трехэтажной больницы. Он шел и представлял себе, как отдает кровь Марату, а тот улыбается ему ясной улыбкой, и врачи и медсестры в белых халатах бесшумно ходят вокруг него и без слов, глазами, взглядами благодарят за помощь: он мысленно подробно рисовал все это в своем воображении, а ноги тем временем свернули с дороги и подвели его к отделению милиции. Амалбек глянул на дверь и вздрогнул:

— Что мне тут делать? Мне здесь нечего делать. Меня ждет Марат, он нуждается в моей помощи.

Но ноги не слушались, не подчинялись ему. Они переступили через порог и пошли по коридору. Куда же вы, черт вас побери, мне здесь нечего делать, — кричала уже душа Амалбека, теряя власть над ногами.

Амалбек вошел в кабинет, остановился, осмотрелся. За столом, опустив голову на руки, сидел милиционер. Он поднял голову, и Амалбек узнал Шапурова.

— Заснул, — проговорил Шапуров, протирая пальцами глаза.

— А я вот шел в больницу, кровь отдать Марату, и заглянул к тебе.

— Так и поверил тебе: заглянул. — Шапуров улыбнулся. — Скажи, с чем пришел?

— Ладно уж, скажу. Не к тебе я шел, к Марату, а сюда ноги привели.

— Кто?

— Ноги.

— Чудные дела творятся. Что же, по-твоему, ноги существуют сами по себе, голова сама по себе, сердце само по себе?.. Чудно. Садись, а то еще ноги не удержат и упадешь, не дай бог.

— Да не буду сидеть, спасибо, мальчика надо выручать.

— Его выручили. Ну, а если так сильно хочешь помочь, пойдешь позже. А пока садись. Раз пришел — садись, все равно я хотел милиционера за тобой послать.

— Зачем милиционера? — встрепенулся Амалбек.

— А пожар? — поднял глаза Шапуров, но больше ничего не сказал.

Амалбек сел на стул, откинулся, хотел было положить руки на подлокотники, но они упали, повисли вниз, и тут только сообразив, что сидит не в кресле, он положил руки ладонями на колени, как, ему показалось, было удобно, отчего он чуть-чуть подался вперед, опустив плечи.

ОБОРОТЕНЬ

1

В кромешной тьме раздался звон упавшей с высоты металлической посуды, потом что-то тяжелое рухнуло на пол, увлекая за собой деревянные предметы, и глухой голос зло и остервенело произнес:

— Чтоб ваше семя сгорело в аду, чтоб ваше око выколол всевышний! Власть называется... свет не может дать людям...

Треск и одновременно звон разбитого стекла захлестнули голос, и тут же другой, высокий, детский, охваченный страхом и отчаянием, заметался в темноте:

— Папа, я боюсь, там кто-то страшный, папа, папочка, спаси меня, я боюсь!

И внезапно наступила тишина. Настороженная. Она длилась долго.

Но вот послышались осторожные шаркающие шаги: в пустом доме такие звуки всегда наводили неосознанный, дикий страх. И детский вопль снова раздался в комнате, отскакивая от невидимых стен, потолка, вопль отчаяния и бессилия:

— Па-почка!

И оборвался.

— Кто там кричит? Внушек, Аслан, не ты ли там кричишь? Я иду к тебе, подожди, сейчас зажгу лампу, подожди, маль-

чик мой, — раздался мягкий елеинный голос, полный участия и сострадания.

Потом в комнату вплыла керосиновая лампа, которую нес высокий худой мужчина. Увидев в углу дивана лежавшего без чувств мальчика, мужчина со стуком поставил на стол лампу, схватил на руки ребенка, заметался по комнате, потом, очевидно, успокоившись, положил его на диван, принес воды в большой серебряной чаше, ополоснул ему лицо и осторожно, но чувствительно похлопал его сухими ладонями по щекам.

Тот некоторое время не приходил в себя, потом подергал веками, открыл глаза и тут же испуганно зажмурил. Спустя минуту он опять открыл глаза, узнал мужчину и, вскочив, бросился ему на грудь:

— Дедушка, дедушка, кто-то меня сильно напугал, так сильно, что я упал на диван, и больше ничего не помню...

— Успокойся, внучек, кто здесь мог быть? У нас и врагов-то нет, а друзей — целое село. Все сельчане уважают и почитают твоего дедушку, да и отца. Может, сосед наш заходил, Муртаза?

— Нет, у Муртазы голос добрый, а этот был очень злой.

— Кто же это мог быть? А может, приснилось тебе? Да, да, наверное, приснилось, внучек.

— Как могло присниться, если я не спал? Книжку читал, вот на диване лежит. Вдруг погас свет, — я не успел пойти за лампой, ведь сразу стало темно, как в трубе нашей печки, — и потом голос, что-то упало, раскололось...

Мужчина уже не слушал мальчика. Упомянутая внуком печка вернула ему теплые и вместе с тем тревожные воспоминания.

Года два назад крышу дома покрывали новым шифером. Никто не обратил внимание, что по лестнице вскарабкался наверх и маленький Аслан. И только когда раздался истошный крик падающего в трубу малыша, все вдруг опешили, замерли, потом засуетились, забегали, не зная, что предпринять, как вызволить его из черной дыры. И только он, хозяин, дед, не растерялся. Тут же распорядился быстро разобрать стену, к которой примыкала труба.

У него никого больше не было в роду, кроме этого внука. Нет, вообще-то были: дочь Асия и ее две девочки и мальчик, но они принадлежали не его роду, носили не его фамилию. Поэтому он души не чаял во внуке, был к нему добр и внимателен, заменял бабушку и мать... Конечно, мальчик был обделен материнской лаской: что поделаешь, если судьбе угодно было лишить жизни молодую красивую женщину, когда она подарила мутле Фатаху внука. Судьбу не одаришь, не подку-

пишь, не усовестишь. Безликая, бесформенная, бесцветная, она ходит вокруг каждого, идет по пятам, рядом, выжидая своего, назначенного на невидимых часах времени... Значит, ей, молодой женщине, уготована была короткая жизнь, но она обманула судьбу и успела подарить людям человека. А может, судьба сжалилась и позволила ей совершить этот в высшей мере человеческий поступок?

Может, этой навязчивой, неотступной судьбой было уготовано и мулле Фатаху заменить мальчику бабушку и мать? Стирать ему и кормить его; штопать разодранные носки и учить читать по буквам, а потом ярко разрисованные книжки; внушать сострадание к слабым и уважение к сильным. Не раз, не два, не двадцать предлагал, настойчиво требовал, уговаривал мулла Фатах сына подыскать мальчику другую мать. Но время шло, солнце всходило и заходило, деревья зацветали и роняли листву, земля покрывалась щетиной золотых колосьев и затем оголялась, а мулле Фатаху приходилось бороться с собой, вести двойную жизнь: в мечети он призывал правоверных к послушанию аллаху и покорности, а дома старался преподавать внуку светскую науку...

Внезапно зажегся свет, ослепительный и искристый, мулла Фатах и Аслан еще щурились, закрывали и открывали веки — так больно резало глаза, — когда хлопнула дверь на веранде и удивленный голос проговорил:

— Вот это погром! Драка, что ли, здесь произошла? Или Аслан в пехлевана играл?

— Ничего не произошло, сын. Все в порядке.

— Хороши же порядки. Табуретка валяется во дворе, окно веранды — вдребезги, кастрюли и миски на полу. Может, землетрясение случилось в верхнем селении и табуретка решила спастись бегством?

— Не остри, сын. Все в порядке, говорю.

— Но объясни тогда, что все это значит?

— Вот когда женишься, ничего не придется объяснять.

— Опять ты за свое.

— Мальчику мать нужна. Не мне тебе объяснять. А если еще не уразумел этого — грош цена твоей учености. Иди приготовь ужин, я приберу на веранде.

Когда мулла Фатах бережно усадил внука на диван и вышел, мальчик шепотом обратился к отцу:

— Папочка, у нас был какой-то злой мужчина.

— Кто же это был? — так же шепотом спросил отец.

— Не знаю. Темно ведь было. Свет погас. А потом пришел дедущка.

— Ничего не пойму, что у вас тут произошло? Дедушка скрывает, ты не видел.. Пойду приготовлю поесть что-нибудь.

Минут десять спустя трое мужчин сели за стол. На большой сковороде дымилась яичница, в глубокой тарелке лежала разогретая долма в виноградных листьях, на широком блюде — овечий сыр. Несколько чуреков, покрытых яичным желтком и черными зернами мака, красовались на середине стола, рядом с электрическим самоваром.

Мулла Фатах разломил вилкой долму, отправил в рот одну половину, потом вторую, подцепил лоснящийся жиром отставший виноградный лист и долго и смачно стал жевать его.

— Почему так поздно? — успел спросить он, отправляя в рот целую долму вместе с листом.

— О тебе рассказывал.

Работая челюстями, мулла Фатах поднял на сына внимательные глаза. Опустил их. И чуть погодя произнес:

— Что можно обо мне рассказывать?

— Конечно, не о твоих деяниях во имя и во славу аллаха, — усмехнулся сын.

— Не гневи аллаха, — буркнул мулла Фатах.

— Ребята интересовались годами твоего пленения, — продолжал сын, не обратив внимания на слова отца. — Я рассказывал им о тех тяготах, которые ты перенес в фашистском концлагере.

— Те годы никогда не забудутся, — глухо произнес мулла Фатах. — Они во мне словно незаживающая рана... А ты не забыл им рассказать, как ночью я задушил предателя?..

— Конечно, нет. Как, подслушав ваш план побега, он затаился, а ночью ты перекатился на него, спящего, удавил, потом вместе с Муртазой сбросил его труп в сортир...

— Тяжело вспоминать о тех годах, — вздохнул мулла Фатах.

— Но они не могут понять, как ты, фронтовик, мог стать муллой!

— Сколько раз я объяснял тебе, сын...

— Я-то могу поверить, поскольку сын, вернее — по долгу сына. Детям это объяснить, втолковать трудно, очень трудно.

— Там, в лагере, ежедневно, ежечасно видя издевательства, глумления над человечеством, испытывая их на себе, я дал себе зарок: если останусь жив, посвящу себя аллаху и буду призывать людей к милосердию, человеколюбию. Что я и стараюсь делать в меру своих сил.

— По мне — лучше бы ты был школьным сторожем, чем муллой. Там пользы больше: школьный инвентарь сберег бы от порчи.

— Я души правоверных берегу от порчи, — жестко проговорил мулла Фатах.

— Чьей порчи?

— Жизни, сын. Не все ведь такие идейные и зрелые, как ты и тебе подобные. Есть еще и другие — им свойственно ошибаться, душа их ищет утешения, сочувствия, помощи, ответа...

— Оставь их идейным, как ты называешь нас, не раздваивай их души. Они живут с нами, работают с нами, думают с нами...

— Но если в их сердце вкралось или тдело сомнение в силу правды и истины, познания и сотворения жизни и вселенной, их надо разрешить.

— Но не твоей лженаукой.

— Чья сильнее, та и осилит. Да и зря мы ведем этот спор. Жизнь сама рассудит и сама поставит каждого на свое место. Как меня поставила на мое, а тебя, несмотря на то, что ты сын муллы, на твое. И нечего нам бросаться друг в друга словами: они тоже что-то весят да чего-то стоят. Иди-ка к себе работать, а я уберу со стола и уложу спать Аслана.

— О словах ты сказал хорошо, — улыбнулся сын, наливая себе в пиалу чай.

2

Мулла Фатах проснулся до первых петухов. Он долго возился на кухне, готовя завтрак: любил вкусно поесть и не отказывал себе в этом удовольствии никогда. Потом почистил школьную форму внука, открыл портфель и пересмотрел, все ли учебники и тетради уложены, положил два увесистых яблока и грушу и щелкнул замком. Он уже шел по сельской улице, когда первый петух, пробудившись от сладкого сна, вдруг вспомнил о своих обязанностях и истерично загорланил. Его крик переполошил и других петухов, которые принялись перекликаться между собой в разных концах села.

Мулла Фатах шел медленной легкой походкой, перебирая за спиной четки, и, усмехаясь, беседовал сам с собой. «И здесь нет порядка, разжирели, разленились. Вместо того, чтобы все делать по установленному порядку, впадают в истерику, мечутся, шарахаются. Тьфу! Порядок нужен во всем, железная дисциплина. Их вырабатывает страх — хитроумная машина многих веков. Страх, только он организует, спланирует, подчиняет воле сильного, страх ведет ослепленных через все преграды вперед, вперед любой ценой, вперед, не думая ни о последствиях, ни о результатах, только вперед! В железных колоннах, железной машиной...»

Мулла Фатах провел ладонью по влажному лбу, прижал ею веки, потом опустил ладонь на бороду, потянул ее, распустил и снова двинулся своей медленной легкой походкой.

Светало. Из-за саманных заборов и плетеных оград, тяжелых ворот и узких калиток вырывались мычанье коров, звон ведер и тазов, голоса людей. «И здесь нет порядка, — уже беззлбно буркнул про себя мулла Фатах. — Но любо-дорого смотреть на их поселения, дворы, дома, ограды — все построено словно одним хозяином. Да что там говорить, если бедного загнанного крестьянина не бить постоянно по спине, от пота и соли горб у него вырастает. А этот горб ему уже как крест свой нести».

Мулла Фатах толкнул калитку в тяжелых воротах мечети и вошел во двор. На грубо сколоченном высоком стуле с подлокотниками, который чем-то походил на кресло, сидел сторож Нефес. Увидев муллу, он сполз со стула, коротконогий и широкозадый, он с подобострастной улыбкой склонился в поклоне.

— Много лет вам жизни и еще столько же. Только что беседовал с вами мысленно.

— О чем же была твоя беседа? — мулла Фатах усмехнулся в душе, не переставая удивляться мерзким способностям Нефеса приноравливаться к любому человеку. У кого только он не находился в услужении: у завмага был в качестве разносчика, а на самом деле прислуживал в доме — мыл полы, выбивал ковры, чистил коровник, ухаживал за скотиной, однажды залюбовался на хозяйку, долго смотрел, вожаденно — выгнали. В школе был сторожем, исправно нес свою службу, даже днем не уходил с доверенного поста. Но вот обратили внимание, какими глазами он смотрит на девочек — уволители от греха подальше. В клуб устроился, к заведующей в услужение. Все домашние работы для вдовы выполнял играючи, с песнями, по пятам за ней ходил, к стопам склонялся в низком поклоне, к запахам платьев принюхивался, как блудливый пес. Приелся — выгнали. Мулле Фатаху служил верой и правдой, был его ушами и глазами, а где посчитает нужным — и устами. Но мулла Фатах знал: с услужливым проходимцем надо вести себя очень осторожно. Ему ничего не стоит продать и предать. Поэтому никогда ничего не поверял и не поручал, но со временем Нефес так приноровился к мулле, что понимал его с полуслова, угадывал его желания, мысли...

— Рамазан удался как нельзя лучше, — захлебываясь, говорил Нефес, следуя чуть позади муллы Фатаха и вытягивая

ракулевою папаху, лег на високо взбиті подушки, положив під голову руки, закрив очі. Тишина і полумрак розполагали ко сну.

Проснувся мулла Фатах внезапно. На коврі уже була расстелена скатерть. Нефес поставив на неї красиво расписаний фарфоровий супник с хинкалом, источавшим ароматний запах, білі лепешки, несколько головок чеснока, овечий сыр, глиняний кувшин с вином, рядом поставив срібняний таз, кувшин с водою і полотенце.

— Баят де? — коротко спит мулла Фатах.

— Піднявся на мінарет.

— Ладно, іди.

Обычно мулла Фатах завтракал і обідав с муэдзином. Но сегодня не стал ждать. «Надо і его держать на приличном расстоянии от себя, — решил мулла Фатах. — Ведь они со своей прислугой за один стол не сажались. Следует придерживаться рангов, сословий... Да и на самом деле, кто такой этот Баят? Вчерашний горлопан. Пел на свадьбах, праздниках. Стоило посулить хорошие деньги — переметнулся на мою сторону. Вот ведь как получается: человеку все равно, о чем петь — о всепобеждающей любви, о безграничном счастье свободного человека, о радости труда или призывать к послушанию, к покорности, к благодеяниям во имя аллаха. Важно одно: чтобы в желудке было тепло і сытно».

С мінарета потекли длинные напевы озона, призывавшего правоверных к намазу. «Заливайся соловьем, оправдывай свой кусок хлеба с увесистой ляжкой барана», — усмехнулся в душе мулла Фатах, поднимая крышку супника.

Ни с чем не сравнимый запах затмил собою все: не существовало ни Баята, ни Нефеса, ни тысячи дворов, ни даже тех, перед которыми мысленно преклонялся он. Не существовало ни неба, ни земли, только опьяняющий запах мяса, теста, жирного бульона, острых приправ с чесноком, горячим паром поднимался из супника, вызывал острое желание — есть, есть, есть...

3

Мулла Фатах шел домой не своей давно облюбованной узкой дорогой, резко уведившей от центра села, а широкой, покрытой асфальтом і обсаженной с обеих сторон ореховыми деревьями, спускавшейся на майдан. Ему хотелось хоть краем уха услышать самому, что думает предпринять власть к тем правоверным, кто забил скот і не вышел на работу.

Шел он степенно, не спеша, перебирая четки, не поворачивая головы, одними глазами оглядывая дворы, их хозяев, и в который уже раз убеждал себя, как не хватает этим людям четкого ритма, ритма хорошо отлаженной машины. Ритм, ритм, ритм, нацеленный на действие и только действие, движение и только движение, не дающий ни грамма возможности думать, размышлять, сомневаться... Только ритм, движение, механическое, тяжелое, подминающее под себя все живое и мыслящее...

Мулла Фатах прервал свои мысли: в конце улицы, там, где она вливалась в майдан, на нескольких скамейках, плотно поставленных друг к другу, сидели седобородые. «Однако давно я здесь не был. Теплые камни годекана забыты: местная власть подарила горцам деревянные скамейки, — усмехнулся он про себя. — Село сохнет под культом дерева: покойников стали хоронить в гробу. Тьфу, где это видано, чтобы правоверных хоронили в гробу, надгробия делать — из дерева, дома строить — из дерева. Поджечь бы это дерево, в черном пожарище уничтожить его под корень, подчистую, вбирая, вдыхая в себя гул, рев, неистовую пляску всепоглощающего огня...»

— Васалам алейкум, мулла Фатах, каким ветром тебя занесло к нашему годекану?

Мулла Фатах деланно вздрогнул, сделал вид, что только сейчас заметил седобородых, и почтительно произнес:

— Ваалейкум салам, сам того не ведаю, видать, волею аллаха, уважаемый Гитинав.

— А не велел ли тебе аллах посидеть с нами, поговорить о мирских делах? Ведь для душевных бесед существует не только мечеть.

— В твоих словах есть истина, уважаемый Гитинав. Можно и посидеть.

— Слава всевышнему, что на сто шестом году от роду в моих словах обнаружили истину, — Гитинав залился детским смехом, затем вдруг стал серьезным и бросил седобородым: — Дайте место.

Старики, кряхтя и сопя, задвигались, потеснились, и мулла Фатах втиснулся между ними, одним плечом притираясь к плечу Гитинава.

— Ну, рассказывай, мулла Фатах, что нам нового обещает аллах? — простодушно спросил Гитинав.

Мулла Фатах опешил. Он знал, что старец, в совершенстве владеющий арабским и турецким языками, еще в далекой молодости побывавший на Ближнем и Среднем Востоке, изучивший божественные книги мусульман, христиан и иудеев, давно не верит ни в аллаха, ни в дьявола, но чтобы вот так, при

седобородых, с насмешкой говорить о всевышнем! Мулла Фатах не ожидал и потому замешкался с ответом.

— Вон сколько скота побили, — продолжал Гитинав, не получив, да и не ожидая, впрочем, ответа. — Несчастные коровы обращали свои тупые морды к небу и зывали к всевышнему долгим, надрывным мычанием. В один голос. Даже у меня, у старого Гитинава, много повидавшего на своем веку, кровь застыла в ветхих жилах. А он как же, неужели не услышал?

— Не мне тебе говорить, что ведешь ты недозволенные разговоры, — покорным голосом проговорил мулла Фатах и услышал говорок одобрения. «Надо поломать, изменить тему разговора, — сказал он себе. — Вести беседу с ним опасно и рискованно, не осилю, он много знает». Но Гитинав не дал ему прервать себя и продолжал тем же насмешливым тоном:

— Ну зачем надо было жертвовать ему такую гору мяса, ума не приложу?.. Именем аллаха многие набили животы. И вам приношение сделано, должно быть, богатое?

«Чтоб тебе не встать с этой скамейки, проклятый старик, — в сердцах проговорил про себя мулла Фатах. — И дернул меня дьявол выйти на эту улицу! Краем уха услышать самому... Тьфу! Вот слушай теперь даже двумя ушами. Сраму не оберешься. Заткнуть бы ему глотку! Нельзя: самый почтенный человек в селе. Постращать карой аллаха? Во-первых, он не боится ее, во-вторых, настрою против себя стариков. Чтоб вас смерть прибрала! Какого дьявола вы живете на земле? Какая от вас польза людям? Только объедаете их, оскверняете законы божьи да сеете смуту в душах правоверных! Ну, для чего вы живете, клещи синие? К стене бы вас, да из автомата!..»

— Сторонишься ты людей в последние годы, мулла Фатах, — Гитинав сам изменил тему беседы. — Все больше замыкаешься в себя. Так ты потеряешь всех правоверных.

— Видит аллах, только тем и занимаюсь, что собираю их вокруг себя, — произнес мулла Фатах, а про себя подумал: «К чему ведет проклятый старик?»

— Я тоже вижу, не только аллах: забился ты в свою мечеть и совершаешь намаз. Праведное дело, веруешь — совершай! Разве кто против или запрещает? Но вот почему тебя сджамаатом нет, к примеру, на косовице?

— Где? — мулла Фатах чуть не захлебнулся.

— На косовице, говорю. Или слаб стал на ухо? А еще вдвое моложе меня, во внуки годишься. Да, на косовице. Взял бы в руки косу и косил вместе со всеми траву. Правоверных на благие дела направляй, это нужно, но и сам их совершать не забывай. А то на деле что получается? Говорить вы — мастера, спору нет, а на деле... — Гитинав щелкнул языком. — И эти

бездельниками окружил себя, мы ли не знаем, кто такие Нефес и Баят... Не красят они твое общество, мулла Фатах, нет.

Гитинав замолчал, видимо, устал, и опустил подбородок на худые, жилистые, иссушенные временем и солнцем руки, которые лежали на толстом ореховом посохе.

— Не нравятся мне сегодня твои речи, Гитинав, — заговорил мулла Фатах, — Не от сердца и разума твоего идущие, они могут разгневать всевышнего и правоверным дурной тон подают...

— Вот-вот, это верно, последнего ты и боишься. Ты боишься, а я до сих пор поражаюсь глупости человеческой. Там люди тропинки, какие тропинки — дороги проложили, — Гитинав поднял правую руку и ткнул указательным пальцем в небо. — Ездят и гуляют смелее, чем горцы у себя в горах, а здесь, на веками пропитанной нашим потом земле, мы боимся кары всевышнего. А испытал ли кто-нибудь ее на себе? Держим ураю, вынуждая страдать желудки. В рамазан не выходим на работу, приносим большой вред колхозу, который и кормит, и поит, и одевает нас. И вас тоже в придачу. Вот и приходится удивляться глупости человеческой, а чтобы не обидеть — несовершенству его ума, миро-воз-зре-ния. Слышал такое слово?

Мулла Фатах быстро окинул взглядом сидевших слева от него, справа, встретился глазами с Муртазой, мысленно прося — скажи проклятому старику, хоть что-нибудь скажи, но прочел только усмешку, и вдруг в душе у него вскипела ярость.

— Власти нет, — сквозь зубы процедил он.

— Как так власти нет? — простодушно проговорил Гитинав. — А сельский Совет, а партком, председатель колхоза, джамаат? Куда они делись?

— Твердой, железной власти нет, которая держала бы руку на горле, не дала лишнее пикнуть. А эта... эта разве власть, баловство одно.

— Та власть, о которой ты говоришь, которой насмотрелся и которая тебе, я вижу, по нраву, в тюрьмах только бывает да в лагерях со строгим режимом. Так я говорю, Муртаза, или ошибаюсь? Мне ведь в лагере сидеть не довелось.

— Так, уважаемый Гитинав, — после недолгой паузы проговорил Муртаза.

Мулла Фатах бросил взгляд на Муртазу и отрезвел: взгляд того был полон ненависти и презрения.

Долго сидели молча. Не потому, что кто-то победил или пытался победить в споре, а кто-то уступил. Нет. Просто устали сыпать друг другу слова, а многие слова были тяжелы, тяжелей валунов.

Высоко в небе раздался длинный, протяжный и тонкий

звук, похожий на звон шмеля, и растаял. Потом по его полю протянулся узкий белый шнур, который постепенно расширялся и пушился.

Гитинав поднял правую руку и ткнул указательным пальцем в небо, обращаясь к сидящим:

— Видали? Вот он, всемогущий, которому я поклоняюсь и для которого я с удовольствием зарезал бы сейчас своего барана.

Шепот одобрения пошел по скамейкам. И чтобы вернуть мулле Фатаху подобающие его сану и положению авторитет и уважение и не обидеть чувств правоверных, Гитинав участливо обратился к нему:

— Как здоровье сына и внука? Часто слышу, что сына очень уважают в школе. Молодец, для мужчины главное — утвердить себя в любимом деле: и тебе почет и гордость от того, что он уважаем. Дети... В них смысл нашей жизни, продолжение наших дел. Так ли я говорю? Так, так, поверь мне.

4

С тяжелым чувством пришел мулла Фатах домой. Из дальнейшего разговора с седобородыми он заключил, что джамаат села готовит большой и серьезный сход, который намерен осудить и осмеять тех, кто не вышел на работу и сорвал косовицу да еще без надобности забил скот. Но не сход беспокоил муллу Фатаха: и до этого рамазана они проводились, и после этого рамазана будут проводиться. Покуда людьми владеет страх перед таинством другого мира, неверие в свои силы, — а такие люди еще не перевелись, — рамазан почитать будут, значит, и служители аллаха будут в почете. Не сход беспокоил муллу Фатаха, а Муртаза. Мулле Фатаху не понравился взгляд его: в нем не было того стыдливого, робкого, безропотного послушания, какое он привык видеть вот уже около двадцати лет. Во взгляде Муртазы появились искорки решительности, что настораживало и пугало. Поведение Муртазы, состояние его души занимало муллу Фатаха больше, чем сотни сходов джамаата.

Муллу Фатах работал по дому, занимал внука, а мыслями был с Муртазой. Даже вкуса еды за ужином не почувствовал и на вопрос сына, чем он так расстроен, мулла Фатах только отмахнулся, не удостоив того ответом. Наконец поздно вечером он вышел в сарай, снял с жерди полтуши, обернул ее в мешковину и направился к соседу.

На стук откликнулся хозяин дома. Он отворил дверь веранды, пропустил гостя, выглянул в ночь, потом закрылся на ще-

колду и пошел в комнату.

— Заходи, не стой на пороге. Что тебя привело ко мне в столь поздний час?

Мулла Фатах огляделся, прикидывая, куда бы опустить ношу, но, так ничего и не найдя, бросил на пол веранды и последовал за хозяином.

— Неужели ты видишь в моем посещении какой-то умысел?

— О чем ты говоришь, какой умысел может быть в твоём приходе? Разве в первый раз ты у меня, да с гостинцем...

— И я о том же думаю, разве в первый раз?

Мулла Фатах почувствовал, что словесную перебранку Муртаза начал с умыслом, и понял, что надо смягчить разговор.

— Правоверные сделали богатое приношение служителям аллаха, да будут их желания услышаны всевышним, понанесли мяса, кур, яиц, сыра, муки... Праздник ведь, Муртаза, не запретишь им проявлять щедрость души. Вот решил и я тебе принести полтуши глупой скотины, которая ничего больше не умеет, как только блеять да щипать траву.

— Спасибо за приношения. Ими ты меня так откормил, что я совершенно забыл, каким был в молодые годы. Сколько мысленно ни настраиваюсь, не могу вспомнить, и все. Так я отупел и разжирел от твоих приношений.

Мулла Фатах поднял на Муртазу твердый, пронзительный взгляд.

— На что ты намекаешь?

— Наменяю? О чем ты, аллах с тобой, я говорю то, что есть. Разве не часты твои приношения? Очень часты. Двадцать лет... Разве я не раздобыл за прошедшие два десятка лет? Сам видишь, я перед тобой. Таким ли ты меня знал в те годы?

Мулла Фатах буравил Муртазу колючим взглядом.

— Что ты хочешь сказать мне?

— Тебе? Ничего. А впрочем... как мулле — ничего, я в тебя как в муллу и в твои бредовые проповеди не верю. Я ведь знаю, кто ты. — Муртаза усмехнулся, и его усмешка вызвала холодок под сердцем муллы Фатаха. — А как человека презираю. А себя жалею, — добавил он, чуть погодя.

— Почему себя не презираешь?

— Нет причины. Живу двадцать лет честно, работаю ничуть не хуже других...

— Даже лучше. Твоя физиономия улыбается с Доски почета, в газетах о тебе расписывают писаки и стараются побольше расписать, придумывая всякие небылицы — ведь больше заплатят, а никто не знает, кто ты есть на самом-то деле.

— И ты тоже. — Муртаза уперся взглядом в муллу Фатаха. — Верно, прошлое у нас одинаково. Но вот уже два десятка лет я тружусь честно в поте лица, как честно работали на этой земле отец мой и дед. А что делаешь ты? Прочитал один раз коран, толком, наверное, и не понял его, закрылся, как ширмой, именем аллаха и обманываешь честных людей. Как, впрочем, обманывал и отец твой...

— Прикуси язык, скотина безмозглая! — взревел мулла Фатах. — Заткни свою грязную глотку, иначе я удавлю тебя! Но осека под усмешкой Муртазы.

— Это ты умеешь. Помнишь плен у немцев, под Киевом... Была ночь, мы лежали на холодной земле, дрожа и согревая теплом друг друга, и ты мне открылся, что решил переметнуться к ним, тебе нравятся их порядки, их ритм жизни, их железная дисциплина, легко уговорил и меня... Я был слаб волей, таким остался и по сей день.

Муртаза замолчал, потом проглотил мешавший в горле ком и уже срывающимся от волнения голосом продолжал:

— Я никогда не забуду ту жестокую ночь. Ведь рядом с нами лежал еще один такой же изодранный, избитый, измотанный боец, и тоже из нашего села. Он слышал наш разговор, но молчал. Образумить нас не решался, боялся, идти с нами не хотел, не помышлял даже... Но для тебя он уже был враг, ты не хотел, чтоб кто-то знал об измене. И перекатившись на него, ты молча удавил его. А потом мы вместе оттащили труп и сбросили в сортир. Неужели ты никогда не вспоминал ту жуткую ночь?

— Таких ночей были тысячи, — жестко проговорил мулла Фатах.

— Ты прав, жуткие, они сменяли друг друга... Но вот когда мы уже сидели в лагере у своих, — за содеянное нас следовало бы расстрелять, а нам все же сохранили жизнь, надеясь, что в нас заговорит совесть человеческая — то там, в лагере, я уже ни одну ночь не спал здоровым сном. И снились мне не бои, не расстрелы, нет, а та жуткая ночь. Почему-то только та жуткая ночь, когда был удушен наш боец, товарищ, сельчанин, наконец. И понял я, что ты удавил бы и меня, если б я не ушел с тобой к ним.

Муртаза глубоко глотнул воздух.

— Неужели ты ни разу не вспомнил имя удушенного?

Муллу Фатах не ответил.

— Ведь ты двадцать лет видишь его старую мать, Фатах, которая приходит в мечеть помолиться за единственного сына, убитого на войне, убитого фашистами... Неужели ты спокойно

смотришь в ее иссохшее, как табачный лист, лицо, принимаешь из ее трясущихся рук приношения и не вспоминаешь ее сына Акбара, задушенного тобою.

— Ты пытаешься выдавить из меня слезу или намекаешь на большую цену за молчание? — прохрипел мулла Фатах.

— Мерзавцем ты был, Фатах, мерзавцем и остался.

Муртаза встал, принес из кухни самовар, заварной чайник, чашки, вазу с мелко наколотым сахаром, ореховую халву.

— Садись за стол, Фатах, как-никак ты в гостях у меня.

— Дома есть кто-нибудь?

— Что, удавить хочешь? — опять усмехнулся Муртаза, разливая чай.

— Не будь дураком.

— А ты уже умом оскудел, если спрашиваешь? Стал бы я говорить при домочадцах?

Мулла Фатах отхлебнул из чашки, причмокнул языком.

— Терпкий чай. Не отвык заваривать.

— Ешь халву, твое лакомство.

Несколько минут они молча пили чай, занятые каждый своими мыслями. Наконец Муртаза прервал молчание.

— Перестал бы ты, Фатах, оболванивать людей. Ведь они не простят тебе, если узнают, что ты обманывал их, что под этой оболочкой их зраг...

Мулла Фатах поднял голову, выпрямился на стуле:

— Обманывал, говоришь? Я донес до них учение аллаха, именем его успокаиваю мятущиеся души, вывожу на путь истины и добродетели заблудших... Как ты смеешь мне говорить такое?... Такое! Я избранный аллаха! Я...

— Кому ты это рассказываешь? — Муртаза в упор глядел на Фатаха. — Я ли не знаю, как ты сделался муллой? Представил так, будто в плену у немцев, видя зверства и страдания людей, дал обет служить аллаху...

— Да, знаешь, ты все знаешь! В вашем лагере я понял, что надо сделаться муллой, чтобы продолжать вредить этой власти, оболванивать людей. Ты знаешь, что сельчанам невдомек наше прошлое. И ты им не скажешь. А я буду гадить власти, жалить власть, наговаривать на власть. И ты будешь молчать! Молчать! Молчать!

Мулла Фатах вдруг резко, наотмашь ударил правой рукой по чашке, она взлетела в воздух, ударилась о самовар и раскололась, обрызгав обоих.

— Да, да, будешь до конца жизни молчать!

— Я не боюсь рассказать, Фатах, джамаату, какую подлость совершил. Самую низкую подлость на свете — предал Родину, народ, свое село, сельчан. Не боюсь, потому что мне нечего

терять, а свою вину я искупил перед народом и честно ем сегодня хлеб, окропленный моим потом. Я не боюсь рассказать, слышишь? Я не раз собирался это сделать, но беда моя в том, что я человек не сильной воли, — хмуро произнес Муртаза. — Но одному делу я положу с этого вечера конец: мне надоело быть псом с поджатым хвостом. Не нужны мне твои приношения. Вот где они у меня, — Муртаза приложил ребро ладони к горлу.

— Ха-ха-ха, — неожиданно истерично засмеялся мулла Фатах. — Ха-ха-ха, отказаться от лакомого куска! Видано ли такое?.. Ха-ха-ха...

Муртаза встал, вышел на веранду, отодвинул щеколду и, отворив дверь, крикнул в ночь:

— Шайтан!

На веранду поднялась огромная собака с обрубленным хвостом и подрезанными ушами. Муртаза подошел к брошенной муллой Фатахом ноше, сдернул с нее мешковину и подтолкнул мясо собаке:

— Ешь, Шайтан.

— Ты... что ты себе позволяешь? — глухо произнес мулла Фатах.

— Жалко стало? — Муртаза усмехнулся.

— Ты... Приношение аллаха... и ты бросаешь этой твари?

— Божьей твари, Фатах, божьей твари, какими, впрочем, являемся и мы с тобой.

Муллу Фатах встал, отшвырнув стул, пошел к выходу. Поравнявшись с собакой, он остановился, замахнулся было ногой, но услышав утробное грозное рычание и увидя большие, горящие, налитые кровью глаза, остыл.

— И так будет, Фатах, если ты все-таки решишься принести мне плату за молчание, — повторил Муртаза вслед спускавшемуся во двор мулле Фатаху.

5

С самого утра муллу Фатаха стали преследовать не испытанные до сих пор чувство отрешенности и предчувствие недоброго, которые как-то неестественно слились в один клубок, и может поэтому остро посасывало в области сердца. Мулла Фатах никогда не верил в сновидения, гадания, наговоры, но эти два непрошенных чувства, никогда не навещавших его раньше, заметно смутили его душу. Он исполнял свои дела, как и вчера, и позавчера, и все прошедшие здесь годы, но уже не легко, как было всегда, а с каким-то чувством тяжести, словно на спину возложили неясный груз и его никак нельзя бы-

ло увидеть, понюхать, пощупать... Да к тому же еще и этот болван Нефес, который подобострастно склонился к нему и, расчлняя слова, проговорил:

— Слышали, мулла Фатах, вечером джамаат собирается на сход...

— Пошел вон, — произнес мулла Фатах, потом встретился с удивленно-усмевающимся взглядом Нефеса и заставил себя смягчиться: — Ладно... И без тебя знаю.

— Как бы там не выплыло мое имя, — продолжал Нефес.

«Дьявол тебя привел сюда, когда я ем», — подумал мулла Фатах, бросив в сердцах в блюдо недоеденную курицу и медленно дожевывая оторванное белое мясо.

— Ведь многие знают, кто ходил по дворам... Да и забивал скот я. А если выплывет мое имя, не забудут и вайше. Аллах, ваш аллах говорил моими устами.

Мулла Фатах чуть не подавился.

«Ну и подлец! — подумал он. — Выкормил змею. Будь их время, не пожалел бы на такого подлеца всю обойму. Что ни говори, а дальновидные люди были они, подонков близко к себе не подпускали — держали на расстоянии. Подумать только, как недвусмысленно он мне все преподносит. Ну и подлец!»

Мулла Фатах тщательно вытер полотенцем пальцы, налил в пиалу холодный айран и, отпивая глоточками, с деланным безразличием и спокойствием проговорил:

— Выплывет твое имя — так ответишь перед властью, перед законом.

Глаза Нефеса непонимающе забегали.

— Как это я отвечу? Я что, по своей воле бегал по дворам, по своей воле отделял головы от туловищ коровам? Я что-то вас плохо понимаю...

— А ты внимательно слушай и постарайся понять своей глупой головой. Видели тебя, только тебя, тебе и отвечать. Но если возьмутся судить, то сделают это по всей строгости закона. Поэтому подожди, выслушай мою мысль, а потом мели языком: в твоих интересах так, чтобы джамаат не пошел на сход.

— Хе-хе, — истерично засмеялся Нефес и поперхнулся. — Видано ли, чтобы уговорить тысячу дворов...

— И не надо тысячу. Хватит и тех ста двадцати.

— Понять-то понял. Значит, опять идти по дворам? А если не поддадутся? — Нефес глянул на муллу Фатаха оценивающе, прищулив глаза. — Отвечать придется вдвойне. Так выходит, а? И за попытку сорвать сход?

— Выходит, так. О аллах, — мулла Фатах возвел руки кверху, укоряя себя в том, почему он сразу не прибег к имени аллаха и дал подлецу вести столь ненужный разговор. — О аллах! Он все видит, все слышит и все знает. Он не даст обидеть своего покорного слугу и раба, не даст сойти с пути служения ему. Но если раб осквернит имя аллаха, предав его, небесная кара постигнет незамедлительно, а на том свете, который ждет всех нас и который и есть наш постоянный дом, быть ему в аду, гореть на вечном огне и не сгореть во веки веков и мукам его не быть конца...

При последних словах муллы Фатаха Нефес поежился, взял голову в плечи и вышел.

«По-моему, прислушался, — сказал про себя мулла Фатах. — Нет, испугался. А в словах его есть доля правды: если вытащат его на суд джамаата, он обязательно упомянет мое имя. Такие люди продают не то что за тридцать серебряников, а и за полсигареты, полхинкала. А если упомянет мое имя, — неизвестно еще, как упомянет, — правоверные усомнятся в действиях аллаха да и в самом аллахе, а это... лишает меня хлеба насущного... и окопа, из которого я веду бой. Да какого там окопа — дзота».

Вот сейчас, именно сейчас, когда в его голове родилась эта точная мысль, в сердце вкрался страх. Но не тот страх, который делает человека маленьким, беспомощным, жалким, безвольным, а тот, который толкает на действие. Мулла Фатах встал и быстро зашагал из угла в угол по мягким коврам. Но удивительное дело, теплые, ворсистые ковры ластились к ногам как кошки, снимая нервное напряжение, и вскоре он стал спокойно рассказывать по комнате и успокаивать себя. Подумаешь, сход, не он первый, не он и последний. Отвернется один правоверный, одурачу другого легковверного. Главное — мечеть у меня, мечеть никто не отберет, не имеет права, закона такого нет. А мечеть мне нужна, пока я жив, мечеть мне нужна.

Успокоив себя, мулла Фатах лег на подушки и закрыл веки. Но на душе осталась тяжесть. И он понял, что чувство определенности и предчувствие недоброго не покинули его.

Долго пролежал мулла Фатах на подушках. Наконец он встал, прошелся по комнате, задумался: «Справился ли с заданием Нефес? А если не пошел, струсил? В таком случае Нефес — сломанное колесо в моей телеге. И только. Придется заменить другим. Но неужели подлец продаст, струсит?»

Мулла Фатах обулся и вышел на улицу. Был безлунный вечер. Он прислушался к шорохам безлюдной улицы, оглянулся

по сторонам и пошел осторожно, почти касаясь плечами и головой густых ветвей деревьев.

Он вышел к клубу со стороны оврага, крадучись, словно из окопа. И быстро переметнувшись к окну, прижался к темной стене. Ему хорошо была видна сцена и Гитинав, коренастый, тяжелый, опиравшийся двумя руками на свой посох.

«Разглагольствует, старое трепло, огородное чучело, — сказал про себя мулла Фатах. — О чем он трепется? Надо бы послушать...» Легонько, почти незаметно даже для себя, он приоткрыл створку окна, и тут же голос Гитинава ударил ему в лицо:

— Я не хочу говорить сейчас, что дает нам наша власть. Смешно было бы об этом говорить. Но одним словом все-таки скажу: все, что вы видите вокруг, дала нам власть. Живите, радуйтесь, трудитесь! Что еще надо? А вот отдельные дурни, живя на широкую ногу, как прежде и кулаки не жили, нет-нет и думают, что все это ниспослано аллахом. И что же получается? А получается вот как: двумя руками они держатся за колхоз, а одним глазом косят в сторону мечети. Не дай аллах отвернуться от нее... Самой глупой скотиной считаем барана. Куда рогатый вожак-козел поведет отару, туда она и последует. В огонь, так в огонь. В воду, так в воду.

По залу прошел ропот, послышался смешок.

— Вы, конечно, меня простите, что я вас сравнил с баранами... С высоты моих лет я яснее, лучше вижу, кто кому уподобился. Как вы можете доверять ему, этому прохвосту, бездельнику и недоучке, который неясно как стал муллой? Или вы забыли, кто был Фатах до войны? Проучился шесть классов, наловчившись на спекуляции. А отец его? О, этот был торгош из торгошей! Месяц не прожил после того дня, как его дом и состояние забрала новая власть. Вы думаете, в молитвах, которые Фатах читает вам, что-нибудь сам понимает? Хе-хе-хе... Вызубрил, как школьник суру, а вам уже кажется, что он ученый человек, слуга аллаха, х-хе-хе-хе-хе. Я-то знаю, кто такой Фатах.

«Что ты знаешь? — спросил про себя мулла Фатах. — Развалина старая, что ты... А может, знает? Нет, не должен... Откуда ему знать? Муртаза... может, Муртаза рассказал? Не верю, не должен...»

— А вы ему еще помогли мечеть отстроить. Она просторней и дороже вашего клуба. А какими коврами застланы полы, как красиво высится над нами всеми минарет, с которого орет бездельник-кликуша. Хе-хе-хе! Второе столетие живу на этой земле, многое перевидал, а сейчас мне интересно телеви-

зор посмотреть цветной, по телефону поговорить, приемник маленький, транзисторный послушать. Интересно ведь, все ново, интересно вокруг, а мой сосед, да вы все знаете его. телевизор выключает, бежит в мечеть новости узнать. А какие новости он может узнать для своей души у Фатаха? Хе-хе-хе, я-то знаю, кто такой Фатах... И вот что я думаю, дорогие мои сельчане. Земля, на которой сегодня расположилось наше большое село, выпитала много пота и крови. И жить на ней надо достойно и честно, как подобает горцам. А те сто двадцать дворов, которые не вышли на работу, я уже не говорю о том, что они забили скотину, те сто двадцать дворов опозорили село, нас с вами перед честными горцами-колхозниками. И потому предлагаю: не могут они жить на этой земле, — Гитинав стукнул посохом об пол. — Выселить их из села!

В клубе застыла минутная тишина, затем раздались выкрики: «Верно говорит Гитинав», «Правильно», — аплодисменты, и возгласы недоумения и отчаяния.

— Кто хочет поговорить с джамаатом?

Еле передвигая ноги, на сцену поднялась иссохшая старушка. Она долго молчала, потом раздался ее слабый ломкий голосок. Люди в клубе притихли.

— Я не думала выходить сюда, перед вами, дорогие мои сельчане. Разве для меня и почтенного Гитинава этот клуб? Нет, конечно. И то, что наше село опозорено, тоже верно. Когда-нибудь кто-нибудь из вас слышал, чтобы на косовицу не вышло сто двадцать дворов?! Никогда. Не двенадцать, не двадцать — сто двадцать... Прав почтенный Гитинав, прав, не нравится наша жизнь — уходите. О другом я хотела сказать, о мулле Фатахе. Почтенный Гитинав его тут немного... Он себе мог позволить, он Гитинав. И все же... Двадцать лет он лечит мои раны: сорок лет не видеть и не слышать Акбара, и двадцать лет мулла Фатах успокаивает меня, как родную мать. Нет моего сына на свете, а сяду рядом с муллой Фатахом — и кажется мне, говорю с Акбаром. Не надо оскорблять хорошего человека...

Не успела со сцены сойти старушка, как со стула встал Муртаза. Встал резко и быстро пошел, боясь остановиться. Хмурый, глядя вниз под ноги, он остановился у стола, опустил сжатую в кулак руку на сукно и вымолвил:

— Я не собирался выступать, но старая Патима разбредила мне душу...

Мулла Фатах похолодел. «Молчать! — взревел он про себя, глядя на Муртазу. — Молчать! Не смей говорить! Молчи, столько лет мы прожили спокойно, скрывая свою тайну. Молчи, я прошу тебя, не говори, умоляю; я опускаюсь перед то-

бой на колени, ты видишь, как я унижаюсь, обнимая твои ноги, прижимаясь к ним лбом, лицом. Молчи! Замри и молчи, не смей говорить, ты не должен говорить, не должен. Нет! Молчать! Я приказываю тебе, слышишь, молчать!..»

Внезапно погас свет. Спасительная мысль мелькнула в голове муллы Фатаха, но никто не шелохнулся в темном зале. Занесли две керосиновые лампы и поставили на стол. Желтые языки ламп высветили лица председателя сельсовета, председателя колхоза и секретаря парткома. На стыке слабого света и тьмы стояла грузная мрачная фигура Муртазы.

— Почтенный Гитинав назвал Фатаха прохвостом, бездельником и недоучкой. Старая Патима — хорошим человеком. И тот и другой неправы.

«Молчать, подонок! — отчаянно крикнул в душе мулла Фатах. — Молчать!..»

— Они ошибаются, — повторил Муртаза. — Фатах предатель... изменник родины...

И тут мулла Фатах ощутил, как с него вязкой массой сползает тяжесть. И другое он увидел, трезво и спокойно: что стоит, широко расставив ноги и, держа сжатые кулаки у груди, и если бы в его руках лежал автомат, он выпустил бы в эти лица весь диск...

Муллу Фатах повернулся и так же держа кулаки у груди, пошел в мечеть.

Всю ночь он пролежал на подушках, глядя открытыми глазами в потолок и ничего не видя. Наконец перед первыми петухами он поднялся и направился домой. Он совершенно не думал сейчас о том, как объяснится с сыном, он боялся только одного — потерять маленького внука.

В доме было темно. «Проклятые болтуны, — прохрипел мулла Фатах, — только зубы можете скалить да хвалиться тем, чего достигли. А чего вы достигли? Срамота... Они всего этого достигли пятьдесят лет назад...» Мулла Фатах задел головой за что-то твердое, на пол посыпались тазы. Он замер, прислушался. В комнате было тихо. Мулла Фатах ощупью нашел керосиновую лампу, зажег. Слабый язычок огня, подрагивая, осветил веранду. Вытянув вперед длинную руку с лампой, он вошел в комнату, бросил взгляд на диван: внука не было. Он оглядел стол, потом подошел к книжной полке. Она была пуста: ни учебников, ни тетрадей... Страшная догадка заставила его остановиться и несколько минут совершенно бездумно смотреть на пустую полку. Потом он толкнул ногой дверь и вошел в комнату сына. И здесь стол был чист. Мулла Фатах выдвинул все ящики, потом, сообразив, открыл платяной шкаф: он был пуст.

Мулла Фатах перевел взгляд на лампу, долго смотрел на нервное подрагивание пламени, пока в глазах не закололо, размахнувшись, сильно бросил лампу в пустой, словно разинувший пасть платяной шкаф, повернулся под звон разбитого стекла и, спотыкаясь, вышел из дома. Он пошел по сельской улице, безучастный ко всему, к людям и времени, к светлеющему небу и чистому воздуху, а во дворах уже горланили третьи петухи.

ЧЕРНЫЙ ДЕНЬ

1

Широко зевая и одновременно протирая ладонью воспаленные глаза, он стянул с себя прохудившийся плед, встал с жесткого дивана. Несколько раз лениво развел руками, прислушиваясь к скрипу половых досок, надел нехотя потрепанную рабочую спецовку и вышел из бревенчатого домика.

Холодный воздух заставил его вобрать голову в плечи и засунуть руки в карманы брюк.

Было раннее утро. Над головой стыло голубое небо. Ноздри колот острый запах хвои и звериного духа.

Он подошел к крану, отпил несколько глотков воды ощущая, как она остудила рот и потекла по пищеводу, потом вернулся в домик. Пройдя в угол, он взял грабли, лопату и метлу, подхватив одной рукой ведро, наполнил его из крана водой и поднялся по аллее.

— Гуд морнинг, Элефант, — сказал он громко, входя в вольер к слону. Тот тяжело и грузно двинулся к нему, вытянул хобот в надежде полакомиться с утра, принялся принюхиваться к карманам, но человек не обращал на него внимания. Тогда слон поднял заднюю ногу и замер на трех, потом оторвал от земли другую. Но человек опять не повернулся к нему. Слон утробно заворчал и поплелся в дальний угол.

Ему нечем было угостить слона.

Он тщательно поскреб и прочесал граблями землю во владении слона, обрызгал водой, потом присел на холодную, мокрую от росы траву, опустив подбородок на колени. Серая глыба двинулась к нему, тяжелый, жесткий и шершавый хобот осторожно прошелся по плечам, спине, голове.

Вдруг вспомнив, он опустил руку в левый карман куртки, вытащил несколько измятых конфет и протянул слону. Тот принял их, скрутил свой хобот в кольцо и благодарно низко опустил голову.

Засиживаться времени не было. Он встал, подхватил грабли, лопату, метлу и ведро и пошел, бросив через плечо:

— Гуд бай, Элефант.

Слон проводил его трубным голосом.

Он подошел к другому вольеру, где по каменным террасам в такую рань уже прыгало многочисленное семейство шимпанзе. Эти неугомонные существа не давали ему работать. Встретив его настороженно и боязливо, через несколько минут они уже мельтешили перед глазами, прыгали на спину, плечи, повисали на граблях. И кричали так истошно и смешно, словно кто-то покушался на их дом и пищу.

Потом он вошел к семейству кенгуру, которое разбежалось от него в разные стороны.

— Привет, Раймондо,— услышал он громкий сильный голос.

Рабочий зоопарка Паттерсон, громадный Пат, широким размашистым шагом направлялся к бревенчатому домику.

— Привет, Пат.

— Ты сегодня опять здесь ночевал, Раймондо?

— Вчера поздно закончил работу, Пат. Не хотелось уже идти домой.

— А мы неплохо развлеклись вечером.

— Развлекусь часок-другой днем. Шеф отпустит, я договорился.

— Не жалеешь себя, Раймондо...

И Паттерсон пошел дальше.

— Не жалею, — усмехнулся Раймондо. — Для кого и чего жалеть мне себя, для кого беречь?.. Все полетело в тартарары в тот проклятый день...

Раймондо снова поднял с земли грабли, лопату, метлу и ведро и неторопливо пошел по аллее. Подойдя к гранитному парапету над крутым обрывом, он уперся в него коленями и глянул вниз.

Перед ним лежал Стокгольм.

Над тяжелыми, монолитными домами, изящной городской ратушей, над узким и длинным, как пузырь рыбы, озером, над голубой гаванью вставало розовое утро.

Что-то невольно приковало его внимание, он бросил взгляд на гавань и увидел плавно скользящий белоснежный теплоход. Внезапно гулко заколотилось сердце. Перехватило дыхание. На флагштоке трепетал советский флаг.

2

Было около одиннадцати часов, когда Раймондо спустился в город, пересек мост, соединяющий остров Сёдермальм с ост-

ровом Стаден, вышел к Королевскому дворцу и, наконец, на Шкиперскую набережную. Огромное четырехпалубное судно, как айсберг, возвышалось над причалом, по набережной небольшими группами прохаживались туристы, а вездесущие репортеры усердно фотографировали гостей и теплоход.

Раймондо присел на колено лупоглазого чудища и молча стал глядеть на приезжих, прислушиваясь к их разговорам. Но вскоре на набережную въехали восемь комфортабельных «Вольво», туристы весело заспешили к автобусам, машины вырулили на шоссе, а он остался сидеть у воды, тупо глядя на обезлюдевший теплоход. Он долго не сводил глаз с вахтенного матроса, стоявшего на верхней площадке трапа, потом в нем вспыхнуло страстное желание подойти к нему, просто поговорить по-русски. Как ему этого хотелось! Но холодок, трусливо возникший в груди, отрезвлял его. И он продолжал сидеть, безмолвно глядя на высившуюся перед ним частицу России.

Будь проклят тот черный день, сказал он про себя и большие глаза его затуманились слезой. Он опустил лицо в ладони и беззвучно застонал.

С залива тянуло свежестью, солнце приятно пригревало, но Раймондо не чувствовал, не ощущал его ласкового прикосновения. В эти минуты он был далек от Стокгольма, от порта, от теплохода...

3

Ему удалось вырваться из ада. Но какой ценой! Если вспомнить, волосы дыбом встанут. Если взвесить, чаша содеянного зла перевесит чашу добра.

И все-таки цена была мизерной по сравнению с тем, что ему довелось увидеть.

Он шел на все, чтобы накопить деньги для выезда: ухаживал за собаками на вилле фабриканта, работал в качестве сиделки его престарелой матери, которая не могла ни пить, ни есть, и пища вываливалась из рта, ежеминутно приходилось подсовывать под нее судно. Потом ходил по кварталам бедноты и искал девушек для публичного дома: за эту работу ему платили неплохо. Чего только он не претерпел на пресловутой «земле обетованной».

Как-то его прижало к стене такси, въехавшее прямо на тротуар. Выскочивший из него водитель приставил к животу финку и, задыхаясь, прошептал:

— Если ты к обеду не приведешь домой Эстер, я вечером выпущу из тебя кишки.

За какой-то миг он весь покрылся испариной: ведь в кармане у него лежал спасительный билет на теплоход, стоивший ему многих месяцев нечеловеческой работы. К обеду он привел Эстер домой, держа за руку, выкрав ее у новой хозяйки, а наутро с тощим портфелем в руке стоял на палубе судна и, не скрывая слез, навеки прощался со страной, которая разбила ему жизнь и исковеркала судьбу. Прощаясь, осыпал ее проклятиями.

Наверное и его имя проклято многими семьями, думал он, но он совершал грязную работу, чтобы выжить, отвергая только один способ — подлость. И убеждал себя, что подлости не совершал...

Марсель встретил его жарой, толпами людей, потоком автомобилей. Вокруг были незнакомые люди, незнакомая жизнь, незнакомый язык. И надолго ли хватит тех двухсот долларов, которые упрятаны в прорези широкого кожаного ремня? Раймондо некоторое время простоял в порту, глядя на спящие в гавани катера и небольшие суденышки, потом медленно, бесцельно пошел по улице.

Он не помнил, сколько времени так шел, поняв интуитивно, что обращаются к нему. Полный мужчина в белом халате стоял у зарешеченного проема двери, скрестив руки на груди. Только сейчас Раймондо почувствовал вкусный запах, исходящий из-за решеток.

Мужчина снова что-то спросил его по-французски. Раймондо виновато улыбнулся.

— Я не понимаю вас, — сказал он по-английски.

Лицо мужчины нахмурилось и он на ломаном английском спросил:

— Ты не француз?

— Нет.

Подняв голову, Раймондо увидел, что стоит у отеля «Европа».

— Я думал, ты француз, — сказал с явным сожалением мужчина. — Может, алжирец?

— Нет.

— Похож на нас, южан, очень похож. Откуда же ты? А, догадываюсь, испанец...

Что-то надо было ответить. Но что? Сказать правду? Как ее воспримут? А впрочем, он может и не отвечать и продолжить свой путь. Но Раймондо вдруг машинально сказал:

— Испанец.

Мужчина оживился:

— Как звать?

Роман, — чуть не сорвалось с губ, но он спохватился и произнес:

— Раймондо.

— Раймондо? Отлично, Раймондо... Хочу предложить тебе работу. Вчера скончалась посудомойка, тридцать шесть лет прослужила здесь. Без нее как без рук.

Посудомойкой... — усмехнулся Раймондо, и тут же сказал себе: соглашайся, кто знает, подвернется ли завтра какая работа.

Мужчина усмехнулся:

— Не ломайся, парень. Завтра и эту не найдешь. Пойдем-ка, покажу, что тебе надо делать.

Он свернул в переулок и пошел тяжелой, вперевалочку, походкой. Раймондо последовал за ним.

Через некоторое время в халатике с чужого плеча он мыл посуду, а до слуха доносились разговоры и веселый смех женщин, и красивое слово, врезавшееся в сердце, как нож:

— Эспаньол...

Мимо проходили девушки, задевая его локтем или упругим бедром, женщины любопытно глядели, как он споро справлялся с грязной посудой и восклицали: «О ля-ля», завершая восклицание длинной тирадой, которую он не понимал... Наконец, выкроив свободную минуту, он вышел во дворик, присел на опрокинутый ящик и закрыл глаза. «Что меня сюда гнало, — спросил он себя, — и почему именно сюда, в Марсель, а не поближе... Тьфу ты, о чем я думаю. Былого не вернешь, и нечего травить душу».

— Утомился, Раймондо?

Рядом стоял знакомый мужчина в белом халате. Благодарно, усмехнулся Раймондо, и вслух сказал:

— Нет, я привык работать. Не спросил, кем вы являетесь здесь...

— Не хозяин. — Тот засмеялся. — Нет, Раймондо, я повар. Варю, пеку, жарю уже более тридцати лет. А тебя я сразу заметил. Вижу, отрешенный от мира идет человек, надо помочь. Да и нам нужны рабочие руки. А ты быстро освоился... Очень быстро.

— Я много профессий освоил за короткое время, — сказал задумчиво Раймондо.

— Приходится. Все приходится в жизни. Тебе есть где жить? Раймондо растерялся.

— Как-то не подумал еще...

— Наша повариха Жанин сдает комнатку и берет недорого. Так что тебе повезло, парень.

И, похлопав Раймондо по плечу большой пухлой рукой, он пошел на кухню.

Было около четырех часов, когда добродушный повар окликнул его:

— Раймондо, оставь посуду, иди обедать.

Раймондо вымыл руки, снял халат, причесался и прошел в небольшой зал. Ресторан в это время закрывался на перерыв и обслуживающий персонал садился за стол, выкладывая каждый свой пакет. Повар протянул ему бутерброд, налил стакан вина из бутылки, подмигнул дружески:

— Ешь, не стесняйся. Завтра ты меня угостишь.

Раймондо ловил на себе косые взгляды, одни были насмешливые, другие жалостливые, третьи ехидные. Конечно, они правы, я для них чужак, сказал он про себя, глядя на бутерброд, и я их понимаю и не обижаюсь.

— Ешь, — повторил повар, — времени у нас немного...

А потом снова был стук посуды, шум воды, смех девушек, и только в двенадцатом часу он вышел на улицу вместе с Жанни.

Опускалась полночь. Жизнь города замирала. Жанни шла быстро и говорила, говорила о чем-то, а он не понимал, она меняла интонации голоса, жестикулировала, пытаясь что-то ему втолковать, имитировала удары кулаками, ножом, драку и поминутно показывала на тесные темные улочки. И, наконец, Раймондо понял, скорее догадался, что ночью ходить здесь опасно.

Недолго прожил в Марселе Раймондо. Чуть больше двух месяцев. Отъезд его ускорили два обстоятельства. Какое из них было значительнее, он и по сей день не знает. Тоска? Страшная, безысходная? Или та драка в полночь? Когда его окружила дюжина подростков и стала избивать со словами: «выгребай карманы, подлый алжирец»... Он уже понимал французский язык, а драться научился на «земле обетованной», но их была дюжина, и они свалили его, насели, обчистили карманы и удрали. Хорошо, что не сняли пояс, думал про себя Раймондо, возвращаясь домой, и не воткнули нож. Ну надо же! Не хватало еще, чтобы из-за денег пырнули ножом.

Поздно ночью он подошел к старинному каменному дому, толкнул грубо сколоченную калитку и вошел в темень. На него дохнуло сыростью, мимо уха пролетела с писком летучая мышь. Он нащупал на стене выключатель, щелкнул им, но свет не загорелся, и он осторожно стал подниматься по каменной винтовой лестнице. Один раз ударился о чей-то рукоюйник, другой раз зацепился за ящик. Наконец, добравшись до своей

комнаты на третьем этаже, отпер тяжелую дверь и включил свет. Это была бывшая келья.

Раймондо снял рубашку, вышел на узкую площадку и долго плескался из рукомойника. Металлический язычок громко тьякал на весь дом и сноп света освещал лестничный марш. Вытершись грубым полотенцем, он разулся, вымыл ноги, потом прошел в комнату, затворил дверь, лег на железную кровать и устался в потолок.

Так долго жить нельзя, надо на что-то решиться, сказал он себе и закрыл глаза.

4

Утром Раймондо был уже на автостраде Марсель-Тулуза. Шел он налегке: в левой руке держал портфель, правой — хлястик перекинутого через плечо пиджака. Был июнь.

Он надеялся, что кто-нибудь подберет его, но мимо со свистом проносились легковые автомобили различных марок и цветов... Раймондо прошел километров десять, когда рядом притормозила машина, открылась дверца и женский голос окликнул:

— Мсье, садитесь.

— Большое вам спасибо, мадам, — сказал он по-английски, опускаясь на переднее сиденье.

— О, ты не француз? Откуда идешь?

— Испанец, — коротко сказал Раймондо.

— О, испанец. Как же тебя звать?

— Раймондо.

— Меня Франсуаза.

Она длинно тараторила, глядя на дорогу, а Раймондо искоса поглядывал на нее. Женщине было лет тридцать пять-сорок. Одета в вельветовую куртку вишневого цвета и такую же юбку, она уверенно сидела за рулем. Черные, как смоль, волосы спадали на плечи. На матовом гладком лице выделялись большие серые глаза и накрашенные в кровавый цвет чувственные губы. Стрелка спидометра вздрагивала на отметке 110.

Раймондо почувствовал слабость, стала охватывать дремота. Он вздрогнул и открыл глаза... Франсуаза хлопала его рукой по колену.

— Эй, Раймондо, проснись. Я взяла тебя в машину, чтоб самой не уснуть, а ты навеваешь на меня сон.

Она включила приемник.

— Что же ты ушел из Испании?

— Путешествую.

— А почему изучал английский? Язык соседей не по душе? — Она бросила на него лукавый взгляд.

— Так уж получилось, — проговорил Раймондо.

По обе стороны дороги на холмы избегали виноградники. Раймондо смотрел на них с удивлением. Он привык видеть огромные плантации, простирающиеся до горизонта, а здесь были небольшие площади, окруженные лесом.

— Эй, Раймондо, поговори со мной, — сказала Франсуаза, прервав его мысли...

— О чем, мадемуазель?

Она посмотрела на Раймондо и вдруг залиvisto засмеялась.

— Ну и чудак, мужчина не знает, о чем говорить с женщиной. Чудак. В таком случае, возьми на заднем сиденье бутерброды с ветчиной и вино и покорми меня. Да и сам поешь.

Он кормил ее забавно: подносил ко рту бутерброд, она откусывала, аппетитно жевала, отпивала вино прямо из горлышка бутылки и снова откусывала бутерброд.

— А теперь чашку кофе. Он в термосе.

Везет мне на людей, черт побери, — подумал Раймондо, — в одном только жестоко не повезло. В самом нужном. А в остальном везет, словно в рубашке родился.

В сумерках они въехали в Тулузу.

Франсуаза остановила автомобиль у отеля «Виктория», который расположился у железнодорожного вокзала. Раймондо видел сквозь стеклянную дверь, как она подошла к портю. И уже через минуту вышла с ключом в руке.

— Раймондо, ты не хочешь отдохнуть? Я очень утомилась.

Они поднялись на третий этаж. Номер был небольшой, но очень уютный. Голубые обои успокаивали глаз, ворсистый ковер заглушал шаги.

— Закажи ужин, я приму ванну.

— Но... я не знаю, что заказать, — сказал Раймондо.

— Закажи петуха в вине, салаты, шартрез и обязательно кофе.

Франсуаза скинула с себя одежду и пошла в ванную. Раймондо высоко оценил ее фигуру: она сохранилась прекрасно.

Раймондо вызвал официантку, которая оказалась очень молодой красивой брюнеткой, сделал заказ и опустился в кресло. Под шум воды и ласковое бормотанье, доносившиеся из ванной, он задремал. Проснулся от неясного ощущения: словно перед ним возникла из небытия Венера. Стояла Франсуаза, бесстыдно обнаженная и красивая.

— Иди прими ванну, уже поздно.

Он лежал в теплой воде и чувствовал, как приятно отдыхают мышцы, потом услышал стук в дверь и понял, что принесли

ужин. Когда он вошел в комнату, Франсуаза лежала на широкой кровати. Он прилег рядом.

Потом они лежали и смотрели в потолок.

— Мне лень ужинать, — сказала Франсуаза.

— Мне тоже.

— Послушай-ка, Раймондо, а куда ты вообще едешь? — спросила вдруг она, словно спохватившись. — В течение всего пути я не удосужилась спросить тебя.

— А куда я еду? — тоже удивленно спросил себя Раймондо. И вдруг оба засмеялись.

— Конечно, в Париж. — сказала Франсуаза. — Из провинции все едут в столицу. А ты случайно не талант?

— Нет. А что?

— Пропадешь. Один из французских классиков сказал: таланты рождаются в провинции и погибают в столице.

Я давно погиб, сказал про себя Раймондо, погиб для родных, для друзей, для Родины, для самого себя. Что я натворил, боже, что я натворил... Почему я дал обмануть себя этому выжившему из ума деду, зазвавшему меня в проклятый Израиль. Чего мне не хватало дома? Все было: и работа по душе, и любимая девушка... И друзья... Так нет, за границу захотелось дураку. Оставил могилу отца, погибшего в боях за Киев, и приехал в страну подонков, где и деда-то не оказалось в живых. Зазвали, подло обманули... Где был мой разум, где была моя совесть, почему она спала? Я все потерял. Я забываю свое имя, свой язык. Я не живу, я просто борюсь за существование.

На глаза навернулись слезы и стекли к вискам. Он смежил веки и долго лежал так, пока не уснул.

Ночью Франсуаза несколько раз будила его.

Утром их подняли солнечные лучи. Франсуаза первой вошла в ванную и уже оттуда крикнула:

— Раймондо, закажи завтрак.

После завтрака они прошлись по безлюдным и чистым улочкам, наслаждаясь тишиной и прохладой, потом сели в машину и тронулись в путь. В Париж.

5

В Париж они въехали на исходе дня. Город утопал в лимонном цвете заката. На переполненной толпами людей улице Франсуаза остановила машину и направилась в кафе.

Раймондо глядел на парижан и неясное, смутное чувство тревоги овладевало им. Кому здесь я нужен? — спросил он себя и усмехнулся. Жить в Париже, надеяться на работу — пустое дело. Вон сколько их, охотников до денег. Они — корни Пари-

жа, а я... я как листок с дерева. Гонит его ветер по свету, пока не свернется он где-нибудь и не превратится в перегной. Да и не всякий листок годится для перегноя... Он перевел взгляд на заднее сиденье. В углу лежала сумка. Неясная сила заставила его протянуть руку и открыть сумку. Он не поверил себе, закрыл глаза и снова раскрыл их. Нет, это был не сон. В сумке лежала пачка стофранковых ассигнаций. Он осторожно пощупал их пальцами, потом машинально вытащил шесть ассигнаций, сложил их аккуратно и засунул в прорезь ремня. Туда, где хранились двести долларов. Потом закрыл сумку и как-то спокойно, отрешенно подумал: вот я совершил еще одну подлость. А впрочем, она не тяжелее, чем все остальные...

Из кафе вышла Франсуаза. Она устало села за руль, завела машину.

— Муж дома. Я выходила позвонить. А ты и не догадался?

— Нет, — откровенно признался Раймондо.

— Куда же ты сейчас, тебе и остановиться негде.

— А отели на что?

— Верно, Раймондо. Но выбери отель поскромней. И позвони мне обязательно. Понял? Обязательно. Я положила визитку тебе в пиджак.

У вокзала Сен-Лазар Франсуаза его высадила, подставив щеку для поцелуя. Когда зеленый «Мерседес» скрылся из виду, Раймондо накинул на плечи пиджак и с портфелем в руке пошел мимо вокзала. Ему было все равно куда идти, у него в этом городе не было никакой цели. Над домами, над гранитными мостовыми застыла жара. Дышалось тяжело, в воздухе висел смрад выхлопных газов. Проблуждав несколько часов, Раймондо зашел в сквер, сел на скамейку и задремал.

В полудремотном состоянии Раймондо находился всю ночь: открыв глаза, он оглядывался вокруг и снова закрывал слипавшиеся веки. На рассвете, разбитый, он встал и медленно побрел по улочке в гору и спустя полчаса вышел к белокаменному храму. Отсюда, с холма, открывался Париж: город лежал внизу как на ладони, укрытый легкой сизой дымкой. Раймондо сел на гранитный парапет и долго глядел, как дымка становилась сиреневой, потом розовой, а затем и вовсе исчезла, растаяла, и золото солнца омыло синее небо Парижа.

— Мсье художник?

Раймондо оглянулся. Нестарый еще мужчина шаркал метлой по асфальту.

— Что это за храм? — спросил Раймондо, не ответив на вопрос.

Мужчина удивленно уставился на него. Не понимает по-английски, решил Раймондо и попытался по-французски.

— Как имя храму?

— А... Сакре-Кёр. А ты что, не француз?

— Нет.

— А, понятно.

— Телефон, телефон где здесь? — неожиданно для себя спросил Раймондо.

— За углом. — Мужчина махнул в сторону рукой.

Раймондо опустил руку в карман пиджака и вытащил визитную карточку Франсуазы и пять стофранковых ассигнаций. Почему пять и почему в кармане, ведь он брал шесть... Он просунул пальцы в прорезь ремня, достал доллары и франки, пересчитал их и, вздохнув, сказал: какая же я скотина. Франсуаза положила мне незаметно, пощадив мое самолюбие, пятьсот франков, а я стащил у нее... Какая же я скотина. Потом сложил аккуратно все ассигнации и засунул их в тайник.

Звонить Франсуазе Раймондо уже не осмелился. Он обошел Сакре-Кёр, последовал по узкой улочке и вскоре поравнялся с идущей впереди грузовой, похожей на черепаху, машиной. Она еле ползла. Крепкий плечистый негр в рабочей спецовке сновал между машиной и воротами как челнок: хватал с земли полиэтиленовые мешки с мусором, бросал в машину и снова шел за мешком.

— Эй, парень, не хочешь подзаработать? — крикнул негр.

— Что ты сказал? — спросил Раймондо по-английски, не поняв его.

Негр остановился только на минуту, чтобы окинуть его взглядом, затем снова принялся за работу.

— Ты кто, англичанин? — спросил он уже по-английски.

— Нет, но допустим.

Негр весело рассмеялся.

— Допустим, говоришь? Дело твое. Не хочешь ли заработать несколько франков?

— Не помешает, — ответил Раймондо. — Все равно делать нечего.

— Раз так, включайся. Брось пиджак и портфель в кабину и возьми халат.

Раймондо облачился в темный жесткий халат, который протянул ему смуглолицый водитель, и приступил к работе.

— Откуда ты появился здесь? — спросил его снова негр.

— Из Тулузы. Вру, из Марселя.

— Понимаю. Путешествуешь? — он снова засмеялся. — А чем ты там занимался?

— Варил, жарил в отеле «Европа».

— Поваром был, значит.

— Поваром.

— Ну и здесь у тебя работа не хуже. Там на стол подавал, здесь со стола убираешь.

Он снова весело засмеялся.

— А вообще, парень, тебе повезло. Мой напарник вчера в аварию попал. Банда мотоциклистов на него наехала, сбила. Ноги переломали... Утром сообщили из полиции.

«Мне удивительно везет на людей», — опять подумал про себя Раймондо, и горько вздохнул, — «только в главном жестоко не повезло».

— Что это за кварталы? — спросил Раймондо. — Узкие улочки, старые дома, веет стариной...

— Монмартр. Ничего не слышал о нем?

«Да ты посмотри», — воскликнул про себя Раймондо, — «это Монмартр! Знаменитый, воспетый Монмартр. Ну надо же было мне сюда попасть...»

— Ты еще поглядишь ночью, что здесь делается. О-ля-ля. Страсти горят до утра. Слушай, приятель, а ты где остановился?

— Пока нигде.

— Не тужи. Устроим. Мы тут недалеко живем, на улице Мон-Сени. И недорого берут. Не против будешь жить рядом с нами?

— Отчего же? Нет.

— Ну и отлично.

В конце дня Раймондо лежал на железной кровати. Джеймс, так звали негра, сдержал свое слово и привел его на улицу Мон-Сени, в серый трехэтажный дом. И теперь он отдыхал в полутемной каменной клетке, окно которой выходило на шумный двор, а стены источали удушливый запах сырости. Джеймс с друзьями звали его на прогулку, но он отказался, сославшись на усталость. И сейчас, лежа на худом матрасе, он на самом деле чувствовал ноющую усталость во всем теле.

Уснув где-то под вечер, под гомон и крики детей, он уже не просыпался до утра. На следующий вечер он не упустил возможности погулять с новыми друзьями. Но до этого, в полдень, он был удивлен и поражен открытием.

Миновав отель «Асторию», у резных металлических ворот он схватил два увесистых полиэтиленовых мешка, взвалил на плечи, и, шагнув к машине, бросил в ее чрево. Дойдя до угла улицы, он разогнулся, поднял голову. И застыл, глянув на трафарет. Он сначала не захотел поверить. Здесь, в Париже, и слово «Москва»?

— Джеймс, что здесь написано? — он попытался придать голосу равнодушный тон.

— Улица Москвы.

— И чего ради?

— Да ничего, парень. В Париже найдешь названия столиц всех государств мира.

Ночью, растянувшись на кровати и перебирая события минувших дней, Раймондо вдруг понял, что надо как можно быстрее уезжать из этого города.

Но ведь это Париж, сказал он себе, когда я еще увижу его, это город, воспетый в книгах и песнях. Конечно, это Париж, но разве я стремился к нему, — опроверг он себя, — разве я желал жить в нем? Нет, нет, мне надо быть поближе к своей земле, как можно ближе, я вряд ли когда и ступлю уже на нее. Но быть хотя бы близко, чувствовать в ее ветре запах поля и леса... Я должен уехать... Я должен уехать...

6

Где-то в глубине души Раймондо, как маленький воробышек, теплилась надежда найти приличную работу и пожить в Париже. Она часто стучалась в сердце, напоминая о себе. И однажды вечером Раймондо решил, наконец, обойти рестораны. Он не владел такой специальностью, чтобы пойти на завод или фабрику. Да и будь она у него, кто бы его взял... Тут своих безработных скопилось сотни тысяч. А кухня... она не пользовалась столь высоким авторитетом у парижан, не импонировала им, и потому в ресторане работали итальянцы, турки, вьетнамцы...

В районе вокзала Сен-Лазар Раймондо зашел в отель «Флорида». В вестибюле все блистало. Ярких тонов обои, мягкая мебель, призрачный свет, льющийся из плафонов, плотный ковер, в котором утопали ноги — вся эта строгая, сдержанная, красивая обстановка опьянила его.

Молодой голубоглазый портье с тонкими бакенбардами на бледном худом лице подозрительно взглянул на него, выслушал, позвонил по телефону и, положив трубку, сказал:

— Нет, мсье, ресторану люди не нужны.

Раймондо не сдвинулся с места. Уют и тепло отеля разбудили в нем далекие воспоминания, но их прервал голос:

— Чем еще могу служить, мсье?

Раймондо повернулся и пошел из отеля.

Пройдя несколько сот метров, он вошел в отель «Морну», обвел взглядом вестибюль, утопавший в сине-голубом свете, и, не глядя на портье, придав походке уверенность и независимость, прошел в ресторан. И здесь ему не сопутствовала удача.

А может, следует уйти от людных, бойких мест в тихие районы, решил он и свернул в первую попавшую улицу.

В этот вечер Раймондо заходил в отели «Фонтене» на Боль-

шой улице, «Понтиву» на улице генерала де Голля, «Ронкери» на Больших Бульварах и во всех натыкался на один ответ:

— Нет, мсье, люди не нужны.

Проходя по бульвару Османа, Раймондо вошел в отель «Амбассадор» и уже прошел мимо портье, когда что-то заставило его остановиться. Он осторожно обернулся. Четверо мужчин говорили между собой по-русски, весело, непринужденно, чему-то смеясь, один из них переводил портье на французский язык и доброжелательно улыбался.

«Бог ты мой, — простонал про себя Раймондо, — как я соскучился по языку, как мне не хватает его. Подойти, заговорить с ними... Но как они это воспримут... Сказать, что я люблю этот язык? Но простой любитель так не говорит, как я. А если признаться, кто я, как воспримут? Спокойно? С жалостью? С ненавистью? А может, с ненавистью? Я боюсь этого. Нет, я не подойду к ним... Я подойду, будь что будет, подойду... Нет, нет...»

Он уперся взглядом в настороженного русского, переговаривавшегося с портье, и отвел глаза.

— Мсье что-то хотел спросить? — сказал русский по-французски.

— Нет, мсье, ничего, — ответил Раймондо по-английски.

— О, мсье не француз?

— Нет, испанец... — И горячая кровь ударила в лицо Раймондо. Трус, сказал он себе, подлый трус, ты опять сделал шаг назад. Уже который шаг...

— Что это за тип? — спросил один из русских того, кто говорил с Раймондо.

— Испанец.

— Испанец?.. А чем он занимается в Париже?

— Чем и другие... Думаю, путешествует в поисках работы...

Он подошел к Раймондо и протянул ему значок.

— Возьмите от меня на память, сувенир.

— Спасибо, мсье.

Русские вышли на улицу.

Раймондо осторожно разжал ладонь. У него перехватило дыхание. Он закрыл глаза: так сильно закружилась голова. Потом тяжело разлепил веки и снова взглянул на ладонь. На ней лежал большой рубиново-желтый значок с изображением Красной площади. Раймондо, вдруг спохватившись, выскочил на улицу, но русских уже не было. Он добежал до угла, потом в обратную сторону... Их нигде не было.

Что же, так суждено судьбой, сказал про себя Раймондо, пряча значок в прорезь ремня. Еще один шаг назад... Велика ли моя вина в том, первом шаге? Вина... Я жестоко обманул

ся. Да, обманулся, не послушался даже родную мать... А потом была и вина... Была вина... Иначе я мог бы подохнуть с голоду. Да и вина ли это, если я продал адреса и имена друзей и знакомых. Вина. И подлость. Я продал свою честь, совесть за кусок хлеба. Но я мог умереть, сдохнуть, как пес, если бы не эти адреса, они помогли мне выкарабкаться со дна зловонного колодца «земли обетованной»... И с них не убудет... Не убудет?.. А если кто-то из тех, кого я предал, обманется, как и я, поверит и обманется, или где-то уже страдает, осыпая проклятиями этот мир, который перед ним вовсе не виноват... Страдает и гибнет... Это моя вина. И нет мне никакого прощения.

Раймондо опустил голову и пошел, не разбирая улиц.

— Мсье, вам не требуется работа?

Раймондо поднял голову, всмотрелся. Перед ним стоял смуглый, черноволосый мужчина.

— Какая работа? — не понял Раймондо.

— Несложная работа на кухне.

Раймондо, наконец, очнулся и огляделся. Улица была безлюдна. Над парадным входом горела реклама: отель «Ваграм».

— Благодарю, мсье, — сказал тихо Раймондо.

— Как хотите... я думал...

— Поздно, друг, я хочу спать.— И Раймондо продолжил свой путь.

7

Несколько дней спустя в районе вокзала Сен-Лазар Раймондо случайно столкнулся с Франсуазой. Перетаскивая полиэтиленовые мешки от парадных домов к мусороуборочной машине, он не обратил внимания на бесшумно остановившийся зеленый «Мерседес». И только голос заставил его замереть и вобрать голову в плечи. Франсуаза, сказал он себе. Откуда? Здесь! Потом радостно забило сердце... Франсуаза!.. И вдруг страх сковал его.

— Раймондо...

В ее голосе чувствовалась неуверенность и нерешительность. Ассигнации... Заметила ли она пропажу ассигнаций... Как не заметить... Срам, какой срам... Ассигнации, она простит мне их?...

Эта мысль сверлила мозг Раймондо, он вошел в подъезд дома и присел на ступеньку. Надо переждать, сказал он себе, пусть подумает, что обозналась. А может, я обознался, и вовсе это не Франсуаза и окликали не меня, а кого-то другого. Да, да, может это не Франсуаза. Но надо выходить, машина, наверно, ушла далеко и Джеймс нервничает.

Раймондо взвалил увесистый мешок на голову, прикрыв лицо, и вышел на улицу. Зеленого «Мерседеса» не было.

Эта встреча не выходила у него из головы весь день и в течение этого длинного дня он строил различные предложения, как бы поступила Франсуаза, уличив его в воровстве. Заявила бы в полицию? Простила бы? Сжалилась бы? Только не последнее. Жалость вызывала в нем чувство омерзения. Как и человеческая подлость. И сам он казался мерзким себе.

Та бессонная ночь с размышлениями о запахе родной земли и эта неожиданная встреча с Франсуазой заставили его принять окончательное решение.

На следующий день самолет французской авиакомпании «Каравелла» уносил Раймондо в Стокгольм. Он сидел у иллюминатора, глубоко погружившись в кресло, и дремал. Не хотелось ни думать, ни строить планы. Ну, что он мог наметить на завтра, если не знал, где будет спать, если он жил, как перелетная птица.

Сначала на французском, а потом и на английском языке стюардесса объявила пассажирам, что ввиду ураганного ветра, свирепствующего над Норвегией и Швецией, самолет вынужден сделать посадку в Копенгагене. «Каравелла» стала заметно снижаться, совершила круг над проливом, под крылом проплыла шведская земля, потом заблестало зеркало воды Зунда. Через несколько минут «Каравелла» уже легко и стремительно бежала по бетонной полосе аэродрома Каструп, гася скорость.

Пассажирам разрешено было отлучиться до вечера, и Раймондо отправился в город. Он слышал, что Копенгаген давно соперничает с Парижем, и теперь, воспользовавшись случаем, решил посмотреть, осилит ли он соперничество. Город приятно поразил его обилием зелени и многоцвечьем. Фасады магазинов были одеты рекламами всевозможных цветов—от красных и оранжевых до голубых и белых. Улицы пестрели, словно радуга. Стены домов увивал плющ; в плотной зеленой массе блестящими дырами зияли проемы окон, на балконах торчали разноцветные шляпы зонтов. Но больше всего Раймондо поразила и смутила улица, названия которой он не сообразил прочесть. Она отходила от нарядной широкой и уютной Вестерброгаде, как аппендикс. Здесь вольготно разместились магазины, в которых продавалась всевозможная порнографическая литература, группы людей разных возрастов разглядывали их без каких-либо эмоций, как знакомый журнал или газету. В кинотеатрах демонстрировались сексуальные и порнографические фильмы. Реклама была беспардонная: штриховые рисунки изображали женщин и мужчин в различных грубых позах.

Раймондо медленно шел по улице. На одном из перекрестков на невысоком табурете восседал хиппи, вытянув ноги, и держал в руках шест. Шест венчался огромной пятерней, вырезанной из фанеры. На ней крупно и броско значилось: «Super sex cinema»... Большой палец указывал за угол, а сам хиппи был равнодушен и безразличен ко всему. Чуть поодаль от него на солнечной стороне, прислонившись к стене, сидела дюжина длинноволосых.

Раймондо горько усмехнулся: такой картины, такого живописного полотна я еще нигде не видел. В этом Копенгаген безусловно переплюнул Париж. Раймондо продолжал путь и обратил внимание на таблички и вывески, прибитые у подъездов домов, почти рядом с порномагазинами. Он долго вчитывался, пока, наконец, не понял их предназначенье. На вторых этажах, над магазинами, размещались интимные клубы и клубы встреч. Иначе говоря, публичные дома. Распахнутые окна закрывали жалюзи, на дверях, выходявших на изящные балкончики, свисали тяжелые гардины.

Улица вывела Раймондо в центр города, на Новую королевскую площадь. Постояв некоторое время под развесистым деревом, укрываясь от палящих лучей солнца, он повернул налево, обойдя собор, не спеша пошел по теневой стороне и вскоре очутился у Тиволи. В парк он не пошел, в кармане не было крон, а доллары разменивать не хотелось. И вернувшись на площадь, он свернул к бульвару и опустился на траву. Она опьянила его душистым запахом. Он лег навзничь и подложил под голову портфель. Рядом в купальных костюмах сидели и лежали мужчины, женщины, дети, подставив белые тела летнему солнцу. День был горячий, лучи быстро накаляли одежду и вскоре Раймондо последовал примеру копенгагенцев: он разулся, снял с себя брюки, рубашку, майку и остался в плавках.

К вечеру Раймондо вернулся в аэропорт и узнал, что рейс в Стокгольм задерживается до утра. Идти в город ему уже не хотелось.

8

Три огромные собаки ворвались в зал и помчались, резвясь, по сверкающему полу. Люди повскакивали с мест, забились в угол, женщины завизжали.

— Эдди, Сквайр, Вилли,— закричала женщина, вбегая вслед за ними. — Эдди, Сквайр, Вилли...

Раймондо не спускал с собак глаз. Они были великолепны. Громким, властным голосом он заставил их остановиться, а по-

том и подойти. Хозяйка собак обратила на него удивленный взгляд.

— Друг мой, вы любите псов?

— Как сказать, фрау...

— Мисс, — поправила она. — Я англичанка.

— Как сказать, фрау...

— О, прекрасно, вас мне бог послал. Помогите усадить их в машину.

Когда, наконец, собаки уселись на заднее сиденье ярко-красного «Форда», женщина обратилась к Раймондо.

— Благодарю вас, друг мой. Куда же вы улетаете?

— В Стокгольм, мисс...

— С трупой?

— Один.

— Как так, друг мой?

— Видите ли, я ищу работу, в Стокгольме мне...

— Да будет вам, друг мой. Хорошие укротители нужны и в Копенгагене. А пока вы можете поработать у меня...

Раймондо поднял на нее удивленные глаза.

— Видите ли, друг мой. У меня был рабочий, который ухаживал за садом и псами... Убежал. В неизвестном направлении. А с ними я одна не могу совладать, — и она кивнула в сторону собак.

— Благодарю вас, мисс, но мне надо в Стокгольм... У меня и билет в кармане. Вот только рейс никак не объявят, — а про себя подумал: боже, неужели я опять смогу стать укротителем. Сколько лет прошло, как я перестал дрессировать животных, разучился. Потерял волю, уверенность... Но сейчас разве я не был волевым... Они мне подчинились... Значит, я еще могу вернуться к своей профессии...

— Да, над Швецией идет циклон... Послушайте-ка, друг мой, садитесь в машину и поедemте. Стоимость билета я вам возмещу. — Она засмеялась. — Не сердитесь на меня, это так, к слову. Нет, на самом деле, вы можете устроиться в Копенгагене. Он не хуже Стокгольма, холодного, сырого города. Вам здесь понравится, садитесь-ка в машину. А пока на расходы вот, возьмите, — она порылась в сумочке и протянула ему сто-долларовую бумажку.

Может, на самом деле пожить немного здесь, спешить мне некуда, — и Раймондо горько усмехнулся. Он сходил за своим портфелем, сел в машину, рядом с незнакомкой, и «Форд» тронулся с места.

— Вас мне бог послал, друг мой, — сказала женщина, внимательно глядя на дорогу. — Такая редкая профессия — укротитель... Если бы не вы, я бы не справилась с ними. Ну надо же

так случиться, приехала проводить подругу, она улетела в Лондон, а эти друзья вылезли из машины... Когда был жив супруг, они буквально ластились. А сейчас стали... ну просто дьяволы...

— Собаки великолепные,— сказал Раймондо и обернулся назад, на дорогу.

— Пусть вас не тревожит, друг мой, что мы не въезжаем в город. Я живу на вилле, на берегу залива Зунд. Кстати, в ясную погоду с нашего берега видна Швеция. Город Мальмё. Не пришлось бывать?

— Нет, мисс.

— Злачный город. Уйма казино, интимных клубов, домов молодежи. Вы хоть немного представляете, что это такое?

— Если чем-то они отличаются от салонов эротики и порно-хаузов, что на площади Пигаль, то нет...

— Ах, так вы были на площади Пигаль?

— Жил недалеко, мисс.

— Ну, в таком случае вам нечего и объяснять.

Вилла незнакомки оказалась двухэтажной с мансардой. Мансарду она предоставила Раймондо. Он принял ванну, полез в холодную накрахмаленную постель и вскоре уснул.

Утром его разбудило солнце. Раймондо подошел к окну. День был ясный и прозрачный. С Зунда повеял свежий ветерок. Далеко впереди, за синей водой пролива, тянулся шведский берег, виднелись высокие белокаменные дома.

Потом его пригласили к завтраку на веранду, куда чуть погодя вышла и хозяйка виллы. Раймондо только сейчас разглядел ее. Это была женщина лет сорока пяти, с моложавым лицом, продолговатыми глазами, довольно острыми.

— Доброе утро, мисс...

— Доброе. Зовите меня мисс Элли Дорби. Нет, мисс Элли. Так вы увидели Швецию или еще не успели, друг мой? Как мне вас звать?

— Раймондо... Пришлось полюбоваться, она смотрит в мое окно.

— Превосходно. Она будет вас манить, но не поддавайтесь искушениям... Так вы француз?

— Нет, мисс, испанец.

— О, превосходно, темпераментный испанец... Бедные мои псы, замучаете вы их. — И она звонко засмеялась.

После завтрака Раймондо ознакомился с вверенным ему хозяйством, большим, слегка запущенным садом и тринадцатью собаками. Держать собак было большой страстью мисс Дорби.

Спустя неделю сад был приведен в порядок, а еще через некоторое время собаки мисс Дорби, разбившись на две ко-

манды, забавно играли в футбол под залиvistый смех хозяйки и восторженные возгласы и хохот ее друзей.

Раймондо жилось на вилле неплохо. Он ни в чем не был ущемлен, имел доступ к моторной лодке, на которой катался в проливе, часто к концу дня на велосипеде отправлялся в Копенгаген. Мисс Дорби не раз приглашала его к своим друзьям, но он находил всяческие причины, чтобы не идти к ним. И не шел. С большим удовольствием проводил он долгие часы с собаками, за дрессировкой, вспоминая лучшие дни своей жизни.

Возвращаясь однажды с вечерней прогулки, Раймондо обратил внимание на собачий визг, доносившийся из гостиной. Он прошел было мимо, но потом остановился: в визге ему почудилось отчаяние и боль. Раймондо осторожно постучался в дверь, не дождавшись ответа отворил ее и замер, пораженный. Мисс Дорби остервенело стегала бичом белого королевского пуделя. Оскалив зубы, собака то забивалась в угол, пытаясь увильнуть от хлестких ударов, то юлила от боли, и визг ее раздираал душу.

Первое желание Раймондо было подбежать к мисс Дорби и вырвать из ее руки бич, но он сдержал себя.

— Мисс Дорби... — проговорил он, голос получился дрожащий, слабый, и потому он повторил, но уже громче, — мисс Дорби!

Мисс Дорби застыла с бичом в вытянутой руке, потом медленно повернулась. На лбу у нее блестели капельки пота.

— Кто вам позволил войти? — жестко спросила она, отшвырнув бич в угол, к собаке.

— Я стучался, но вы не изволили слышать.

Мисс Дорби зло взглянула на Раймондо и устало опустилась в кресло. — Чего вы стоите? Садитесь, друг мой, раз уж вошли без приглашения. — Лицо ее озарилось деланной улыбкой. — Дрессировщик собак... Вы бы поинтересовались, почему я его пожурила.

— Пожурили, мисс? — сказал с легкой иронией Раймондо.

— Он опрокинул на мое новое платье кофе, — вздохнула мисс Дорби.

— Королевский пудель пьет кофе?

Мисс Дорби рассмеялась:

— Да вы к тому же и шутник, мой друг. Забудем случившееся, идите отдыхать. Я очень устала. Собаку уберите.

К завтраку Раймондо вышел утомленный от бессонницы: сцена с королевским пуделем долго не давала ему уснуть.

— Друг мой, как вы спали в эту ночь? — спросила мисс Дорби, подходя к столу. В платье бирюзового цвета, улыбающаяся и элегантная, она выглядела великолепно.

— Неплохо, мисс, благодарю вас.

— Сновидений не было, ну, из тех, что не дают покоя одиноким людям?

Мисс Дорби откусила сэндвич, глаза ее улыбались.

— Что-то такое было, мисс, но, по-моему, объясняется это не одиночеством.

— Чем же, если не тайна? — игриво спросила мисс Дорби.

— Разными бытовыми сценками.

Мисс Дорби отпила кофе, поджала губы и бросила на Раймондо острый взгляд.

— Ваше настроение, друг мой, усугубляется одиночеством, — произнесла она, разделяя слова. — Вы жестоки к себе, непростительно губите свою молодость.

Как-то воскресным днем гости мисс Дорби, уютно расположившись в саду в бамбуковых креслах и успевшие насладиться светскими сплетнями, вдруг в один голос потребовали представления. Мисс Дорби не заставила себя долго просить и велела Раймондо начинать аттракцион.

Веселый смех друзей мисс Дорби свидетельствовал о том, что номер удался: собаки, рыча и хрипя, весело гоняли мяч. Раймондо со свистком метался между футбольными воротами, когда увидел в кресле, стоявшем неподалеку, бич. Пробегая мимо, Раймондо схватил его, но не успел сделать и десятка шагов, как белый королевский пудель с разгона бросился на него и вцепился в бедро. Боль заставила Раймондо истошно закричать, но крик замер где-то в глубине души; разинув рот, он схватил пса за горло, пытаясь оторвать от себя. Жесткие, сильные пальцы его чувствовали горячее горло пса, ощущали пульсирующие артерии, он смотрел в горящие злобой глаза и никак не мог понять причину, вызвавшую собачью ярость. Но только до него стал доходить смысл происходящего, как в спину, между лопатками, что-то больно ударило. Раймондо наконец оторвал пса от себя, отшвырнул и обернулся. В этот самый миг к ногам упал туфель мисс Дорби. Упал рядом с другим, перламутровым, с высоким острым каблуком.

Раймондо отвернулся, прижал кровоточащую рану ладонью и, хромая, пошел прочь.

Вечером Раймондо уложил свои вещи в портфель и вышел, оставив на столе записку следующего содержания:

«Мисс Дорби, благодарю за все. Пришла пора уехать. Не хочу быть четырнадцатым псом в доме. Будьте здоровы».

Раймондо оторвал лицо от ладоней, поднял голову. Положив тяжелую руку ему на плечо, рядом стоял дюжий полицейский.

— Что случилось?

Раймондо тихо и зло ответил по-английски.

— Ничего не случилось.

— Янки? — Полицейский, казалось, решил вывернуть его взглядом наизнанку.

— Нет.

— Кто?

— Испанец.

— Где ты работаешь?

— Служитель в зоопарке.

— Как имя?

— Раймондо... Раймондо Гарино...

Раймондо взглянул на часы, присвистнул и сказал себе:

Мне надо быть на работе. Скоро представление.

Он встал, окинул взглядом теплоход и, не обращая внимания на полицейского, пошел по набережной.

В два часа Раймондо давал представление. Он вошел в вольер к слону и громко сказал:

— Здравствуй, Элефант. Я принес тебе сладости.

Слон медленно подошел и принялся водить хоботом по карманам.

— Я принес тебе сладости, — повторил Раймондо.

Слон оторвал задние ноги от земли, встал в стойке и затрубил.

Раймондо поднес к хоботу горсть сахара, слон опустил ноги и низко склонил голову в знак благодарности.

Публика захлопала в ладоши. Раймондо лег навзничь на землю и громко сказал:

— Элефант, покажи, как ты меня жалеешь.

Слон медленно перенес через него одну ногу, вторую... Раймондо глядел снизу на глыбу серых мышц, на гору мяса и задумался, что бы произошло, если бы слон опустил на него ногу? Произошло бы что-то жуткое... Но дальше он не дал развиться своему воображению. Раймондо был умелым и отважным укротителем, любил зверей, уважал в них звериную неприимимость к неволе, но больше — расположение к человеку, которое приходило с годами и во многом зависело от укротителя. Но он никогда не позволял себе рисовать в воображении конфликт со зверем, крах человека, его поражение.

После очередной порции сахара слон закружился в вальсе,

как только может кружиться такая глыба, держа на хоботе своего друга.

Восторгу зрителей не было конца.

Раймондо оказался для зоопарка находкой. Конечно, здесь никто не знал и не ведал о его профессии, а сам он не хотел об этом говорить, желая навсегда забыть свое прошлое, воспоминание о котором ему приносило неимоверные страдания.

Но однажды Пат заметил его занятия со слоном. Что-то заподозрил, но дальше этого не пошел, а может—не хотел идти. Он и посоветовал Раймондо давать представления, что немного увеличит его бюджет.

Представления Раймондо стали привлекать все больше публики, зоопарк заполняли взрослые и дети. И Раймондо, забыв на время все свои горести и невзгоды, увлекался любимой работой, как в далекие годы...

После представления Раймондо заспешил в город. Он почти бежал по узким средневековым улочкам острова Стаден. Его манил на острове Сёдермальм не Королевский дворец и шпили древних соборов, не позеленевшие памятники монархам и королевские гвардейцы. Его звала набережная острова Сёдермальма, где стоял белоснежный теплоход. Раймондо быстро пересек пролив по мосту, соединяющему оба острова, свернул на набережную — поднял голову. Возвышавшаяся над набережной Мосебанке, или Моисеева гора, искрилась в солнечном свете. Это был стокгольмский Монмартр. Только на этой площади не рисовали и не продавали картин. Здесь художники писали заставками, здесь жил бедный люд.

Сам Раймондо жил недалеко от Светлой Северной Церковной улицы, черева Стокгольма. Почему эта улица в старой части города, нашпигованная сексуальными магазинами, кинотеатрами по прокату порнофильмов, интимными клубами, называлась Светлой Северной — он не знал. И ни у кого не мог узнать. Ирония судьбы? Чья-то дьявольская, хитрая выдумка? Он жил недалеко от нее, видел, как она опутывала людей, словно паутина, и постепенно свыкся с ее существованием. Что же в этом плохого, пытался убедить себя Раймондо, ее создала природа по тем же законам, что и паутину, иссушающую свою жертву. Все по правилам, не нарушая равновесия сил в природе. Одни наслаждаются эротическими удовольствиями, другие продают эти удовольствия.

Раймондо сел на колено каменного чудища и уставился на теплоход. Глядя на него, он пытался вспомнить запах родной земли. И не мог. Сотни дорог чужих стран иссушили и выветрили его, этот запах.

По трапу спустилась группа девушек. Затем девушки мед-

ленно пошли по улице, остановились, что-то обсуждая, и спустились на рыночную площадь, перед Домом Концертов они, изумленные, долго глядели на Орфея! Тот самозабвенно, иступленно играл на невидимых струнах лиры, и глаза его были устремлены на людей, которые стояли перед ним и внимали его голосу. И рвущиеся вверх и плещущиеся при падении струи фонтана заглушали страстную песню Орфея.

Девушки безошибочно вышли к торговой площади на Сергельторьет, словно уже были здесь, обошли крупные универмаги, осмотрели новые высотные здания и спустились в подземный «этаж». Раймондо хотел крикнуть — «не ходите туда, это не для вас», но что-то перехватило горло, и он устремился за ними, стараясь не упустить из виду. Подземный Сергель пользовался в Стокгольме дурной славой. Здесь были магазины, киоски, кафе, бары, места недорогих развлечений, толкались праздные зеваки, куражились пьяницы, обделывали свои темные дела спекулянты, скупщики краденого, сводники, сомнительные личности, наркоманы... Последние тут же принимали дурманное зелье и брели дальше неверным шагом или падали на бетонный пол.

Раймондо внимательно и тревожно наблюдал за девушками, и когда те поднялись наверх, свободно вздохнул. Пронесло, сказал он себе, хотя правда еще и светло, не прицепился никто, пронесло, а могли бы... поди узнай, у кого что на уме.

Девушки разделились на две группы: одна направилась в сторону набережной, другая дальше, в город.

Несколько минут Раймондо размышлял, за кем следовать и пошел за второй группой. В пестрой шумной толпе стокгольмцев четыре девушки гуляли, как по своему городу, а в сердце Раймондо закрадывалась тревога. Куда они идут, черт их подери, стал уже злиться он, ведь дальше им ни к чему, просто нельзя. Там полно самой гнусной порнографии и хиппи. Как их предупредить? Они испугаются меня! Да и поверят ли мне? Надо подойти. Но что-то удерживало его на расстоянии.

Они ушли уже довольно далеко от центра, когда Раймондо заметил трех рослых подростков, следовавших за девушками.

— Затолкаем в подворотню курочек... Аппетитные курочки-то... аппетитные... — разобрал он обрывки их фраз.

Раймондо ускорил шаг, поравнялся с девушками и проговорил по-русски:

— Уходите быстро, они к вам пристанут...

Девушки отпрянули от него.

— Уходите, — с мольбой повторил Раймондо. — Уходите, пока не поздно...

Подростки подошли к нему и один, ухмыляясь в лицо, сквозь зубы бросил:

— Чего пристал к курочкам? Тип...

Раймондо весь напрягся в ожидании, сжав кулаки.

— Девчатины захотел? — спросил зло подросток. — Сейчас я тебе покажу девчатины...

Он развернулся в плече, но Раймондо опередил его: короткий прямой удар заставил подростка охнуть и согнуться.

— Уходите, — еще раз крикнул Раймондо, уже зло, жестоко, нанес сильный удар другому подростку ниже паха. Тот взвизгнул и сел на землю.

Третий обрушил на Раймондо град ударов, но Раймондо выстоял; защищая кулаками лицо, он думал, как остановить этот град, и тут молниеносно мелькнула мысль, мелькнула в тот момент, когда где-то далеко, но отчетливо послышался вой сирены полицейской машины. Раймондо нырнул в ноги противнику, опрокинул его, но встать не успел. Он почувствовал удар по голове. В какой-то миг адская боль прошла его тело, и он потерял сознание.

10

Раймондо тяжело открыл глаза. Он лежал на кушетке в светлом чистом кабинете. Где я? — спросил он себя, — кто меня подобрал, неужели полиция? Он приподнялся и сел. Голова гудела и была тяжела, словно двухпудовая гиря.

Дверь отворилась, вошел пожилой мужчина в белом халате, бросил беглый взгляд на Раймондо:

— Повезло тебе. Благодарю полицейских. Не подойди они вовремя, из твоей головы сделали бы желе. Ну как, встать можешь?

— Да, спасибо, надо идти.

— Куда идти? — Мужчина усмехнулся. — Чем сидеть в холодной кутузке, лучше лежи здесь.

— В кутузке? — Раймондо непонимающе посмотрел на него, неожиданно насторожился: — почему должен сидеть в кутузке?

— Наивный малый. Тебя взяли за драку.

Боже мой, подумал про себя Раймондо, меня избили и меня же взяли за драку...

— Я тебе симпатизирую: один пошел на троих...

Мужчина хлопнул тяжелой рукой Раймондо по плечу: острая боль пронзила тело и исказила лицо Раймондо. — Ты смелый малый, так что лежи-ка лучше здесь... Впрочем, тебе недолго дадут отдыхать...

Пошел на троих, вот как обернулось дело, забеспокоился Раймондо. Как бы еще не отправили в тюрьму. Разве в этом мире найдешь правду, и кто тут меня защитит. Боже, да кому я тут нужен...

И тут другая, более тревожная мысль захватила Раймондо. Внезапно он почувствовал, что ему чего-то не хватает, на нем чего-то нет. Он принялся ощупывать себя и похолодел. Сердце гулко забилося, затем сбилось с ритма. Раймондо обвел глазами комнату, заставленную белыми шкафами и хрипло спросил:

— Где ремень... мой ремень... Вы не видели моего ремня?

— Что? Нет... Тебя привезли без ремня. Нашел о чем печалиться. Говорили, что тебя лупили ремнем.

— Но мне нужен ремень, нужен, я не могу без него... — Раймондо приподнялся, и в эту минуту открылась дверь и вошел невысокого роста полицейский.

— А... пришел в себя! На-ка затяни штаны, чтобы не ходить с голым задом, ха-ха,— он бросил на кровать ремень, потом у кушетки гулко упал туфель.

— Как тебя звать?

— Раймондо. Раймондо Гарино,— машинально ответил Раймондо, мысленно спрашивая себя, на месте ли деньги.

— Где работаешь?

— Служителем в зоопарке.

— Откуда приехал?

— Из Испании.

— С какой целью преследовал туристок?

— Не понял.

— Туристок, спрашиваю, почему преследовал? Или русские девушки слаще испанок? Ха-ха...

— Преследовали те трое, что избili меня... Я просто шел следом.

— Жаль, что ты не успел их потискать. А вот если бы ты задел наших девочек, я бы тебе шею сломал. Ты меня понял?

И он растянул рот в улыбке. Полицейский подошел к двери, распахнул ее. Огненные вспышки, словно молнии, ударили в глаза, замелькали головы, десятки, сотни голов, они закружились, расплывались, слились в один ком и Раймондо потерял сознание.

Когда он открыл глаза, за окном смеркалось. Мужчина в белом халате сидел на высоком табурете и читал газету. Услышав скрип кушетки, он пробурчал:

— Пробудился, наконец. Сутки бредил. У меня на тебя нет ампул для уколов. Иди-ка лучше домой. Да, вот послушай, что пишут в газете: «Испанский кабальеро Раймондо Гарино, который вкусил прелести не одной красавицы Мадрида и Пари-

жа, пытался поразвлечься с русскими туристками...» И твоя очаровательная физиономия. Хочешь посмотреть на себя? Дер-
жи...

Мужчина бросил газету на кушетку. Раймондо мельком взглянул на нее, увидел глаза, свои глаза, встал и медленно, как во сне, вышел на улицу. Все потеряно, сказал он про себя отрешенно. Родина, а теперь работа... Вряд ли теперь меня оставят на работе. И как обернулось-то дело: пытался помочь своим, а вышло, что покушался на их честь... Деньги, хотя бы деньги оставили на месте. Без них я ничто.

Закружилась голова. Раймондо съездившись, напрягшись всеми нервами, будто ожидая коварный удар из-за угла, засунул пальцы в прорезь... И сполз на землю обессиленный. Деньги были на месте.

Сколько просидел на земле, Раймондо не помнил. Наконец, он встал и поплелся по улице. Над ярко освещенными окнами магазинов полыхала реклама. Из ресторанов и кафе слышались звуки музыки. У кинотеатров толпилась молодежь. Никто не обращал внимание на еле бредущего, с перевязанной головой человека. Он никому не был нужен.

Раймондо вышел на набережную, сел на колено лупоглазого чудища и долго глядел на ярко освещенный теплоход, на беззаботно отдыхающих и веселившихся людей. И вдруг опустил голову на ладони и длинно тонко заскулил, как бездомная, избитая собака.

11

— Рома, Рома, сыночек, вернись. Это я, твоя мама, слышишь, вернись, не смей...

Истощенный женский крик пронзил его. Он вскочил, сел на кровати, и тупо уставился в темь окна.

На улице визжали девицы. Потом раздался мужской хохоток и снова девичий сладострастный визг.

Гуляли клиенты Светлой Северной Церковной.

— Нет, я здесь больше не смогу прожить, — сказал себе Раймондо. — Больше не смогу. Но где-то, как-то жить надо. Не лишать же себя жизни. Где-то жить надо. Где-то? Я должен быть хотя бы рядом со своей землей, слышать ее звуки, чувствовать запахи, стоять на ее ветру. Он будет приносить мне голоса моей земли. Иначе я не смогу жить. Я устал, я страшно устал ходить по чужим дорогам. Я весь износился. Износился? Но ради кого? Ради самого себя. Я уже близок к той черте, к которой стремился. И эта черта — моя единственная цель и последняя надежда. Она рядом. Совсем рядом. Да, я

поеду в Финляндию. А там, рядом, моя земля, без которой я не могу жить, без которой я задыхаюсь. Мне так нужен ее ветер...

Раймондо лег на правый бок, как когда-то в детстве, и тут же забылся глубоким сном.

ПОЕЗДКА

1

Директор совхоза «Победа» Юсупов готовился к поездке во Францию.

О том, что он включен в состав делегации виноградарей и виноделов, Юсупов знал уже несколько месяцев. Но молчал. Кто знает, может не попадет в список участников поездки, думал он про себя, втайне все-таки надеясь на поездку.

И вот сегодня, когда в контору были созваны бригадиры и специалисты хозяйства, чтобы обсудить, как быстрее убрать уродившийся виноград, когда разговор уже подходил к концу, в кабинет вошел почтальон. Он раскрыл сумку, порылся в ней и с загадочной улыбкой протянул телеграмму. Юсупов расписался в получении, но читать телеграмму не стал и отложил в сторону. Неудобно перед собравшимися, подумал он. Но тут же про себя усмехнулся: этот болтливый почтальон всему селу успел, наверное, рассказать.

Бригадиры только успели выйти из кабинета, как зазвонил телефон.

— Джамал,— раздался в трубке прерывистый голос жены,— ты едешь за границу?

— Какая сорока принесла тебе это известие?

— Соседи сказали. А они слышали от почтальона...

Юсупов положил трубку телефона, развернул телеграмму, прочитал вслух... «Тридцатого сентября будьте Махачкале Вылетаем Москву второго октября Париж...» Значит, завтра надо ехать, сказал Юсупов, складывая телеграмму и засовывая ее в туго набитый нагрудный карман рубашки.

К концу дня дом Юсупова напоминал улей. До позднего вечера к нему шли и от него выходили односельчане, а ребятишки вместе с внуками Юсупова, облепив невысокий забор, увитый виноградом, перебирали и обсуждали заморские страны. Где-то в полночь, когда село, наконец, уgomонилось и, казалось, все советы уже были даны, все тосты на добрую дорогу высказаны, в дом тихо вошла старая Марьям. Осторожно переступив порог, она присела на тахту, стоявшую у двери и на неоднократные просьбы жены Юсупова присесть за стол отрицательно качала головой.

— Твое имя на устах всего села, сынок,—сказала Марьям, подняв глаза на Юсупова.

— Знаменитостью стал, тетушка,—усмехнулся он.

— В заморские страны едешь, говорят.

— Еду вот...

— Счастливой тебе дороги, сынок...— Марьям замолчала.

Юсупов посмотрел на старую женщину, подумал: что-то ее волнует, беспокоит. В гости никакими просьбами и посулами не затащишь, а тут сама пришла.

Жена Юсупова поставила на стол свежезаваренный чай, варенье, лепешки.

— Садитесь ближе, тетя Марьям. Попробуйте нашего варенья. В этом году я наварила клубничного и черешневого без косточек. На днях буду варить из айвы и инжира. Пусть дети лакомятся всю зиму. Фруктов много, куда их девать, вся земля во дворе усеяна ими.

— Я сегодня из винограда варила внукам.

— Мои не любят, косточек много.

— Да, косточек много. У меня во дворе несколько кустов кишмиша растет, так я из кишмиша варю. Зайди завтра, я тебе на варенье соберу.

— Что вы, тетя, спасибо. У нас погреб полон варенья.

— Ничего, и из кишмиша сваришь, маленьким лакомство.

— Садитесь за стол, тетя Марьям.

Марьям не сдвинулась с места.

— Говори, тетушка Марьям, я вижу, ты что-то хочешь сказать мне,—сказал Юсупов, глядя в морщинистое лицо женщины.

— Да, сынок, хочу сказать. Посмотри, сынок, там, куда ты едешь, нет его? Кто знает, может судьба забросила туда...

Юсупов встал, подошел к окну и, глядя в ночь, сказал:

— Ты же знаешь, тетушка, что он погиб.

— Чует мое сердце — живой он,— тихо сказала Марьям.— Никак не могу привыкнуть к мысли, что нет его на земле.

— Погиб он,— повторил Юсупов.

— Столько лет прошло, а кажется мне, что он где-то живет.

Глядя в окно, Юсупов вспомнил тот морозный день сорок третьего года... Белая скованная снегом степь. Замерзшая, обледенелая отступающая немецкая часть. И колонна военнопленных в хвосте... Потом над головой пролетел «Ястребок», за ним пошли штурмовики, а спустя некоторое время вокруг стали рваться снаряды и снег вспыхивал огнем, взмываясь к небу. Потом, что было потом?.. Немцы стали отсеивать военнопленных: кто с ними — десять шагов вперед... Он прирос сапогами к снегу. К левому плечу прислонился водитель его танка

Али, обгорелый, прокопченный. И снова лающий крик немецкого офицера: кто с нами—десять шагов вперед, кто не с нами —расстрелять... И тут... Левое плечо освободилось от тяжести. Мимо него, тяжело ступая по снегу, пошел прокопченный человек. Юсупов сначала не понял, что произошло. Повернул голову — слева рядом никого не было. Глубокие лунки следов в снегу вели вперед. Он исподлобья глянул в сторону немцев, потом уперся взглядом в спину Али и тихо, но отчетливо сказал:

— Тебя проклянут земля твоя и мать.

Али остановился, повернул голову и проговорил:

— Я устал, я не могу больше, я боюсь умереть.

И Юсупов снова повторил:

— Тебя проклянут земля и твоя мать.

В этот миг сбоку взметнулся сноп огня. И Юсупов рухнул. Когда пришел в себя, была уже ночь. Грудь горела огнем.

— Кто здесь живой,— спросил он, потом крикнул:

— Кто-нибудь есть живой, Али, ты здесь? Али, где ты, отзовись, Али?!

Вокруг было тихо. На снегу темнели трупы солдат...

Юсупов оторвал взгляд от окна, прошелся по комнате, сел за стол, налил себе чаю.

— Садись, тетушка Марьям, остывает.

— Спасибо, сынок... Пусть будет твоя дорога легка и безоблачна, сынок.

— Спасибо, тетушка. Садись поближе...

2

Юсупов глубоко опустился в кресло, пристегнул привязной ремень и улыбнулся соседу слева:

— Люблю во всем порядок, Мераби Луавсарбович.

— Э, бичо, а кто его не любит,—ответил Мераби Луавсарбович и тоже защелкнул пряжку ремня. Это был массивный смуглый мужчина, на лице его выделялись круглые большие глаза и пышные черные усы, которые он поминутно любовно поглаживал ладонью.— Друзья, вы почему замолчали? — воскликнул он удивленно.

— Дай им освоиться с самолетом,—улыбнулся Юсупов.

— В первый раз в самолет садятся, что ли? С кем я еду, вай, деда...— и он громко и артистично заохал.

Самолет покати по бетонной полосе, оторвался от земли и, вдавив пассажиров в кресла, устремился вверх. За окном проплыли Шереметьевский аэропорт, квадраты новых жилых массивов Москвы и уже через несколько минут под крылом ИЛ-62М снежной белизной заблестали облака.

Группа, с которой ехал Юсупов, состояла из двадцати человек, представлявших республики, славящиеся своим виноградом и вином. В Москве они познакомились друг с другом, переговорили о делах, а теперь отдыхали, точнее — готовились к «открытию» Франции.

После обеда, который состоял из бульона, цыпленка с жареным картофелем, бутерброда с колбасой, сливочного масла, бокала столового вина и минеральной воды, пассажиры как-то притихли, словно они весь день ждали этого обеда. И под мерный тихий храп Мераби Луавсарбовича Юсупов задремал. Он открыл глаза внезапно.

— Наш самолет пролетает над Копенгагеном. Высота девять тысяч метров, — донесся до его слуха женский голос.

Соседи просыпались. Значит, не я один спал, сказал про себя Юсупов, а впрочем, не мудрено и уснуть, чем-то надо же заняться три с половиной часа. Он осторожно развернул газету, на глаза попала заметка об угоне самолета, но она не вызвала в нем никакой реакции. Он откинул голову на спинку, сомкнул глаза.

— Бичо, возвращайся из сказки, мы в Париже, бичо...

Мераби Луавсарбович осторожно тормошил его.

За иллюминатором громоздились клубы облаков. Самолет нырнул в сплошной туман.

— Лучше бы не возвращаться из сказки, — улыбнулся, шутя, Юсупов.

— Вай бичо, уже не хочешь в Париж?

Самолет подкинуло, бросило вниз, сквозь разрывы тумана стали вырисовываться дома и улицы. Спустя некоторое время он уже бежал по бетонной полосе аэропорта Пари Орли Сюд.

В аэропорту они быстро закончили формальности — заполнили въездные карточки, получили свои чемоданы, визы и направились к выходу. Здесь их, широко улыбаясь, ожидал сухощавый пожилой мужчина, который представился одним из деятелей профсоюза виноделов, назвался Морисом Дюнуа и повел к автобусу. На улице с десятков людей, обступив, принялись щелкать фотоаппаратами.

— Репортеры, — сказал, продолжая улыбаться, Морис Дюнуа, — никуда не скроешься от них.

Наконец автобус выехал из аэропорта.

Погода была пасмурной, в воздухе плясали мельчайшие дождинки, и большие, старинной архитектуры, каменные дома, завершавшиеся мансардами, источали холод и давили своей массой. Автобус колесил по улицам, Морис Дюнуа выкрикивал знакомые с детства названия, за окнами вытягивались и исчезали тяжелые тела исполинского Лувра и бывшего дворца Ма-

зарини, Собора Парижской Богоматери, ошетилившегося химерами, и легкого, невесомого Сен-Жермена де Пре, гостеприимно распахивались Елисейские поля и Большие Бульвары, бульвар Османа и улица Риволи, открывались чаши площади Шарля де Голля и Согласия, Бастилии и Дягилева, а на душе Юсупова было сумрачно.

Парижане показывали гостям свой город. На фасаде кинотеатра на Елисейских полях реклама изображала красивую обнаженную женщину, величественно сидевшую в кресле, закинув ногу на ногу. Здесь шел сексфильм «Эммануэль». На Больших Бульварах у кинотеатра, где демонстрировался фильм об отце рок-н-ролла Элвисе Прейсли, толпилась молодежь. К Эйфелевой башне шли массы людей, словно на поклонение в Мекку. Сырая, пасмурная погода не омрачала настроения.

А Юсупова снедала грусть. Нет, не таким думал он увидеть Париж, не таким тяжелым, холодным...

Автобус остановился у отеля «Амбассадор».

3

Юсупов и Мераби Луавсарбович устроились в двухместном номере отеля на третьем этаже. Небольшая прихожая и просторная комната с ее обстановкой привели в восторг эмоционального грузина. Он ходил по комнате, пробовал на прочность широкую двухспальную кровать, шарил ногой по ворсистому ковру и не переставал восклицать:

— Посмотри, как все красиво и богато. Умеют жить и принимать гостей. Недаром они французы.

Потом он решил потрогать обои; приложил ладонь к стене, удивленно воззрился на Юсупова: обои были мягкие.

— Вай деда,— проговорил Мераби Луавсарбович, в эту секунду он был похож на огромного несмышленного ребенка.

Глядя на него, Юсупов весело рассмеялся.

— Очевидно, наклеили на поролон.

— Бичо, если это так, то они молодцы, честное слово молодцы.

Юсупов не стал слушать разглагольствований Мераби Луавсарбовича и пошел принимать ванну.

После отдыха члены делегации собрались в ресторане отеля. Здесь их ждали хозяева, представители ассоциации французских виноделов. Морис Дюнуа представил их советским гостям и началась застольная беседа. На одном конце стола переводил советский переводчик, на другом—Морис Дюнуа.

— Не удивляйтесь, что знаю русский,— говорил он, наполняя бокалы шампанским,— я посещал курсы русского языка

и часто бываю в Советском Союзе. Ездил в Москву, Ленинград, Самарканд, Бухару, Кишинев, Тбилиси, Крым...

— Вы были в Тбилиси? — Мераби Луавсарбович развел руками. — Это красавец город.

— Красивый, — улыбнулся Морис Дюнуа.

— Если говоришь от чистого сердца, ты настоящий друг! — воскликнул Мераби Луавсарбович. — Ты проходил по старинным майданам, входил в духанчики, да, говоришь, ты настоящий мужчина. Ты смотрел на наш город с Мтацминда, смотрел, говоришь?..

Юсупов смеялся так весело и озорно, что его смех передался и Морису Дюнуа и всем сидящим за столом, и этот смех без слов и речей сблизил людей.

— Кавказ — красивый край, — воскликнул Морис Дюнуа уже после второго бокала. — Кавказ — край мужественных людей...

— Конечно, бичо, мужчины рождаются у нас. — Мераби Луавсарбович взглянул на Юсупова и продолжал. — Кавказ — это не только Грузия. Это и Дагестан. Вот мой друг и брат из Дагестана, чем он не орел! Какой взгляд, а плечи, грудь... Дагестан рождает настоящих мужчин.

— О, Дагестан, — протянул многозначительно Морис Дюнуа, задумался, и вдруг взорвался: — Дагестан, наш Александр Дюма был в Дагестане, не так ли? И еще, я слышал, леки похитили вашего Гурами... Как его звали...

— Да, бичо, Гурамишвили, посадили в яму и помогли ему стать великим поэтом Грузии.

— В яму? — изумился Морис Дюнуа.

— А как же, бичо, если бы он не сидел в яме, а потом не бежал в Россию, разве он сумел бы так горячо и возвышенно воспевать родной Сакартвело, родную Грузию. Два народа воспитали нам великого поэта... Друзья мои, — эмоциональный Мераби Луавсарбович встал из-за стола и поднял в руке бокал с шампанским. — У нас в Грузии не принято пить без тоста. Не думайте, что тосты — это обычная болтовня выпивших людей. Нет, нет и нет. Тосты — это гимны здоровью и благополучию людей, тосты — это песни, поэмы о них. Тосты сближают, роднят людей. Мой дед говорил мне: бичо, никогда не пей без тоста, иначе станешь пьяницей. Пока мы, грузины, произносим тост, алкоголь выветривается. Теперь от нас научились производить тосты и дагестанцы. Мой дед говорил мне: бичо, всегда поднимай тост за братство, потому что пока на земле будет братство, будет и вино. Делать вино наша и ваша работа, такое вино, чтобы в нем искрилось солнце, которое светит всем народам. Крепить братство — тоже наше и ваше дело, такое

братство, чтобы было радостно жить под одним солнцем. Я поднимаю этот бокал за то, чтобы на нашей уютной земле восторжествовало братство и текли винные реки...

Гул одобрения, звон бокалов, восторженные крики темпераментных французов, женское ликование — все это веселым комом покатилося над столом и растеклось по ресторану.

Мераби Луавсарбович перекинул невидимый мост между гостями и хозяевами и за столом завязалась непринужденная дружеская беседа.

— Минутку внимания.— Морис Дюнуа встал и развел руки, словно желая заглушить шум.— Минутку внимания. Завтра начинается наша поездка. Одна группа следует в Шампань, другая в Кагор. Нам надо будет разделиться на две группы. Я понятно говорю?

— Понятно, бичо — ответил за всех Мераби Луавсарбович и обратился к Юсупову.— Куда едем? В Шампань?

— В Кагор, Мераби.

— Почему не в Шампань?

— Мы же не производим шампанское, Мераби. А потом — Кагор на самом юге Франции.

— Что с того, что на юге?

— Там тепло.

Мераби Луавсарбович глянул в лицо Юсупову и залился веселым смехом.

После обильного и долгого ужина Юсупов и Мераби Луавсарбович вышли на улицу. Опускались сумерки. Тротуары были запружены парижанами.

— Вот что значит увидеть своими глазами,— произнес Мераби Луавсарбович.— Я думал, парижане одеваются роскошно, а смотрю на них и удивляюсь: просто, очень просто одеваются. Со вкусом, но просто, недорого.

— Добрый вечер, господа!

Мераби Луавсарбович и Юсупов одновременно и удивленно обернулись. Рядом стоял высокий пожилой мужчина. Длинное лицо его обрамляли узкие бакенбарды и стриженная борода. Из-под густых бровей смотрели карие глаза.

Юсупов насторожился: он знал, что в Париже могут быть встречи со всякого рода отщепенцами.

— Чем могу быть полезен?— спросил сухо Юсупов.

— Репортер Ален Кашен,— располагающе улыбнулся мужчина.— Очевидно, вы не заметили меня сегодня в толпе репортеров. Командирован сопровождать вас по Франции.

Он довольно чисто и грамотно говорит по-русски, но в произношении чувствуется легкий акцент. Так часто говорят дагестанцы,— подумал про себя Юсупов.

— Наш каждый шаг, каждое слово, каждый жест будет записывать репортер?— удивился Мераби Луавсарбович.

— Для беспокойства нет никаких оснований,— сказал Ален Кашен.— Я не агент. Я буду сообщать о вашем пребывании во Франции.

Он умолк, потом тихо произнес:

— Как вы располагаете своим свободным временем?

— Это для газеты?— спросил Мераби Луавсарбович.

Ален Кашен засмеялся.

— Нет. Очень советую вам выйти на Елисейские поля. Поднимитесь до площади, повернете налево и, не сворачивая, прямо до площади Шарля де Голля. Там стоит Триумфальная арка. Налево от арки — Елисейские поля. Кинотеатры, кафе. Советую посмотреть «Эммануэль». Правда, вам может и не понравиться, но... в нем не так уж много и порнографии... Жизнь женщины. Если не возражаете, я могу вас подвезти...

— Спасибо, сами найдем,— опередил Юсупова Мераби Луавсарбович и повернулся к репортеру спиной, давая знать, что разговор исчерпан.

Репортер прошел к «Ситроену», который стоял в десяти метрах от отеля, и вскоре автомобиль бесшумно тронулся с места.

Широкие, просторные Елисейские поля, залитые ярким разноцветным светом неоновых реклам, были заполнены гуляющими. По шоссе медленно, словно нехотя, тянулся поток автомашин. Юсупов и Мераби Луавсарбович ступали метр за метром, словно в огромной очереди; плотный, вязкий поток людей не позволял идти быстро. Наконец, они поравнялись с кинотеатром, подошли к кассе.

— Бичо, Джамал, ты каким иностранным языком владеешь?— спросил Мераби Луавсарбович, заглядывая из-за плеча Юсупова на молодую кассиршу.

— Английским, но кажется мне, что сами англичане придут в ужас от моего произношения.

— Англичане, но не французы. Ты, Джамал, будешь моим переводчиком.

— Зачем тебе переводчик? — усмехнулся Юсупов. — Вот здесь указана стоимость билета. Двадцать франков.

— Это сколько же на наши деньги... Три рубля?

— Точно.

— Три рубля один билет? Что же это за кино такое, три рубля один билет...

— Ну как, не пойдем?..

— Что же делать, бичо, пришли — нужно посмотреть,— тяжело вздохнул Мераби Луавсарбович.

У входа в зрительный зал контролер забрала у них билеты и протянула руку:

— Мсье, франк...

Юсупов опустил ей в ладонь монету. Она не открывала дверь и продолжала выжидающе глядеть на Мераби Луавсарбовича. Тот обратил непонимающий взгляд на Юсупова, протянул:

— Что ей еще надо?

— Наверное, и с тебя франк. Здесь принято давать чаевые, я слышал...

Юсупов протянул контролеру еще монету. Та натянуто улыбнулась, проговорила «мерси, мсье», провела их в зал, освещающую дорогу узким лучом фонарика и усадила на свободные места.

— За что франк? За это франк?— вздохнул Мераби Луавсарбович, тяжело втискиваясь в полумягкое кресло.

Вышли они из кинотеатра в первом часу ночи. Людей ничуть не убавилось. Они двигались так же плотно и медленно, как несколько часов назад, словно сбились с ритма времени.

4

Утром группы вылетели из Парижа: одна на северо-восток, другая на юг Франции.

В аэропорту Пари Орли Уэст, откуда предстояло вылететь в Тулузу, в сутолоке посадки Юсупов и Мераби Луавсарбович потеряли друг друга и Юсупов, поднявшись в самолет, сел в первое же свободное кресло. Он глянул на соседа и приятно поразился: это был репортер, назвавшийся вчера Аленом Кашеном.

— Как видите, лечу с вами,— сказал тот, снимая пиджак и удобно располагаясь в кресле.

Самолет французской авиакомпании «Меркурий» набрал высоту и пассажиры, отстегнув привязные ремни, занялись каждый своим делом. Одни смотрели в иллюминатор, другие пытались вздремнуть, третьи развернули свои кейс-атташе и принялись перелистывать деловые бумаги.

Стройная миловидная стюардесса прошла по салону, раздавая желающим газеты «Орор», «Фигаро», «Монд»... Затем молодой стюард принес стопку альбомов в твердом переплете.

Ален Кашен протянул руку, получил альбом и принялся внимательно разглядывать.

Юсупов закрыл глаза. Из дремотного состояния его вывели какие-то неразборчивые звуки. С трудом раскрыв глаза, он прислушался, глянул на Алена Кашена. Тот смачно щелкал языком и покачивал головой. Страницы альбома были заполнены порнографией.

— О-ля-ля,— воскликнул Ален Кашен, глянув на Юсупова. — Как вы относитесь к этой продукции? Конечно, отрицательно. Несомненно. А по мне, это красиво, эстетично. Гимн красоте человеческого тела.

Юсупов искоса глянул на соседа, остановил взгляд на разлете бровей и носе. Кого они мне напоминают,— спросил себя Юсупов и не смог найти ответа.

— Не кажется ли вам, что пропаганда секса опустошает душу человека, уводит от серьезных проблем? — спросил он соседа.

— Не кажется,— глаза соседа выражали ум и лукавство.— Куда опаснее пропаганда насилия. Одно время нас захлестнули гангстерские фильмы и фильмы ужасов. Они приносят больше вреда, психологически сильнее воздействуют на молодежь. А в пропаганде секса есть свои положительные стороны. — Ален Кашен замолчал, изучая очередное «произведение» в альбоме, потом продолжил. — Это выражение свободы. При всем при этом снижается сексуальная преступность.

Юсупов вспомнил фильм «Эммануэль», увиденный вчера на Елисейских полях. В полном удовлетворении эротических потребностей мужчины учили Эммануэль видеть свое предназначение как женщины. И ставили перед ней одну, но главную цель: как можно лучше, изощреннее подать себя. Юсупов собирался сказать свое мнение по этому поводу, но в это время самолет пошел на снижение, под фюзеляжем глухо стукнуло: машина выпустила шасси.

Мераби Луавсарбович уже стоял на твердой земле, когда Юсупов спускался по трапу.

— Бичо, где ты пропал, я подумал, не остался ли ты в Париже, а этот наш вчерашний репортер откуда взялся?

— Едет с нами, Мераби, будет о нас рассказывать всей Франции, вот какие мы с тобой важные персоны.

— Смейтесь, господа?

Юсупову показалось, что на лице Алена появилась улыбка.

— Да нет, шутим...— пожалел он репортера. И вдруг замер, застыл на слове. Уголки губ Алена Кашена были опущены, так знакомо опущены. Так опускались они у его бывшего друга детства, когда у того на душе бывало скверно и тоскливо, или он чувствовал себя в чем-то виноватым.

Громкий голос вернул Юсупова к действительности: Морис Дюнуа просил не отставать, их ждал автобус.

Машина мчалась по окрестностям Тулузы, а Юсупов спрашивал себя: почему я вспомнил его, прошло более тридцати лет, как он погиб, ушел навсегда, почему я сегодня вспомнил

его. Его образ, его лицо совершенно стерлось в моей памяти... Но.. помню, как опускались уголки губ, опускались точно как у этого репортера. Он был такого же роста, веселый, балагур... И надо же мне вспомнить его сегодня, здесь, на земле Франции.

— Наши тулузские друзья дают обед в вашу честь и приглашают вас в ресторан,—прервал его мысли голос Мориса Дюнуа.

В ответ раздались аплодисменты.

Автобус остановился у ресторана «Гамбринус». Он принадлежал сухопарому пожилому вьетнамцу. На стенах небольшого, но уютного зала висели пейзажи Вьетнама. Обслуживали вьетнамские юноши.

Тулузцы смешались с гостями и вели беседу: одни с помощью словарей, которые извлекли из карманов, другие подкрепляли свою речь жестами и взглядами. Вторая форма общения особенно забавляла Юсупова; наблюдая за соседями, он из всех сил пытался подавить клопочущий в груди смех, но когда Мераби Луавсарбович присоединился к ним, широко жестикулируя и показывая, как на Кавказе знают о Франции и уважают ее свободолюбивый народ, он расхохотался. Пожилой вьетнамец стоял за стойкой, с улыбкой глядя на гомонящих людей, и вовремя подсказывал подносить блюда и бутылки с вином.

Шум стих, когда из-за стола поднялся Морис Дюнуа и высокий француз, голубоглазый и с пышной шевелюрой.

— Прошу внимания.— Морис Дюнуа поднял руку.—Прошу внимания. Слово к советским товарищам имеет Анри Шантинье.

Анри Шантинье говорил по-французски, Морис Дюнуа переводил:

— Отец мой был участником движения сопротивления. В 1941 году, когда Францию оккупировали боши, он добыл журнал, изданный в подполье и вселявший надежду в сердца истинных французов. Уже после войны отец завещал мне подарить его советским друзьям. Сегодня я выполняю завет отца и передаю вам. Он называется «Битва под Москвой» и выпущен в октябре 1941 года.

Анри Шантинье протянул журнал руководителю делегации.

Юсупова растрогала сердечность сказанных Шантинье слов, и он вместе со всеми громко аплодировал голубоглазому французу и поднял бокал за дружбу и братство людей.

Поздно вечером уходили они из ресторана «Гамбринус», и пожилой вьетнамец, выйдя на улицу, каждому пожимал руку худыми, тонкими руками, а молодые низко кланялись, повторяя: «Спасибо, что пришли к нам».

Потом они долго бродили по улицам города и знакомились с вечерней Тулузой. Ресторанчики и кафе были заполнены молодежью. У кинотеатра, в котором шел фильм «Тринадцать жен Казановы», стояла длинная очередь. Большие окна пестрели порнографическими фотографиями. У подъездов домов в шортиках и майках с большим вырезом, подбоченясь, стояли девицы, позвякивая ключами.

Уже в отеле «Виктория», ложась в постель, Юсупов вдруг вспомнил, что не видел в «Гамбринусе» Алена Кашена. Отсутствие репортера удивило его и слегка озадачило.

— Мераби, ты не видел Алена Кашена.

Мераби Луавсарбович плескался в душевой.

— Нет, бичо, а что тебя волнует?

— Ничего. Просто так... спросил.

— Наверное, забыли пригласить.

— Забыли пригласить...— повторил Юсупов, закрыл глаза. И уснул.

5

Выезд в Кагор был назначен на одиннадцать часов, и после легкого завтрака, который состоял из ломтика поджаренного хлеба, булочки, кусочка сливочного масла, джема в коробочке и кофе, члены делегации вышли погулять по Тулузе. Было воскресенье, столы, палатки, расставленные на улицах, были завалены продуктами и промышленными товарами. У металлической ограды храма святого Сернино в окружении огромной толпы играли уличные музыканты и микрофон далеко разносил бешенный ритм мелодий.

— Джамал, как бы нам не потерять друг друга в этой сумасшедшей толпе,— сказал Мераби Луавсарбович, беря крепко за локоть Юсупова.

— Кому ты здесь нужен,— весело улыбнулся Юсупов, эта беззаботность и ликование толпы передавались и ему.

— А вот ты и не прав. Нужен. И нужен Алену Кашену. Вот он идет к нам.

К ним пробирался Ален Кашен. Он уже издали улыбался Юсупову.

— Послушай, почему тебя вчера не было с нами в «Гамбринусе»,— спросил Мераби Луавсарбович.

— В «Гамбринусе»? Ах да, был занят делами...

— Какие у тебя могут быть другие дела, если ты едешь писать о нас. Какой после этого ты репортер? Липовый ты репортер. У нас так говорят.

Юсупов заметил, как в глазах Алена Кашена промелькнуло напряжение, потом тот как-то через силу улыбнулся:

— Нет, серьезно, был занят делами, репортерскими.

— А что, у тебя еще и другие дела есть, может, ты еще какую-то группу сопровождаешь? — не унимался Мераби Луавсарбович. И, обратившись к Юсупову, с сожалением произнес:

— Нет, Джамал, ничего о нас в газетах писать не будут. Так думаю.

Выйдя на узкую улочку, они пошли вдоль небольших магазинов, осматривая богатые витрины. У одной из них Мераби Луавсарбович остановился и зацокал языком.

— Точно как на Кавказе. Только у нас лучше, у нас насаживают молодую овечку...

На вертеле медленно вращался большой, хорошо поджаренный гусь.

Вдруг до слуха Юсупова неясно донеслась грузинская речь. Он прислушался: не ошибся ли? Да, речь была грузинская. Юсупов поймал удивленно-заинтересованный взгляд Мераби Луавсарбовича и огляделся. Невдалеке от них, за лотком, заваленным товаром, молодой черноволосый мужчина разговаривал с мальчиком. Мераби Луавсарбович пожал плечами и проговорив — неужели грузин, — пошел к ним.

Когда Юсупов и Алена Кашен подошли к лоткам, Мераби Луавсарбович уже беседовал с женщиной, но тон у Мераби был сухой, даже суровый. Зато вид молодого человека был растерянный, жалкий и в глазах стояла грусть.

— Вот, пожалуйста, человек, продавший родину, — жестко сказал Мераби Луавсарбович, обратившись к Юсупову. — Ради чего продал? Скажи, ради чего?

— Не продавал я, — сказал по-русски молодой грузин, — клянусь сыном Жоржем, не продавал. Жорж, иди сюда.

Он поднял мальчика и посадил на товары.

— Ты посмотри на него!? — Изумленно протянул Мераби Луавсарбович. — Не продавал. Ты даже сына как зовешь? Жорж. А он кто? Георги, Георги, и еще раз запомни Георги. Вай бичо, — он вознес руки к небу, — ты такое красивое имя Георги превратил во что, а? Эх ты...

— Не продавал... — Молодой мужчина запнулся. — Это отец сорвался с родного места, брат его вызвал сюда. А дедовские законы какие... строгие законы. Я не мог послушаться отца. И поехал с ним. Всей семьей приехали. Будь проклят тот день...

Голос его захлебнулся.

— Почему ты день клянешь? День чем виноват? Свою дурную голову кляни.

— Все эти товары, этот магазин сейчас отдал бы, только бы

разрешили мне вернуться домой...— произнес молодой мужчина.

Мераби Луавсарбович взял на руки мальчика, тому было года три-четыре, прижал к груди и стал напевать ему тихо и протяжно по-грузински. Это была нежная и тоскливая песня, которая тревожила душу, и из глаз мужчины потекли слезы.

Юсупову стало больно смотреть на него. Он поднял голову: над узкой стеклянной дверью магазина висела броская реклама, на которой четкими, крупными буквами было написано «Вахтанг». Молодой мужчина перехватил взгляд Юсупова и тихо проговорил:

— Отец. Его имя.

— Мне не тебя жалко,— сказал Мераби Луавсарбович, нежно поцеловав мальчика в лоб и усадив на лавку,— ты большой дурак, вот этого дитя жалко. Какое у него будущее? И есть ли оно, а, скажи мне. Молчишь? Без родного языка, без своего народа может ли быть будущее? Дитя мне жалко. Георги жалко... Пойдем, Джамал, пора нам идти.

— Подождите, братья, возьмите от меня что-нибудь на память, какой-нибудь сувенир, я прошу вас,— горячо заговорил молодой мужчина.

— Ничего нам не надо,— оборвал его Мераби Луавсарбович.

— Ради всего святого. Умоляю вас, не обижайте меня. Ну хоть вот эти зажигалки. Сделайте для меня что-нибудь доброе, возьмите, пожалуйста...

— Возьмем, Мераби,— не выдержал Юсупов, ему было больно смотреть на молодого мужчину.— Пожалей его, возьмем...

— Ладно. Возьмем.— Мераби Луавсарбович полез в карман и вытащил набор открыток «Грузия».— А это возьми от нас. Не себе, ему сохрани, Георги, пусть хоть по картинкам представит Сакартвело. Нашу мать Сакартвело.

— Спасибо, братья,— голос молодого мужчины сорвался, он справился с собой и повторил,— спасибо, братья, за вашу доброту. Передайте мой самый низкий поклон земле Сакартвело.

— Прощай,— коротко сказал Мераби Луавсарбович, нагнувшись, поцеловал мальчика и пошел прочь.

В конце квартала он внезапно остановился, взглянул на Юсупова и, вскинув удивленно брови, спросил:

— Слушай, бичо, а куда девался наш репортер?

Они огляделись, но Алена Кашена нигде не было видно.

6

В винодельческом кооперативе под Кагором они пробыли до обеда. Их подробно познакомили с производством фирменного ви-

на «Кагор», водили по подвалам дегустировать напитки, а затем за долгим обеденным столом интересовались бытом и трудом сельскохозяйственных рабочих в Советском Союзе.

Не удержался, рассказал и Юсупов французским коллегам о своем хозяйстве, о том, что на смену ручному труду пришла механизация. Машины опрыскивают виноградники, машины убирают увесистые, полновесные гроздья, машины давят вино.

— И у вас нет безработных?— в один голос спросили сразу несколько членов правления кооператива.

— Наоборот, не хватает рабочих рук.

— То есть как?

— Каждый год закладываем под виноградники новые земли. Вот в этом только году заложили на двух тысячах гектарах.

— У вас так много земли?

— Завоевываем. Корчуем леса.

— Можете ему верить, как мне,— сказал Мераби Луавсарбович, держа в руках бокал с вином.— А я никогда не вру.

Кто-то из французов засмеялся. Мераби Луавсарбович глянул в сторону, откуда послышался смех, и повторил:

— Я никогда не вру. Посмотрите на меня, на мое лицо, в глаза, и вы убедитесь, что я не вру. Мы никогда не врем. Я был в республике, где живет Юсупов. Называется она Дагестан. Это значит—страна гор. Да, это край гор, но это край мужественных, трудолюбивых людей, которые на солончаках разбили плантации виноградников и собирают ягоды сладкие, как мед, и полновесные. И у нас нет секрета друг от друга. И в выращивании винограда и в производстве вина. Я это говорю и для репортажа, да, да, вот наш уважаемый мсье Ален Кашен что-то записывает, так знайте, что у нас нет производственных секретов друг от друга, мы едем перенимать их опыт работы, они берут наши, грузинские, виноградоуборочные комбайны. И за столом соревнуемся друг с другом: у нас хинкали и у них хинкал, у нас шашлыки и у них шашлык, у нас вкусные лепешки пекут в тандыре и у них, у нас вино пьют бурдюками и у них...

Последние слова вызвали аплодисменты и смех.

— А как велик ваш Дагестан?— спросил Ален Кашен, аккуратно разрезая большой кусок телятины и глядя в тарелку.

— Для меня он велик.

— Вы сами родом из какого селения?— перебил его Ален Кашен.

— Я?— Юсупов улыбнулся.— Что вам даст название аула? Из Зубутли.

— Зубутли...— повторил Ален Кашен.— Зубутли...

— Вы правильно произносите это название. Оно вам встречалось?— спросил Юсупов.

— Пардон, где оно может мне встретиться,— ответил Ален Кашен, не поднимая глаз от тарелки и медленно, неаппетитно жуя.— Звучание слогов красивое.

— Красивое...— задумчиво проговорил Юсупов,— но аула Зубутли уже нет...

— Как нет..? — Ален Кашен поднял глаза.

Юсупов взглянул на него, и взгляд его снова замер на бровях и резко очерченном носе; чего он испугался, подумал Юсупов, как будто ему есть какое-то дело до зубутлинцев и их судьбы.

— Землетрясение разрушило аул,— сказал Юсупов.

— Разрушило... аул? И все погибли?

— Никто не погиб.

— Как же так... аул разрушен и никто не погиб? Ни дети, ни женщины?

— Вот так, никто не погиб. Ни один человек.

— И вы восстановили развалины?

— Зачем их восстанавливать? Переселились на плоскость, государство построило новые дома, выделило землю и вырос новый Зубутли. Намного краше того, что был затерян в горах.

— Значит, переехали все, говорите?

— Ну, конечно. До последнего старика. А что это вас так волнует?

— Интересует,— поправил его Ален Кашен. — Интересует, как человека другого мира.

— Очень уж обстоятельства вас интересуют.

— Как репортера,— грустно улыбнулся Ален Кашен и Юсупов снова обратил внимание, как опустились уголки его губ.

— Но писать об этом не стоит. Факт устарел.

— Как так? — не понял Ален Кашен.

— Восемь лет прошло, как появился новый Зубутли.

— И зубутлинцы довольны новым местом?

— Не то слово. Счастливы.

— Все?

— Безусловно.

— Послушайте, мне скучно от этих разговоров, дайте мне сказать тост,— поднялся Мераби Луавсарбович.

7

В Кагор въехали после полудня. Город, построенный в тринадцатом-четырнадцатом веках и сохранивший свои узкие, тесные улочки, каменные дома и мосты, встретил их щедрым

солнцем. Здесь, в провинции, жизнь текла мерно и однообразно. Не было толп людей, уличного шума. В небольших скверах молодежь, да и пожилые мужчины, играли в буль.

Ужин, проходивший в ресторане «Шартрез», на противоположном берегу Гаронны, был обильным и долгим, но Юсупову запомнился луковый суп, знаменитый луковый суп, которым гордилась и славилась Франция. Он очень напоминал Юсупову азербайджанское пити, только он был без гороха и мяса.

Поздно вечером автобус въехал на авеню Жана Жореса и остановился у «Отель де Франс». Гости и хозяева высыпали на улицу, продолжая свои незаконченные беседы, когда кто-то из кагорцев предложил съездить на сельский праздник. Предложение вначале было выслушано без внимания, затем к нему проявили интерес.

— Приехать во Францию и не видеть сельского праздника. Мы себе этого не простим,— проговорил Юсупов.— Недалеко? — спросил он своего недавнего соседа по столу Габриэля, мужчину с волевым лицом и проницательными глазами.

Тот, очевидно, по смыслу понял гостя.

— Нон, нон,— и стал что-то быстро объяснять Алену Кашену.

— Полчаса езды, — перевел Ален Кашен. — Этот праздник проводится раз в год, когда кончаются сельскохозяйственные работы.

Наконец решение было принято.

Габриэль пригласил в свою «Симку» Мераби Луавсарбовича, Юсупова и Алена Кашена, машина заюлила по улочкам впереди автобуса и выскочила на темную дорогу.

— Послушай, друг, не гони так свою арбу, не то загрохочет вниз,— попросил Мераби Луавсарбович после недолгого молчания и обратился к Алену Кашену.— Переведи ему мою просьбу.

Выслушав репортера, Габриэль залиvisto расхохотался.

— Не бойтесь, я ас, ас, понимаете?— Он повернулся к Мераби Луавсарбовичу и тому пришлось громко воскликнуть:

— Вай, бичо, смотри лучше вперед, езжай хоть как дьявол, только смотри вперед.

Ален Кашен переводил, безучастный к осторожности Мераби Луавсарбовича и задору Габриэля.

— Ты, друг, не привык к горам. Откуда сам?— Габриэль улыбался.

— С Кавказа. Из Грузии,— подчеркнуто сказал Мераби Луавсарбович.

— О, Кавказ,— громко, восхищенно воскликнул Габриэль, словно Кавказ был колыбелью его детства.

— А мой друг из Дагестана, — добавил Мераби Луавсарбович.

— О, Дагестан! — опять воскликнул Габриэль, обернулся, взглянул пристально на Юсупова и сказал. — Нет, испанец.

— Э, бичо, дагестанец он, — недовольно буркнул Мераби Луавсарбович.

— Нет, испанец, он очень похож на испанца.

— Вай, бичо, пусть будет испанец, только смотри на дорогу.

За разговорами не заметил, как прошло уже сорок минут, впереди было темно, и с боков теснила непроглядная ночь. Не завезет ли он нас куда-нибудь, — шевельнулась в мозгу у Юсупова пугливая мысль и тут же исчезла. — Не должен. А вообще, кто его знает, что он за человек. Вот и этот репортер кажется положительным, а я ему не верю... Сердце не верит, не расположено к нему.

Словно угадав его мысли, Ален Кашен, не оборачиваясь, сказал:

— Не волнуйтесь, никуда не завезет. — И замолчал.

Наконец, темную завесу ночи прорвали электрические огни. «Симка» въезжала в деревенскую улицу.

Когда Юсупов вышел из машины, его обдал колющий горный воздух и запах хлеба.

Где-то за двухэтажными домами гремела музыка, колыхался смех, вспыхивали сполохи света. Наконец, подъехал отставший автобус, и хозяева и гости направились на площадь.

То, что увидел Юсупов, превзошло все его ожидания.

Деревенская площадь, высвеченная сотнями лампочек, была забита людьми. На эстраде гремел джаз-оркестр и пели, сменяя друг друга, шансонье, натужно скрипели чертово колесо, качели и карусели, с грохотом катился по доске металлический шар, собирая на игру в буль все больше желающих состязаться в точности удара, в шум и гам врывались голоса продавцов-лоточников и над всем этим веселым хаосом ночи висел ароматный запах мяса и лепешек, поднимавшийся от жаровен.

Несколько человек из делегации не удержались и, ступив на бетонную площадку, вошли в круг танцующих. Здесь не надо было никого приглашать, не надо было никого поддерживать за локоть, просто следовало пристроиться к танцующим и выкидывать кренделя.

Юсупов не совладал с собой; он тоже принялся подпрыгивать и протирать бетон подошвами туфель, и не заметил, сколько времени провел на площадке. Лишь когда умолкла музыка и шансонье сошел с эстрады, почувствовал, что покрылся испариной, и улыбнулся про себя. Ну надо же такое, подумал он, не захочешь — заставят тебя плясать.

Потом французские друзья пригласили своих гостей в таверну на кружку пива. Рассевшись за длинный дубовый стол и обняв друг друга за плечи, они, не договариваясь, запели «Большие Бульвары», потом «Парижского гамена», затем Габриэль, взмахнул руками, бросив взгляд на Юсупова, провозгласил — «Казачок». И Юсупов тихо, но как-то уверенно, спокойно затынул «Катюшу» и его поддержали все. Но то, что увидел Юсупов, поразило его. Заслышав песню, часть присутствующих, оставив недопитыми кружки, встали с недовольной grimасой на лице и покинули таверну. Оставшиеся, повернувшись к поющим, дружелюбно улыбались и, хлопая в ладоши, подпевали им. Подпевали полнолицый добродушный хозяин таверны, его супруга со спокойно сложенными на груди руками, а в дверь просовывались удивленные крестьяне, озирая присутствующих, и рассаживаясь за столы, повернув лица к поющим.

Юсупов впервые увидел воочию, как песня разъединяла людей, расставляла на две стороны.

Спустя полчаса Габриэль мчал автомобиль вниз, по крутой темной дороге. Она показалась Юсупову не той, по которой они ехали в деревню, и он спросил об этом Габриэля.

— Верно, мсье, не та. Я хочу показать вам наши исторические памятники.

Проехав с десять километров, он остановил машину у глухой высокой стены. Вышли из машины неохотно. Юсупова окатила волна холодного горного воздуха. Ясная полная луна освещала большой мрачный затаившийся монастырь.

— Построен в тринадцатом веке, — объяснял Габриэль, лихорадочно бегая у стены. — Римляне не сумели его взять, оставили и пошли дальше. Но на их пути встал Каркассон, который не позволил им продвинуться вперед. От Каркассона они отошли назад. Если желаете, я повезу вас завтра в Каркассон.

— Нам и этого хватит, бичо, — сказал Мераби Луавсарбович, садясь в машину. — У нас в горах такие монастыри один на другом сидят...

— Поехали, мсье, — поддержал и Ален Кашен, он был мрачен и хмур.

Через некоторое время машина пробежала вдоль реки, миновала кемпинг, влетела в улочки и заюлила по ним. Она остановилась, прижатая несколькими каменными домами: Габриэль направил свет фар на четырехэтажный.

— Куда мы приехали? — устало спросил Мераби Луавсарбович.

— В Кагор. Я хочу показать вам исторические памятники города.

Габриэль подбежал к воротам дома, открыл калитку. Юсупов

последовал за ним; перешагнув высокий порог, он вошел во дворик. На него пахнуло сыростью, мимо головы пролетела летучая мышь, одна, другая.

— Не пугайтесь, я сейчас включу свет.

Щелкнул выключатель, света не было.

— Этот маленький монастырь сохранился с тринадцатого века, более шести столетий ему. Пойдемте, я вам покажу колокольню. С нее хорошо просматривается город.

Ален Кашен что-то сердито сказал Габриэлю, тот не ответил и полез по винтовой лестнице наверх.

— Поднимайтесь осторожно, держитесь за перила.

Юсупов обратил внимание, что на каждой площадке у дверей стояли умывальники, к дверям были прибиты почтовые ящики. Габриэль тут же удовлетворил его ответ и говорил долго и живо, но Ален Кашен перевел коротко:

— Здесь сейчас живут люди.

— Наверное, переоборудовали бывшие кельи? — допытывался Юсупов.

— Да, но это тянется издавна, не сегодня.

— Я представляю, как им живется в этом каменном мешке, — сказал Юсупов.

Ален Кашен не ответил.

— Габриэль, кто живет здесь? — Юсупов попытался подобрать французские слова, но отказался от этой попытки и спросил по-английски.

— Живет кто? Португальцы, алжирцы... Ах, дьявол, не повезло нам, колокольня закрыта...

Спускались медленно, осторожно, гуськом по крутым ступенькам, по спине пробегал озноб от непроглядной тьмы, сырости и писка летучих мышей.

Выехав из узкой улочки, Габриэль пересек небольшую площадь и остановился в темном дворе. Он уверенно чувствовал себя в лабиринте темных переулков, тупиков, площадей и улиц.

— Следуйте за мной... Поднимитесь сюда, на эту веранду...

Юсупов осторожно поднялся по шатким, скрипучим деревянным ступенькам на второй этаж, невольно обратив внимание на оригинальной формы перила, балюстраду, наличники и думал уже задать вопрос Габриэлю, как тот опередил его.

— Это старина, эпоха Ренессанса. Время Людовика Тринадцатого.

— Вай, дед, — произнес Мераби Луавсарбович, стоявший под балконами. — Здесь все держится на честном слове.

— Дом находится в аварийном состоянии, но мы заставим муниципалитет его реставрировать. Наш мэр любит историю. Только вот средств не хватает на восстановление памятников.

В доме раздались шаги, где-то стукнуло. Стихло.

— Что это?— спросил удивленно Юсупов.

— Наверное, мы их разбудили,— сказал Габриэль.

— Как, здесь тоже живут?

— Живут.

Во дворе, вдоль глухой стены стояли под открытым небом подержанные, выдавшие виды машины. Ален Кашен на этот раз из автомобиля не выходил: он сидел, откинув голову на спинку сиденья и, казалось, дремал.

8

На исходе недели вернулись в Париж. Во второй приезд, а день был ослепительно яркий, город изумил Юсупова. Тяжелый и хмурый в сырую погоду, в солнечную он оказался сказочным. И ажурные решетки балконов, опоясавшие стены, как кружева, и мансарды, лукаво глядящие из-под крыш, и белокаменные церкви— все радовало глаз, придавало праздничность.

Юсупова особенно поразило одно видение: в голубовато-золотистом воздухе неподвижно застыло белое, как снег, строение. Основания его не было видно, и казалось, строение повисло в воздухе. Это был Сакре-Кёр.

Вообще этот день преподнес Юсупову много сюрпризов. Из аэропорта Пари Орли Уэст их привезли в гостиницу «Астория» на улицу Москвы. Мераби Луавсарбович ахал и удивлялся: как это так, в буржуазной стране и вдруг... улица Москвы. А спустя несколько часов они уже гуляли по улице Ленинграда и Севастопольскому бульвару, любовались площадью Сталинграда и Дягилева. Потом они вышли на Королевскую улицу и вскоре оказались у Собора Парижской Богоматери. Вблизи это громадное каменное здание поразило друзей архитектурным изяществом: ажурностью, легкостью, и еще свисавшими с карнизов страшными химерами.

Собор был набит до отказа туристами и парижанами. Орган извергал из себя фуги Баха. Юсупов и Мераби Луавсарбович простояли целый час, не замечая времени, наслаждались музыкой.

Затем они бродили по Пер-Лашез, и Пер-Лашез стоил того, чтобы на него потратили деньги, как заметил Мераби Луавсарбович.

— Послушай, Мераби, куда теперь повести тебя?— спросил Юсупов, чтобы прервать излишества друга.

— Ты так говоришь, будто знаешь Париж!—удивился тот.

— А зачем его знать? Если его знать, он уже не интересен.

Вот, у меня карта, смотри. Площадь Шарля де Голля, площадь Согласия, а вот и Эйфелева башня...

— Эйфелеву башню хочу.

— Понял. Башня так башня.

Когда подошли к Эйфелевой башне, она немного разочаровала обоих друзей. Издали казавшаяся изящной, легкой, ажурной, вблизи она представляла собой грубое переплетение металла. Соместный лифт поднял Юсупова и Мераби Луавсарбовича на третью смотровую площадку. Внизу лежал Париж, зеленые бульвары и просторные чаши площадей. На острове Сите, окаймленном Сеной, торчал, как пуп, Нотр Дам де Пари, на Монмартрском холме, как кусок искрящегося сахара, белел Сакре-Кёр, друзья отыскивали длинное тело Лувра, Дворец Мазарини, стали искать свой отель, но тщетно. Потом они зашли в кафе, которое расположилось тут же на площадке, заказали ужин и бутылку martini.

— Добрый день, господа!

Юсупов и Мераби Луавсарбович одновременно подняли головы.

У столика стоял Ален Кашен.

— Вы не возражаете, если я присяду к вам?

— Садитесь, репортер, садитесь,— с набитым ртом проговорил Мераби Луавсарбович.— Я все жду репортажей, когда они будут?

— Будут,— произнес Ален Кашен, подозвал официанта и сделал заказ.— Мне передали, что вы пошли гулять по Парижу.

— Верно передали,— сказал Юсупов.— В нашем активе остался еще один день — послезавтра. Так что предстоит побегать много.

— А завтра? Вы его зачеркиваете?

— Завтрашний день мы посвятим празднику «Юманите».

— В вашем распоряжении моя машина.

— Спасибо. Мы любим пешком, не так ли, Мераби?

— Так, бичо, так больше увидим...

— И что же вы увидели сегодня?

— Многое.

— И Пер-Лашез,— добавил Мераби Луавсарбович.

— Стоило ли на него терять время?— произнес Ален Кашен и осекся.

Юсупов и Мераби Луавсарбович подняли глаза, переглянулись, но ничего не сказали.

— Я хотел сказать, что вы не должны упустить ночной Монмартр, Пигаль...

— Мы как-то последовали вашему совету, посмотрели фильм,— сказал Юсупов.

— Я думаю, не разочаровались. О Франции надо иметь широкое представление,— ответил Ален Кашен и пригубил бокал с вином.— А Париж без Монмартра это еще не Париж, впрочем, как и без Пер Лашез.

— Послушай, репортер, почему тебе не нравится Пер-Лашез?— резко бросил Мераби Луавсарович, глядя Алену Кашену прямо в глаза.

Тот опустил голову, постучал ногтями о ножку бокала, наигранно улыбнулся.

— Вы меня неправильно поняли.

— Правильно, правильно понял. — В голосе Мераби Луавсаровича появилась жестокость.— Мы еще и в квартиру-музей Ленина сходим. И куда нам идти— наше дело. А ты лучше займись репортерскими делами.

За столиком воцарилась тишина.

— Извините, если я вас чем-нибудь обидел, — проговорил Ален Кашен. — Я не хотел этого. Я все думал, как вас можно пригласить в гости к себе.

— За это спасибо, но мы в гости ходим к хорошим друзьям, а кто вы такой, мы еще и не поняли. Я так говорю, Джамал?

Юсупов заметил, как Ален Кашен вздрогнул.

— Резковато, но так.

Немного погодя Ален Кашен попрощался и, сославшись на занятость, ушел.

— Нет, Джамал, не репортер он,— сказал после долгого молчания Мераби Луавсарович.

— Почему ты так думаешь?

— За это время можно было бы что-то написать о нас, о нашей делегации.

— И я так думаю.

— А он ничего не написал, а ходит вокруг нас, как... У вас в горах волки есть?

Юсупов удивленно взглянул на Мераби Луавсаровича.

— Не видел. Наверное есть, где их нет. А что?

— У нас есть, бичо. Я знаю, как они ходят. А черт с ними, с волками и с этим репортером. Пойдем-ка посмотрим еще раз на Париж.

Они вышли на площадку и облокотились на перила. Облитый закатным светом, внизу лежал город.

На следующий день после завтрака советская группа на автобусе отправилась в пригород Парижа Сен-Дени. Здесь, в лесопарке, отмечался ежегодный праздник газеты «Юманите», ставший во Франции национальным.

Направляясь сюда, Юсупов не мог даже представить себе, что этот праздник может собрать сто тысяч человек. Да, сто тысяч... Просторные площадки, широкие улицы, примыкающие к лесопарку, были забиты тысячами и тысячами автомашин. Люди шли сплошным непрерывным потоком.

В лесопарке стоял невообразимый шум. Песни, разливавшиеся из репродукторов, срывавшиеся с эстрад и театрализованных площадок, песни на разных языках, разных ритмов и мелодий — все смешалось в какую-то яркую, громкую какофонию, от которой закладывало уши, до одури пухла голова и становилось ужасно весело, именно ужасно весело.

Несколько аллей парка занимала ярмарка. Здесь расположились павильоны почти всех стран мира. У павильона СССР выстроилась длинная очередь: люди выносили книги, балалайки, самовары, различные сувениры. Юсупову захотелось войти в павильон, но группа ушла далеко вперед и Мераби Луавсарбович, схватив его за локоть, потащил за собой.

— Вай, здесь как на добрых старых восточных базарах, — удивленно бубнил он.

Соседние аллеи занимали аттракционы. Каких только «чертовых колес», «аэродинамических труб», «монорельсовых дорог» здесь не было... Все гудело, скрежетало, скрипело, ухало, визжало, кричало. В один непонятный, неимоверно огромный ком слились звуки и шумы металла и двигателей, голоса и смех людей. А чуть поодаль — лавки, лотки, киоски, в которых продавалась и всякая снедь, и различные товары, у которых тоже стояли толпы людей.

Над соседними аллеями воздух стоял аппетитный и вкусный: приходилось ежеминутно глотать слюну. Над ресторанами, кафе, бистро пахло жареным мясом, бисквитами, кофе.

Юсупов ходил по лесопарку и не переставал удивляться тому, как умело организовали свой праздник французские коммунисты. Люди здесь слушали музыку, смотрели танцы народов мира, выступления чтецов и шансонье, в павильонах знакомились с экономикой, культурой, социальным строем различных государств, делали покупки, отдыхали за столиками ресторанов. На открытых полянках лесопарка были разбиты палаточные городки теми, кто приехал на праздник изда-лека.

Слух Юсупова уловил знакомую мелодию. Он остановился, переглянулся с Мераби Луавсарбовичем.

— Ты слышишь, Мераби.

— Бичо, это же русские поют... Послушайте, друзья, наши поют,— громко обратился он к членам делегации.

На эстраде, которую обступила тысячная толпа французов, пел хор Большого театра. А когда солист хора Евгений Нестеренко исполнил «Песню о Ленине», французы разразились бурной овацией. К горлу Юсупова подкатил комок, и вдруг так нестерпимо захотелось домой, на свою землю...

— Бис, браво, — орал рядом Мераби Луавсарбович, оглушительно хлопая в ладоши.

— Ты что разошелся? — улыбнулся Юсупов.

— Что разошелся? Бичо, свои поют, наши, родные, что разошелся говорит...

Юсупов отвел взгляд от эстрады, огляделся. Членов делегации не было видно.

— Мераби, куда все подевались? — спросил он.

— Отошли, наверное. А что ты волнуешься? Вон сколько вокруг друзей.

— Пойдем искать своих, — сказал Юсупов. — Мне кажется, они пошли на обед.

— На обед, так на обед... Бичо, что здесь раздают...

У большого павильона группа молодых людей предлагала желающим анкеты. Юсупов взял одну, пробежал по ней глазами и вернул.

— Что там написано? — Мераби разбирало любопытство.

— Анкеты для вступления в компартию. Надо ее заполнить и сдать, а завтра зайти в комитет и получить партийный билет.

Мераби Луавсарбович остановился и, округлив глаза, проговорил:

— Ты что: меня за дурака принимаешь?..

— Нет, Мераби, — засмеялся Юсупов. — Здесь так принимают в партию. Но удивлению Мераби Луавсарбовича не дали развиться. Рядом с Юсуповым остановился полицейский, взял за локоть и, что-то говоря по-французски, силой попытался отвести его в сторону. Юсупов вырвал руку и резко по-русски спросил:

— Что случилось?

Полицейский, здоровый детина, хмуро глядя на него, опять что-то сказал.

— Я не знаю французского, говорите по-английски. Что случилось?

Рядом с Юсуповым оказался второй полицейский, который взял было его за руку, но подошедший Мераби Луавсарбович,

улыбаясь, схватил железными пальцами его за кисть руки и оторвал от Юсупова со словами:

— Ты советских людей так грубо не хватай своими лапами.

Вокруг смыкалось кольцо любопытствующих, то и дело раздавались слова «Советика», «Моску»...

— Мераби, не груби, — предупредил Юсупов.

— Бичо, ты не волнуйся, и я не волнуюсь.

— Кто здесь знает английский язык? — спросил громко Юсупов. Отозвалось сразу несколько голосов.

— Я буду говорить по-английски, а вы переводите на французский. Спросите их, что им от нас нужно?

— Говорят, вы вели политическую пропаганду.

— В чем они конкретно обвиняют нас?

— Вы выступали против правительства.

— Ложь. Пусть спросят свидетелей. Вот они, рядом. У этого молодого человека я брал посмотреть анкету. Пусть он подтвердит обвинение полицейского.

— Он заявляет: вы ничего не говорили.

— Это удовлетворяет полицейского?

— Он не доверяет коммунисту.

Юсупов улынулся:

— Я тоже коммунист. Он и мне не верит. Спросите у молодых, стоящих с анкетами, выступали ли мы с политической агитацией.

— Нон, — пронеслось над головой. — Нон.

— И это не удовлетворяет полицейского? Тогда спросите их: советские люди, коммунисты интересуются: где те демократические свободы, которые предоставляет народу буржуазное общество?

Раздался смех, хлопки в ладоши. На лицах полицейских появилась растерянность, но в эту минуту в толпу втиснулся Ален Кашен и удивленно развел руками:

— Что здесь происходит? Как понимать этот сбор?

— Митингуем, — улыбнулся Юсупов, — настоятельно советуем вашим полицейским вступить в партию.

— А может, они уже являются членами одной из партий?

— В таком случае надо уважать права человека.

— Что же все-таки случилось?

— Спросите у них сами. Вам легче найти общий язык.

Ален Кашен повернулся к полицейским, о чем-то пошептался с ними, потом раскрыл удостоверение, захлопнул и спрятал.

Полицейские откозыряли и отошли, толпа постепенно рассеялась.

— Тебя признали? — спросил Мераби Луавсарбович. — За своего признали, ни слова в ответ, под козырек и ушли?

— Репортеров они знают,— проговорил Ален Кашен.

— Репортеров они бьют, это точно. Конечно не всех, с таким, как ты, они дружат. Таких они знают. Пойдем, Джамал, пора и нам обедать.

Мераби Луавсарбович взял Юсупова под руку и увлек за собой, приговаривая: репортер, за все эти дни ни одной доброй строчки о нас не сказал.

— Может быть, он готовит большой аналитический обзор,— сказал Юсупов, хитро искоса глянув на Мераби Луавсарбовича.

Тот переждал минуту и произнес:

— Что от него можно ожидать, я знаю: только мы уедем, он разразится бранью против нас. Помяни мое слово. Чем так вкусно пахнет? Вай, деда, жареным луком. Какой аромат, Джамал, давно такого аромата не слышал. Что это может быть?

— Наверное, луковый суп.

— Не могу устоять перед таким вкусным запахом. Пойдем? — И он умоляюще глянул на Юсупова.

— Ну, если только не можешь, пойдем, — засмеялся Юсупов, и они вошли в ресторан и приятно удивились: за столами сидели свои, члены делегации.

В последний день Юсупов и Мераби Луавсарбович отправились в Лувр. Пробежав по залам музея в поисках Джоконды, потом, наглядевшись на нее, они смотрели картины Рубенса, Ренуара, Рембрандта, Ван Гога и направились в Дом-музей Родена. Уже в конце дня богатые впечатлениями и немного уставшие, Юсупов и Мераби Луавсарбович зашли в кафе.

— Теперь нам осталось взобраться на Монмартр, — сказал Юсупов.

— Зачем взбираться, бичо, когда есть метро,— отозвался Мераби Луавсарбович.

— И то правда.

Монмартр, увенчанный беломраморным Сакре-Кёр, поразил друзей. Немного позже, спускаясь по узким, темным улочкам, забитым девицами легкого поведения, они дали ему яркую характеристику: беспутный король с сияющей короной на голове. А сейчас они с интересом осматривали собор. Потом полные впечатлений от увиденного, свернули вправо и вышли в сквер, гудевший разноязычной речью. Длинная и высокая ограда сквера, стволы деревьев, стены кафе и ресторанов—все было увешано картинами: рисунками, эстампами и добротными живописными полотнами, а на небольшого размера листах плотной бумаги сочными красками были написаны гамен, собор Парижской богоматери, Набережная Сены, Большие Бульвары в вечерних огнях, Елисейские поля... И сотни людей топтались, охали и ахали, любопытные взирали на их авторов, шарахались, под-

талкиваемые толпой, от одной группы картин к другой, от одного художника к другому.

Художники не обращали внимания на толпы людей. Одни сидели скучные, подперев подбородок кулаком, другие здесь же рисовали, стоя у небольшого мольберта. Но и те и эти томились в ожидании покупателя.

— Бичо, это тот собор, в котором мы были? — обратился Мераби Луавсарбович к Юсупову, остановившись у гирлянды картин.

— Ты угадал, Мераби.

— Я хочу взять его и вот эту, «Букинисты на набережной Сены». Надо же что-то взять на память о Париже. Интересно, сколько стоит каждая из них?

— Семь франков. Вот, в уголке — цена.

— Семь франков... Это сколько же на наши... Рубль пять копеек.

Мераби Луавсарбович подошел к владельцу гирлянды:

— Слушай, давай за пять франков, — он растопырил пальцы руки, — пять франков, три картины возьму.

— Нон-нон, — замотал лохматой головой художник.

— Три возьму за пять франков, не понимает, пять, пять и пять, — Мераби Луавсарбович три раза поднял и опустил растопыренную пятерню.

Художник, очевидно поняв его, вдруг закивал согласно и повел пальцем по картинам: какие желает покупатель? Затем аккуратно свернул в трубочку, обернул бумагой и перевязал ленточкой.

— Джамал, а ты ничего не берешь в память о Париже?

— Присмотрюсь, Мераби, пока не подобрал.

Они вышли из толчеи сквера и углубились в небольшую площадь, забитую людьми. Какофония, хохот, визг — все слилось здесь в большой замысловатый клубок звуков. Несколько небольших оркестров играли поп-музыку, захлебываясь, пели шансонье на пяточке. Мужчина в трико красного цвета и две полубнаженные женщины выделяли акробатические трюки.

— У меня дуреет голова от этого базара, — проговорил устало Мераби Луавсарбович, — пойдем отсюда.

Они вышли на узкую улочку, полуосвещенную и покатую. Дома на ней стояли двухэтажные, каменные, от которых веяло холодом. Вдоль стен, одни подбоченясь, другие выставив похотливо бедро, третьи с гордо поднятой головой стояли девицы, позванивая ключами.

Юсупов и Мераби Луавсарбович осторожно пошли по мостовой, стараясь не смотреть на девиц, не привлекать их внимания.

— О всемогущий,—вдруг прошептал Мераби Луавсарбович,— дай нам с честью выйти из этого ада...

— Бога вспомнил,— проговорил Юсупов.

— Тут и бога вспомнишь, и черта...

Вдруг Юсупов почувствовал прикосновение чьих-то пальцев на плече. Он замедлил шаг, остановился, обернулся. Женщина была молодая. От нее исходил тонкий, чудный запах.

— Я вас не понял, мадам,— сказал Юсупов по-английски.

— О, мсье не француз. Сэр, не хотите ли побыть со мной?— спросила она на плохом английском языке.

— Нет, мадам, не могу...

Юсупов пытался отвести глаза от ее высокой красивой шеи и тугой груди и не мог.

— Пусть это вас не беспокоит.— Улыбка тронула ее чувственные губы.— Я помогу.

— Нет, мадам, не поможете. У меня нет денег.

— Мужчина ночью на Монмартре и без денег?

Она что-то еще сказала по-французски под хохот подруг, фыркнула и отошла.

Юсупов облегченно вздохнул и последовал за Мераби Луавсарбовичем, дожидавшимся его чуть поодаль:

— Если каждая будет подходить, бичо, и ослеплять своими прелестями, я не устою.

— Они сами устоят, успокойся. Тебе нечем им платить.

— Почему ты думаешь—нечем. Если надо—наскребу.

Мераби Луавсарбович замолчал, потом проговорил:

— Жалко мне их, брат Джамал, по-человечески жалко. Они не знают настоящей любви. Жалко...—коротко заключил он.

Они спустились по длинной каменной лестнице, свернули налево. Их внимание привлек мягкий голубой свет, который исходил из окна бара и растекался по тротуару.

— С удовольствием выпил бы кружку пива,— сказал Мераби Луавсарбович.

— И я непрочь,— отозвался Юсупов.

Он открыл дверь и переступил порог. На высоких стульях за стойкой сидели две девицы, обнаженные. Закинув ногу на ногу, они попыхивали сигаретами, держа их в длинных пальцах. На стойке стояли два фужера с жидкостью на дне.

— Пардон, мадам,— произнес Юсупов, делая шаг назад.

— О, заходите, мсье,— одна из женщин соскочила на пол,— мы ждем...

Только сейчас Юсупов заметил, что на ногах у них были красные чулки и такого же цвета туфли.

— Пардон, мадам,— снова проговорил Юсупов.— Мы ошиблись.

Перед ним стояла совершенно голая женщина, и он даже растерялся.

— О, мсье не француз?— женщина сложила губы трубочкой и округлила глаза.— Англичанин? Мне нравятся англичане, а тебе, Мими?

Она обернулась к подруге, и в эту секунду Юсупов бесшумно ступил за порог и вышел на улицу. Повернувшись и не увидев клиента, женщина подбежала к окну, и, прижавшись лицом к стеклу, застучала по нему пальцами. Юсупов с другом, не оборачиваясь, заспешили подальше от злчного места. Метров через тридцать они опять набрали на бар с девицами, потом еще... Улочка, и следующие, по которой друзья торопливо спускались, были напичканы интимными барами.

Наконец, друзья вышли на широкую улицу. И застыли. После тихих и полутемных улочек им показалось, что над головой гремят раскаты грома и полыхают молнии. Их окатило шумом и светом. Юсупов зажмурился, потом открыл глаза. Сотни лампочек и фонарей, неоновых трубок и реклам ослепительно горели, перемигивались, выплескивая на тротуары яркие цвета: зеленые, желтые, синие, голубые, красные, фиолетовые, образуя сполохи. Потом Юсупова оглушил шум: гудки клаксонов и рев моторов автомашин, громкая разноязыкая речь, смех. И над всем этим хаосом стоял смрад выхлопных газов, запах жареного мяса, духов и пота.

Юсупов и Мераби Луавсарбович пошли по улице, оглядывая рекламы. Всюду пылали слова: «Секс шоп», «Порно шоп», «Салон эротика»... Из баров и ресторанов вырывалась музыка.

— Джамал, брат мой, можно ли, посетив Париж, не побывать хотя бы в одном таком магазине? Простим ли мы себе это?— спросил осторожно Мераби Луавсарбович, с удивлением взирая вокруг.

— В каком магазине, Мераби?

— Ну, в таком «секс шоп».

Юсупов засмеялся:

— Уже усвоил.

Они переступили порог магазина вслед за шумной группой итальянских туристов. Книжные полки буквально ломились от порнографической литературы.

— Вай, деда, — прошептал ошарашенный Мераби Луавсарбович, — не знаю, как все это назвать. Слушай, Джамал, а что в другой комнате?

— Сейчас посмотрим.

Вторая комната была разделена на кабины, задвинутые шторами. Юсупов раздвинул штору: тесно прижавшись друг к другу, юноша и девушка смотрели в окошко.

Юсупов извинился, на что те не обратили никакого внимания, вошел в другую, свободную.

— Садись, Мераби, и задвинь штору. Мне кажется, это кино. Видишь, в эту щелку надо опустить пять франков, и смотри на здоровье...

— Проверим твои предположения...

Мераби Луавсарбович просунул в щель пять однофранковых монет, за стеклом вспыхнул экран... Совершенно обнаженные люди предавались любви.

Фильм длился двадцать минут.

— Вот это тоже Париж,— сказал Мераби Луавсарбович, выходя из магазина вслед за Юсуповым.

Они молча прошли мимо Мулен Руж, на котором бесшумно вращались темные крылья ветряной мельницы, когда перед ними встал крупный мужчина в темном клубном костюме. Он что-то сказал, потом повторил по-английски.

— Прошу вас зайти к нам, получите массу удовольствий.

Над ярко освещенной стеклянной дверью горела реклама «Салон эротики».

— Премного благодарны, мы уже побывали в подобном заведении,— сказал Юсупов по-английски.

— У нас лучше,— ответил мужчина. — Уверяю вас, сэр, не пожалеете.

— Премного благодарны.

Юсупов и Мераби Луавсарбович прошли мимо больших окон салона, завешанных порнографическими фотографиями, миновали кинотеатр «Колорадо», в котором демонстрировались фильмы ужасов, и тут столкнулись с Аленом Кашеном.

— Рад встретиться,— Ален Кашен развел широко руки, словно для объятий, потом, будто одумавшись, опустил их. — Притомились, вижу по лицам.

— Разве? На этот раз вы не отличили утомление от возбуждения. В этом бедламе не утомишься, — пробурчал Мераби Луавсарбович.

— Ну! — Юсупов дружески хлопнул его по плечу. — Ален Кашен хочет прокатить нас по ночному Парижу.

Ален Кашен поднял на него глаза.

— Не испугаетесь? Завезу куда-нибудь, вызову на провокацию.

— Будь что будет. Везите по Парижу. Последняя ведь ночь. Прощальная.

И снова аэропорт Орли Пари Сюд.

Снова толчея, наведенные объективы фотоаппаратов, интервью.

Юсупов интуитивно почувствовал на себе чей-то острый взгляд, огляделся, увидел Алена Кашена. Тот быстро несколько раз щелкнул фотоаппаратом.

— Не возражаете?

— Нет, почему же. А впрочем, и возрази даже я, вы все равно сделали бы свое дело.

— Да, конечно.

Ален Кашен помолчал, потом проговорил:

— И все-таки вы меня обидели.

— Чем же?

— Отказавшись пойти в гости. Не знаю даже, чем объяснить ваш отказ. Я вам не враг, не таил против вас ничего дурного... Мне хотелось посидеть с вами, поговорить, очень хотелось, а вы чего-то пугались, ведь вижу я, вижу...

— Мы с вами немало говорили.

— Хотелось в другой обстановке, в домашней. Ну что же, прощайте, ваши уходят.

Ален Кашен протянул руку. Юсупов подал свою и... не стал уже выяснять, почему француз так долго и крепко стискивает ее: товарищи уже шли в здание аэровокзала к таможенникам, и он поспешил за ними.

Ален Кашен долго и неотрывно смотрел ему вслед, затем подошел к своей машине и просидел на бампере, пока ИЛ-62М не поднялся в воздух. Проводив самолет глазами, он долго и бездумно глядел туда, где растаяла стальная птица, потом сел в машину и вырулил на трассу, ведущую в Париж.

А в эти минуты Юсупов полулежал в кресле авиалайнера.

Пассажиры были молодые ребята и девушки, совершившие увлекательное туристическое путешествие по Франции, и Юсупов, закрыв глаза, притворившись спящим, прислушивался к разговорам. Впечатления у них у всех были разные. Одних восхищала архитектура и исторические памятники, других умиляла теплота южан, третьи были в восторге от Парижа, четвертых волновала судьба безработных... Правильно, все правильно, думал про себя Юсупов, пусть смотрят чужой мир, пусть высказываются, спорят, судят, молодые должны видеть и знать многое, чтобы дорожить своим домом, своей землей... Ведь и вино крепко и ценно, когда оно перебродит...

— Граждане пассажиры, наш самолет ИЛ-62М пересекает воздушную границу Союза Советских Социалистических Респуб-

лик, — раздался в репродукторе женский голос. И тут же громко, яростно захлопали пассажиры.

Комок подкатил к горлу Юсупова, перехватило дыхание, увлажнились глаза. Юсупов крепко стиснул зубы, переборол минутную слабость и тихо несколько раз кашлянул, выдавив сгусток волнения. Потом повернулся к иллюминатору. Под ослепительно синим небом лежала бескрайняя зеленая, в лесах и реках, земля. Своя, до боли родная земля.

Э П И Л О Г

Был поздний осенний вечер.

Пригород Парижа Сен-Клу засыпал: в окнах гасли огни, пустели улицы.

Ален Кашен въехал во двор, устало откинулся на спинку сиденья и закрыл глаза. Несколько дней он находился в немилости у шефа-начальника отдела радиостанции «Свобода»: не подготовил запланированных пасквилей на делегацию советских виноделов. В таких случаях сотрудника отдела ожидало суровое наказание.

Для Алена Кашена исключения не могло быть.

Ален Кашен не стал заводить «Ситроен» в гараж: он вышел из машины и нехотя, лениво поднялся на крыльцо. Открыв дверь, просунул в темноту руку, нащупал выключатель: мягкий голубой свет залил уютную прихожую. Ален Кашен повесил на вешалку замшевую куртку, прошел в гостиную, опустился на диван, бессмысленно уставился на обнаженную рыхлую женщину, похотливо смотревшую на него с картины, сказал про себя: я его узнал сразу. Да, это был он. А он, узнал ли он меня?.. Иногда так остро вглядывался, что сердце замирало. Сколько лет-то прошло, и лицо мое, обожженное, далеко не то, что было в молодости. Я его узнал.

Ален Кашен перевел взгляд на синие горы в снеговых шапках, которые были заключены в золоченную рамку. Эта картина успокаивала его гаммой холодных цветов, напоминала о днях юности. Он долго глядел на горы, потом лег навзничь. И задремал.

Из непроглядной тьмы на него наплывали лица, искаженные дьявольским смехом и дикой злобой, он долго пытался снять с них уродливые маски и, когда это ему удалось, узнал своих коллег... Потом из темноты к нему осторожно пошла женщина в черном длинном платье, с протянутыми руками. Она была слепа. И не задев его, тихо прошла мимо.

Кто эта туземка, подумал Ален Кашен. Кажется, где-то я ее видел. В Алжире? В Ливане? Нет, где-то в Азии, в Азии...

Женщина снова появилась далеко впереди и пошла к нему ощупью. Он пристально вглядывался в нее, но лицо расплывалось и лишь губы, твердые, полные, шевелились, что-то шепча. Он приковал все свое внимание к ее губам, и холодный пот прошиб его, когда он прочитал беззвучно произносимые слова: «балам, вай, балам». Потом на какую-то секунду, на миг четко обозначилось лицо женщины. Вспыхнуло и погасло.

— Вай, ана...—со всхлипом вскрикнул Ален Кашен. И проснулся.

Он вскочил с дивана, тупо уставился на дверь, потом присел и, ладонью вяло потирая занывшую грудь, прошептал:

— Вай, ана...

Он произносил эти слова, когда ему бывало очень больно.

Он всегда вспоминал в тяжелые минуты мать.

Ален Кашен поднял взгляд на горы, но они не успокоили его. Они были слишком красивы на картине и совершенно не напоминали детства, он давно забыл и не мог вспомнить, как ни напрягал память; их вытесняли картинные... Память... она была у него сильно натренирована и помнила сотни лиц и событий, имен и городов. Только не годы юности и образы родных. В ней не осталось ни пятнышка от тех лет, словно ее выстирали и выгладили. И только одну фразу произносил он, да и то, когда ему бывало нестерпимо больно.

Ален Кашен встал и заходил по комнате. Ноги по щиколотку утопали в высоком ворсе богатого ковра.

— Вай, ана,—шептал он, сжимая лицо большими, сильными руками. И этот шепот больно растекался по всему телу, обволакивая, опутывая безысходной тоской сердце. Он не помнил, когда еще тосковало так сильно его сердце. В тот огненный день войны? Или когда очутился на чужбине, не зная ни языка, ни нравов чужой земли? Он не помнил...

Ален Кашен подошел к бару, заставленному бутылками, налил в бокал виски, выпил. Потом встал у письменного стола и долго, бессмысленно смотрел на его полированную поверхность. Наконец, он сел в кресло, придвинул стопку бумаг и принялся медленно писать.

«Мать. Ты, наверное, давно прокляла своего сына. Вырвала его из своего сердца. Может быть, ты и права, мать. Мне сейчас приснилось твое лицо, ты пришла ко мне в такую даль, чтобы напомнить о себе, о земле отцов... Я видел твое лицо, мать, которое тщетно пытался представить долгие годы. Как ты постарела, мать. И ослепла... Почему ты ослепла? Твои глаза иссохли от невыплаканных слез, которые ты боялась показать лю-

дям и моим сестрам! Прости меня, мать... Тебе не придется болеть душой за моих детей. У меня их нет. У меня нет семьи. У меня нет никого. Я один на этом свете, отторженный, проклятый, не нужный никому. Я чуть не совершил еще одну подлость...

Мать, бедная мать, прошу тебя, умоляю тебя, вспомни меня в мой последний миг...»

Ален Кашен подбирал слова очень медленно и трудно, потому что писал на родном языке. Вдруг где-то залаяла, а потом завyla собака. Душераздирающий крик вспорол тишину. Ален Кашен поднял голову. Послышались крики, топот ног. Он отложил ручку, машинально достал из ящика стола пистолет, положил в карман брюк и вышел во двор. Лай слышался уже далеко, у леса.

Ален Кашен долго стоял во дворе, вдыхая запахи осени, потом обернулся к вилле, от которой веяло одиночеством. Моя обитель, крепость и семья, горько усмехнулся Ален Кашен и, нехотя поднявшись по ступенькам крыльца, вошел в дом. Его обдало прохладой. Как в склепе, подумал он, и остановился перед картиной в золоченой рамке. От гор веяло холодом. Голубые, омытые солнцем, они почему-то стыли, может, оттого, что на хребтах лежал снег и облака, гроздившиеся под солнцем, походили на снежные лавы...

Ален Кашен подошел к столу, уставился на исписанные листки бумаги, открыл бар, но не стал пить и нервно зашагал по комнате. Ныло сердце. Хотелось свежего, пахучего осеннего воздуха. Ален Кашен вышел во двор, глубоко вздохнул, закрыл глаза, но блаженства не ощутил.

Он открыл дверцу машины, опустился на сиденье, включил приемник. Музыка не помогла снять душевную боль. — Вай, ана, — прошептал безнадежно Ален Кашен, вытащил из кармана пистолет и приложил к виску.



В этот вечер свет в доме Юсупова горел допоздна. Гости все разошлись, когда в комнату ступила старая Марьям. Она медленно шла от дверей, не отрывая глаз от Юсупова.

— Садитесь, тетушка Марьям, расскажу о чужой стороне, что увидел, чего не показали.

— Скажи, сынок, встретил ты его там? — спросила Марьям, присаживаясь на краешек стула.

— Нет, тетушка. Нет его там.

— Чувствую, что он живой, сынок, не мог он умереть.

— Погиб он на войне. Сколько людей погибло в ней, сколько пропало без вести.

— Много народу перемололи ее жернова,— прошептала Марьям.— Но чувствует мое сердце, что жив он. Посмотри на меня, сынок, дай поглядеть в твои глаза... Что-то они таят...

— Нечего им таить, тетушка, просто утомился немного. Такого нагляделся там, что ни из книг, ни из газет не узнаешь. Нет на свете лучшей своей земли, теплее своего очага. Чужая булка, говорил наш отец, тебя не насытит, умей сам испечь ее.

— Правильно ты сказал, сынок. Чужая булка— ком в горле,— тихо проговорила Марьям и попыталась встать.— Пойду. Поздно уже.

Юсупов взглянул на нее и похолодел. Лицо старой Марьям, всегда шафранового цвета, вдруг на глазах стало синеть. Женищина приложила руку к груди и охнула.

— Что с вами?— Юсупов вскочил с места, налил в стакан воду и заставил ее сделать несколько глотков. Она тонко и больно вздохнула и проговорила:

— Отпустило... Дернуло и отпустило. Что-то случилось...

— Успокойтесь, тетушка. Не думайте ни о чем. Дайте успокоиться сердцу. Оно ведь не каменное, долго страдать не может.

— Да, сынок, долго не может.— И устало свесила голову на грудь.



В эти минуты Алэн Кашен достал из кармана пистолет и приложил к виску.

Холодок ствола отрезвил его.— Что я делаю?— спросил он себя, — зачем, что изменится от того, что я пушу себе пулю... Пушу пулю?

Дрожь пробежала по телу, Алэн Кашен засунул пистолет в карман, вышел из машины и поднялся в дом. Подойдя к столу, он поднял исписанные листы, перечитал их и, медленно, аккуратно разорвав на мелкие куски, бросил в пепельницу. Щелкнул зажигалкой, поднес красно-голубое пламя. Бумага вспыхнула и долго, обугливаясь, корчилась и сжималась от боли.

И здесь я оказался трусом, подумал про себя Алэн Кашен, но тут же упредил свою мысль: трусость ли это? Что изменится от того, если меня не будет? Ничего. Для них меня нет. Для них я давно умер. Но сам-то я дышу, я существую как человек, как живой организм, каких уйма на земле. Боже, я устал, мозг мой утомился... Когда придет конец всему, конец, я не хочу ни думать, ни видеть, ни слышать...

Ален Кашен бросился на диван и, закрыв глаза, пытался отогнать мысли, но продолжали рождаться вопросы за вопросами. Ален Кашен тяжело обрушил кулаки на диван, встал, вышел во двор. Над городом стояла тихая безлунная ночь. Он сел в машину, рывком выехал за ворота и погнал «Ситроен» по шоссе. Стрелка спидометра вздрагивала на отметке сто сорок. Хоть бы врезаться во что-нибудь, и конец!— мелькнула мысль, от которой Ален Кашен тут же покрылся испариной.

В МОСКВУ ЗА САЛФЕТКАМИ

1

Сначала она услышала песню: унылый голос протяжно выводил печальную мелодию. Потом открыла глаза, но сон тут же сомкнул ей веки.

Песня назойливо продолжала входить в сознание.

Ася выпростала руки из-под одеяла, вытянулась, сладко застонала и сразу открыла глаза.

Было утро. Солнце слепило, бросая на стену и кровать теплые блики. Ася повернулась на бок, подставив лицо солнечному свету, прищурившись, повела глазами по искрившемуся радугой серванту, старинному комоду и затаила дыхание. В углу комнаты, где темнела высокая голландская печь, у открытого сундука сидела, поджав под себя ноги, женщина.

— Тетя? Тетя Мирвари? Ты ли это?

Песня внезапно прервалась и женщина бойким, хотя и старческим уже голосом с любовью проговорила:

— Проснулась, моя жемчужинка? Полежи, понежись еще в теплой постели.

— Понежишься под твою унылую песню,— с наигранной веселостью заметила Ася, чтобы не обидеть старую Мирвари.— Над чем ты колдуешь у сундука?

— Добро твое перебираю, доченька. Проснулась ночью от боли в сердце, да и не боль была, а будто дастар¹ положили, такая тяжесть, а потом вдруг стало горячо... Ну, думаю, сгорю, так и не успею выдать доченьку замуж, посидеть у нее на свадьбе, покачать в колыбели ее ребеночка. Встала, доплелась до сундука, открыла его, принялась перебирать твои вещи и не

¹ Дастар — каменные мельничные жернова.

заметила, как исчезла тяжесть... Мне нельзя умирать, доченька, пока не выдам тебя замуж. Я дала слово твоему отцу поставить тебя на ноги, подыскать достойного парня, покачать на коленях внуков за дедушку. Нет, доченька, мне еще рано умирать, нельзя умирать. Твой отец, мир праху его, был моим единственным и любимым братом, и я обязана выполнить его завет.

Старая Мирвари вытерла концом темно-синего калагаи² глаза и закинула его за плечо.

— Судьба должна смилостивиться надо мной, доченька. Сегодня она смилостивилась.

Старая Мирвари опять было затянула свою песню, но Ася осторожно прервала ее:

— Ну что ты, тетя, и себе и мне омрачаешь такое утро. Вон как ласковое солнце радует сердце, а ты завела тоскливую мелодию, которая как... как шмель висит в комнате.

— Не буду, доченька, не буду. Не принимай ее близко к сердцу. Смотри на свое богатство и радуйся, как я радуюсь. Вот этот отрез шелка я купила лет пять назад. Он очень пойдет тебе под цвет твоих голубых глаз, крупные ромашки освежат тебя. Как цветочек будешь в таком платье. А ты знаешь, у кого я его купила? У нашей соседки Баар.

— Какая ты у меня щедрая и добрая, тетя,— засмеялась Ася.

— Эти сапожки я купила в базарный день. Ох, и помяли мне бока!

А этот шерстяной отрез нравится тебе, доченька? Серый с бирюзовым отливом. Купила на том же базаре, в тот же день. И знаешь у кого? У старой Кистаман.

— Которая Кистаман? Я такой не знаю...

— Ты всех их увидишь на свадьбе. У тебя родни полсела и полгорода. Старая Кистаман — младшая дочь сестры моего отца.

Ася тихо засмеялась.

— Слышу, смеешься? Но хочешь ты того или не хочешь, все они будут на твоей свадьбе.

Ася опустила ноги, нащупала шлепанцы, накинула на себя одеяло, засеменила к тете и, опустившись рядом, прислонила голову к ее плечу.

— И почему ты у меня такая беспокойная?

— А кто о тебе должен беспокоиться, как не я? Ты и вкуса материнского молока-то не почувствовала во рту, как бед-

² К а л а г а и — шелковый головной платок.

ная мать твоя покинула этот мир. И поила, и кормила, и растила тебя я. Я и должна устроить твою жизнь.

Ася не стала перечить тете, провела ладонью по отрезу, купленному у старой Кистаман, потом опустила руку в сундук и вытащила сверток.

— Что это? — недоуменно спросила она.

— Как купила, так и засунула, — объяснила старая Мирвари. — Наверно, времени не было раскрыть и разложить.

Ася развязала сверток, вытащила из него жакет, встряхнула, взяла за плечики.

— Красивый? А знаешь, за него сколько просила Зульки, да ты ее знаешь, сестра жены председателя сельсовета, бешеные деньги, но я ни копейки лишней не дала, торговалась несколько дней, приду — уйду, увижу, как тут же заговорю о жакете...

— Да помолчи ты, тетя, на минуту о своей торговле. — Ася внимательно разглядывала жакет. — Его же моль съела.

— Какая моль? Что съела? — Она вырвала из Асиных рук жакет, поднесла близко к глазам, стала ощупывать чуткими пальцами и вдруг ее взорвало:

— Чтоб этой Зульки пусто было на белом свете, чтоб она не увидела радостей своих детей, как же можно так обманывать честных людей?..

— Да подожди, тетя, при чем тут Зульки? Вот и отрез старой Кистаман тоже изъеден, все вещи моль съела.

Ася обняла тетю за плечи, привлекла к себе.

— Успокойся, разве можно из-за тряпок так убиваться? Этот дырявый жакет не стоит твоей слезинки.

— Тебе легко говорить, — печальным голосом затянула старая Мирвари, — сколько сил, сколько души я отдала, чтобы набить этот... проклятый богом сундук? У тебя ни забот, ни хлопот: как птичка легка, думаешь только о своем оперении, а я старая, усталая собака, должна думать о завтрашнем дне, чтобы он был не хуже сегодняшнего.

Старая Мирвари внезапно оборвала свой плач, высвободилась из объятий Аси и принялась собирать разбросанные вокруг вещи и аккуратно складывать их в сундук.

— Хватит. Поплакали и довольно, — решительно проговорила она. — Ни одна из этих тряпок не пропадет.

— Что ты намерена делать с ними? — удивилась Ася.

— Что намерена делать? Как грамотно ты порой выражаешься. На базар вынесу. Да, да, на базар и ни на копейку не продешевлю. Ты посмотришь, как выгодно их продам. Я не Баар и не старая Кистаман, которых усыпили мои сладкие слова. И цену приличную заломлю, и купить заставлю. Ты ведь меня

знаешь, доченька, такие песни запою, что уши развесят. А поедешь в Москву— купишь там всё, что тебе нужно будет для свадьбы.

— Я поеду в Москву?— недоуменно подняла брови Ася, — Откуда ты взяла?

— Разве я тебе не сказала, что посылаю тебя в Москву?

— Н-е-т, тетушка... А в связи с чем?

— Знаешь, на прошлой неделе я была в городе на свадьбе. Наш директор совхоза выдавал дочь за сына директора школы, красивый парень! — мечтательно произнесла старая Мирвари.

— Ну и что?

— И увидела я на столах, что бы ты думала?— старая Мирвари хитро глянула на Асю.— Увидела я на столах белоснежные салфетки. Финские.

Ася весело расхохоталась.

— Если б ты видела, какая это красота! — продолжала старая Мирвари. — Ажурные, с выбитым рисунком, ты видела, доченька оренбургский платок? Клянусь прахом моего деда, финские салфетки не хуже смотрятся. Вот и решила я: на нашем свадебном столе будут лежать финские салфетки.

Ася размазала пальцами слезы по лицу, затем вытерла их ладонями, еще несколько раз всхлипнула от смеха и тихо проговорила:

—Зачем тебе понадобились финские салфетки, тетя? Это... это же смешно.

— Тебе смешно. Тебе все в жизни смешно. И над Дадашем долгие годы смеялась, не хотела выходить замуж, пока не почувствовала, что останешься в старых девах. А чем плох парень: статен и крепок, ты на его руки посмотри — на одной ладони троих детей усадит, и специальность не хуже, чем у других,— уважаемый шофер, и дом его крепок и корова при дворе, а душа у него отзывчивей и теплей, чем у всех наших сельчан, вместе взятых. Тебе все время смешно. Но дай мне тоже немного посмеяться. Я разложу на свадебные столы финские салфетки и буду смеяться от радости, а мои гости будут шептать друг другу на ухо: «Смотри-ка, старая Мирвари финские салфетки достала». Это ли не радость для меня, доченька, молчи, прошу, не огорчай меня, сделай так, как я хочу. Поезжай в Москву, купи себе всё, что тебе нужно, но обязательно привези салфетки.

Ася ничего не ответила тете, только обняла ее, нежно прислонила голову к плечу и затихла.

II

Ася сидела на нижней полке и смотрела в окно, за которым пробегали столбы, холмы, косогорье, а вдали медленно тянулись невысокие горы. Молодая рыжая женщина, удобно расположившаяся напротив, сосредоточенно чистила пилочкой ногти, разложив на столике всевозможные хитрые инструменты. На верхних полках усердно сопели пожилые женщины. Рядом с Асей сидел худощавый паренек; нахохлившись, скрестив на груди руки, он был похож на бездомного воробья.

В купе было пять человек.

В августовской сумятице на место, которое занимала молодая рыжая женщина, было продано два билета, и поскольку она вошла в купе раньше и расположилась по праву хозяйки, паренек оказался лишним. Пока проводница искала бригадира поезда, а тот выяснял, есть ли свободное место в соседних вагонах, паренек забрался в багажный отсек над дверью, свернулся там калачиком, подложив под себя одеяло, и уснул.

К полуночи свободное место было найдено в последнем вагоне поезда, но паренек, разбуженный проводницей, наотрез отказался идти туда.

— Я бы так это не оставила, — решительно заявила рыжая женщина. — Я вот еду из «Чайки», слышал, небось, о таком доме отдыха?

— Слышал, — сказал паренек.

— Так вот, в палате должен быть телевизор, душевая, а оказалось, что телевизор на ремонте, душевой пользоваться нельзя — горячей воды нет. Пошла я к директору: будьте добры, или верните мне зную сумму, или наведите порядок в вашем хозяйстве. Нашли телевизор-таки. Ну, а горячей воды не стала добиваться, я не в баню стремилась, а к морю. К чему это я говорю? Человек должен уметь постоять за себя. Иначе жизнь измочалит... И будешь потом на все смотреть собачьими глазами. Куда едешь-то?

— Учиться.

— В школу, что ли?

— В МВТУ.

— Молодец, конкурс выдержал? Но помни, там свое никому не уступай!

— Меня учили иначе, — вдруг твердо произнес паренек. — Как в песне поется: «Все отдал — богаче стал».

— Ну-ну... — рыжая женщина улыбнулась. — Так то песня. И потом... я же тебе не говорю, чтобы ты был жадным, эгоистом. Отдавай все на здоровье, все, что угодно. Но место свое не уступай. Ты же на чем-то должен стоять.

«Она мне начинает нравиться, — сказала про себя Ася, — прямолинейна, не по-женски жестка, но в суждениях права».

Наверху сопенье прекратилось, потом с полок повисли толстые опухшие ноги с панцирями мозолей на ступнях и с кряхтением и вздохами вниз сползли пожилые женщины.

— Убирай, дочка, со стола свои ножи-ножницы, сейчас будем завтракать, — сказала одна из них, и взяв полотенце и мыло, они вышли из купе.

— Сестры, видать, — произнес паренек.

— Ты как определил, по носам? — спросила рыжая женщина, взглянув на Асю, паренька, и все трое вдруг рассмеялись.

— Скажи правду, как определил, — не унималась рыжая женщина. — Ты ведь кроме их ступней и затылков ничего больше не увидел, вон голову-то как пригнул, позвонки шейные не болят?

— Да хватит вам смеяться, — пробормотал паренек.

— Не буду, — примирительно сказала рыжая женщина и принялась собирать со стола маникюрный набор.

Зашли пожилые женщины. Достав из-под нижней полки авоськи, они застелили столик чистой салфеткой, разложили на ней жареную курицу, вареные яйца, овечий сыр, лаваш.

— Присаживайтесь, будем завтракать.

— Вообще-то еще рано, но раз решили, то давайте всем колхозом, — весело сказала рыжая женщина и положила на столик плавленый сыр, сливочное масло, баночку меда, яблоки.

Ася достала домашнюю халву с орехами, вареную баранину, термос с компотом. Но когда к своей авоське потянулся паренек, одна из пожилых женщин остановила его:

— Ты, сынок, повремени. Тут столько всего, что за неделю не съедим.

— Нет, я так не буду, — пробурчал паренек.

— Чего ты сердишься, глупенький. Не все же сразу съедать. Нам еще и обедать надо, и ужинать.

Обсасывая куриную ножку, Ася присмотрелась к пожилым женщинам и вдруг сделала для себя открытие, что они как две капли воды похожи друг на друга. И вспомнила слова паренька «Сестры, видать». «Вот глазастый, — подумала Ася, — сразу заметил сходство».

За окном вагона проплывали дома, потянулись улицы. Рыжая женщина быстро вытерла руки бумажными салфетками, достала из сумки кошелек и прильнула к окну:

— Сейчас Георгиевская должна быть. Хочу купить арбузов домой.

— Боже мой, в Москве арбузами на каждом углу торгуют, — протянула одна из сестер.

— Так там в очереди надо стоять. А тут — бери не хочу. И дешевле.

— Ты сетку хоть возьми, не за пазуху же будешь их бросать.

— И то верно, совсем растерялась...

Рыжая женщина схватила сетку и заспешила к выходу.

Поезд медленно прошел мимо торгового ряда, где прямо на перроне были разложены арбузы, дыни, стояли ведра с яблоками, грушами, вареной картошкой, солеными огурцами и помидорами, и остановился.

Асе вдруг очень захотелось душистой, медовой дыни. Она обула остроносые чупаки, вышла на перрон и направилась к торговому ряду. Здесь как на настоящем базаре бурлила толпа. Ася протиснулась вперед, выбрала по запаху увесистую дыню и уже собиралась идти в свой вагон, когда услышала знакомый голос.

— Дорого просишь, куркуль, дай по рублю, — возьму штук шесть.

Ася повернулась на голос и увидела рыжую женщину. Она поднимала арбузы, подкидывала их, словно взвешивая, щелкала по ним пальцем.

— Ну, что вы, барышня, — мужчина, торговавший арбузами, снисходительно улыбнулся. — Шесть кило в каждом...

— Пять, не спорь, пять. Я же чувствую. Дай по рублю, возьму. Иначе останешься со своими арбузами, слышишь, поезд отходит.

— Я постою, мне не привыкать, а по рублю не дам, — твердо сказал мужчина.

— Ну не куркуль разве? — рыжая женщина изумленно повернулась к Асе.

— По полтора дадите? — спросила Ася.

Мужчина долго думал, потом нехотя протянул:

— Ну, если не один...

— Шесть беру, шесть, ох, — устало выдохнула рыжая женщина, — ну-ка, помоги положить в сетку, осторожно только, не побей.

Она расплатилась с мужчиной, взялась за ручку сетки, за другую ухватилась Ася, и тут мимо них медленно, неохотно стали проплывать вагоны.

— Ой, мамочка, остались, — ужаснулась рыжая женщина, засеменив по перрону. — Из-за куркуля проклятого.

— Снимите босоножки, упадете, — крикнула Ася. — Быстро.

Рыжая женщина послушно сняла босоножки, бросила в сет-

ку, и они с Асей неудобно и тяжело побежали, отягощенные арбузами и дыней.

— Где вас черти носят? — крикнула проводница поравнявшегося с ними вагона. — Залезайте быстрее.

Когда Ася и рыжая женщина, запыхавшиеся и запарившиеся, открыли, наконец, дверь своего купе, на них полились притирания двух сестер, вытиравших руки после сытного завтрака.

— Мы уж и не знали, что нам делать, где вас искать... Разве можно женщинам выходить из вагона? Уйдет поезд... только его и видели... А вы — женщины, в незнакомом городе, без рубля в кармане, без документов... Как так можно?.. Верно говорят — есть всевышний, он вам помог.

— Это верно, всевышний в форме проводницы помог, — проговорила рыжая женщина, устало опустившись на полку и вытянув ноги. — Умаялась.

Сестры переглянулись между собой.

— Что ты говоришь? В форме проводницы. Не говори так, не гневи его. И для чего тебе эти арбузы? В Москве арбузов, что ли, нет?

— А у вас барахла, что ли нет? Вы же наверняка едете одежду покупать?

— Верно ты сказала, дочка, за барахлом едем. Сыновей надо женить, вот и едем покупать будущим невесткам подарки.

— У вас слишком пышные и дорогие свадьбы, — сказала рыжая женщина. — Но все это ничего, если семья сложится.

Сестры переглянулись.

— Но почему не должна сложиться семья? У нас такого не бывает. Вот у тебя, доченька, сложилась семья? — обратилась старшая из сестер к Асе.

— У меня... семьи нет еще... Я еду за приданым. — Ася улыбнулась, представив, что сейчас будет происходить в душе сестер.

— Нет?.. В таком возрасте?.. И сама, говоришь, за приданым едешь? О чем твои родители до сих пор думали?..

— А мое приданое моль съела. — И Ася вкратце рассказала попутчицам этот случай.

Все замолчали.

— Боже мой, чего только не случается в жизни, — нарушила молчание рыжая женщина. — Ну надо же такое — приданое моль съела... — Она взглянула на Асю. — Тебе есть где остановиться в Москве?

— Нет.

— А где же ты думаешь жить?

— Пока не знаю.

— Пока не знаешь, а потом всевышний поможет? — рыжая

женщина усмехнулась. — Ты в Москве-то хоть была?

— В первый раз.

— Час от часу не легче. Ну да ладно. Сядешь на вокзале в такси, попросишь довезти до гостиницы «Минск», это в самом центре, на улице Горького. Я тебе дам записку, по ней тебя устроят.

— А вы, случайно, не оттуда? — улыбнулся паренек, воздев глаза к потолку. — Не от всевышнего?

— Конечно. Я администратор гостиницы.

Сестры переглянулись между собой и... затараторили, перебивая друг друга:

— Доченька, родная, помоги нам тоже, будь великодушна. Ты всегда будешь нашей самой почетной гостьей, не оставь нас на улице.

Рыжая женщина зажала ладонями уши.

— Кто же вас оставляет на улице? Устрою и вас, только в другой гостинице, в «Центральной», там моя подруга работает, всех устрою, кроме этого дерзкого мальчишки.

— Да, да, устрой, кроме него. А его почему не хочешь, нагрубил тебе? Ах ты, негодник!

— В общежитии будет жить. Студент он.

Паренек растянул в улыбке рот до ушей, победно взглянув на пожилых женщин.

— В разговоре и про дыню забыли! — Ася разрешила дыню, поднесла ко рту ломоть. — Как вкусно! Ешьте!

Рыжая женщина ела смачно, наслаждаясь.

— А ты наметила, что тебе нужно купить? — обратилась она к Асе.

— Зачем? Я ведь знаю, что нужно невесте.

— И то верно. А ты его любишь, своего кавалера, так сказать, будущего супруга?

Ася неопределенно пожала плечами.

— Ну, а... — рыжая женщина удивленно уставилась на нее, — нравится хоть?

— Время поджигает, заставляет выходить замуж.

— Ну, подруга, это всю жизнь теперь маяться. Я бы так не смогла.

— У нас старые люди знают, как женить и выдавать замуж детей, — подала голос одна из сестер. — И живут молодые, детей рожают, добро заводят. Вот только мне не повезло, горемычной. Уехал сын в Москву, дома строить.

— А что в том плохого? — рыжая женщина взяла со столика еще ломать дыни.

— А что хорошего? Если бы с женой уехал, другое дело... Нравилась ему одна девушка, вместе с ним она работала, элект-

ростанцию строили. Да тетя ее, старая ведьма, отказала сыну. Не понравился ей строитель. Коровы ей не хватало в доме. А чем мой сын плох? И красив, и крепок, и, слава богу, зарабатывал хорошо, мозолей не стеснялся. Вот и сорвался с родного места и уехал. А у вас там женщины нахальные, окрутят, обманут парня и женит кто-нибудь на себе.

Ася внимательно слушала ее, и вдруг что-то острое кольнуло сердце. «Не может быть, — успокоила она себя, — мало ли одинаковых обстоятельств встречается в жизни?»

— Может, он уже и женился, — заметила рыжая женщина. — Что же в этом плохого? Станет москвичом.

— Нет, чуется материнское сердце, не женился. Заберу я его домой, в ноги упаду, реки слез пролью, заберу... И все из-за старрой ведьмы...

Рыжая женщина повернулась к Асе:

— Нам с тобой легче. Дефицит не нужен. Или нужен?

— Финские салфетки, — машинально произнесла Ася.

— Не поняла, — удивилась рыжая женщина.

— Тетя просила купить для свадебного стола финские салфетки.

— Салфетки? Для свадебного стола? — рыжая женщина обвела всех удивленными глазами и вдруг громко расхохоталась.

— Не смейся, дочка, у нас сейчас стали, как говорят молодые, модны финские салфетки, югославские скатерти, — заметила старшая из сестер. — От этого никуда не денешься. Не позориться же перед людьми.

А рыжая женщина никак не могла унять хохот, и слезы текли из ее глаз, размазывая краску на лице.

III

Ася уже выходила из ГУМа с туго набитым чешским баулом, когда из репродуктора раздался четкий женский голос: «Дорогие москвичи и гости столицы! В третью секцию поступили в продажу югославские покрывала...» Произошло непонятное. Людская река, которая текла к выходу, застыла. Люди остановились, потом повернули обратно и, расталкивая друг друга, устремились на второй этаж. Ася тоже остановилась, осмысливая слова диктора. Но пока она решала, нужны ли ей югославские покрывала или нет, поток подхватил ее и понес за собой. Ася не понимала, как оказалась на втором этаже, как взлетела по ступенькам. Только остановившись в хвосте очереди, она перевела дух, положила баул на пол и присела на него. Мимо мелькали ботинки, туфли, босоножки... Но вот мимо нее дважды прошли одни и те же черные полуботинки — туда

и обратно. На твердой кожаной подошве, с тяжелым широким каблуком, начищенные до блеска. «Наверное, аккуратный мужчина», — подумала Ася и подняла голову. Перед ней стоял... Тамерлан.

— Здравствуй, Ася!

— Здравствуй!

— За покрывалами стоишь?

— Да.

— И давно ты в Москве?

— С неделю.

— А я и не знал, что ты в Москве, — сокрушенно произнес Тамерлан. — Сколько дней потеряно.

— Почему потеряно? Что ты этим хочешь сказать? — сухо спросила Ася.

— Так, ничего... Я подожду тебя на улице. Здесь душно, — сказал Тамерлан.

— Подожди...

И только когда Тамерлан исчез в толпе, Ася поняла, что разговаривала с ним слишком сухо. «Чем он виноват передо мной? — спросила она себя. — Правилась я ему, хотел жениться, но тетя Мирвари не пожелала, чтобы моим мужем был строитель, у которого при дворе нет коровы... Расстроился он, оставил отчий дом и уехал в Москву. Обижаться следует ему на меня, а не мне на него».

Часа через два подошла Асина очередь, и когда она с покрывалами в одной руке и баулом в другой вышла на улицу, первой ее мыслью было: ушел. Не будет он здесь ждать битых два часа. Но Тамерлан сидел на парапете, читая газету и поминутно поднимал глаза, чтобы не упустить Асю.

— Что так долго? — спросил он, взяв из рук Аси баул и покрывала.

— А ты бы мог быстрее?

— Мне это ни к чему.

— Ну, конечно, тебе, мужчине, ни к чему. А жена купила бы.

— Жена купила бы. Но у меня ее нет, — засмеялся Тамерлан.

— Ты что, до сих пор не женился? Вокруг тебя столько девушек, одна красивей другой...

— Вот-вот, то же самое мне и мать говорит... Обманут, говорит, обольстят, женишься на какой-нибудь глупенькой и ломаешь себе жизнь. Несколько дней пилила меня, прося вернуться домой. Еле-еле удалось отправить вчера.

«Неужели одна из тех сестер — его мать», — подумала Ася, но вслух спросить не решилась, а чуть погодя спросила:

— Обманом?

— Почему ты решила, что обманом? Нет, не обманом. Сказал, что закончу один крупный объект, сейчас наша бригада строит огромный жилой массив, я и матери показал его. Так вот, закончу этот объект и если за это время не выберу никого в жены, — приеду домой. Ася, а ты видела наши жилые массивы?

— Какие ваши жилые массивы?

— Ну, жилые массивы, которые я строю?

— А чего их видеть? Все они похожи друг на друга, как близнецы.

— Ну, ты не права. Когда я их покажу тебе, тогда оценишь.

— А ты уверен, что я пожелаю увидеть?

— Не уверен, конечно, но не каждый же день толкаться в очередях. — Тамерлан замолчал, затем осторожно спросил: — и кто же это твой избранник? Вернее, счастливчик, для которого я несу на плече югославские покрывала?

Ася внимательно посмотрела и промолчала.

— Слушай, а как ты ориентируешься в Москве, ты же впервые здесь?

— Понимаешь, — вдруг оживилась Ася, — мне кажется, что я здесь уже не раз бывала... Почему? Так много о ней рассказывают в кино, по телевизору, в книгах и журналах, что, еще не ступив на московскую землю, уже знаешь о ее площадях и парках, улицах и музеях, станциях метро и театрах. Не поверишь, только в первый день со мной была подруга, и то несколько часов, сейчас же я одна. И ни разу не заблудилась.

— Теперь с тобой буду я.

— Это еще зачем? Без тебя как-нибудь разберусь.

— В магазинах?

— И в магазинах. Не ехидничай. Придет время, и сам забегашь.

— Извини, я не потому. Ты же хотела посмотреть жилые массивы.

— Не я хотела посмотреть, а ты загорелся желанием показать.

Они вошли в вестибюль гостиницы. Тамерлан поставил на пол баул.

— Ася, а может поедем посмотреть их сегодня?

— Сегодня я устала... Впрочем, если хочешь. А когда мы поедем?

— Часа два тебе хватит на отдых?

— Хватит...

— Тогда через два часа. Может, занести тебе эти вещи в номер? Они тяжелые.

— Нет, нет, я сама.

Ася взяла в одну руку баул, в другую покрывала и направилась к лифту.

Выйдя из ванны, Ася расчесала длинные черные волосы, надела халат, прилегла на кровать. И незаметно уснула.

И приснилась ей тетя Мирвари, улыбающаяся, милая, источающая тепло и свет, с рассыпавшимися по плечам волосами. В ее устремленных на Асю глазах словно застыл немой вопрос: «Ну что, доченька, все купила? А салфетки финские достала? Не дай нам ударить лицом в грязь, не хуже других мы с тобой, наш свадебный стол должен быть красивым, доченька, чтобы о нем долго говорили в селе, да что в селе — и в городе... Почему ты не отвечаешь, доченька?»

Ася проснулась так же внезапно, как и заснула. Посмотрев на часы, она ахнула, быстро заплела две тугие длинные косы, перебрала привезенные с собой платья, потом сняла с вешалки и надела нарядное австрийское платье, купленное вчера, обула итальянские босоножки, и спустилась в фойе. Тамерлан сидел в кресле с закрытыми глазами. Ася легонько притронулась к его плечу. Тамерлан открыл глаза, поднял их на Асю и застыл в немом изумлении.

— Какая ты красивая! — вырвалось у него.

— Ты куда не уходил? — спросила она.

— Нет.

— И не мог подняться ко мне?

— Хотел. Да потом решил, что разозлишься. — Тамерлан встал. — Поехали!

Они сели в такси и машина помчала их по московским улицам. Улица Горького, Садовое кольцо, Ленинский проспект, переулки и уютные узкие улочки — все они, столь похожие друг на друга, но вобравшие теплоту солнца и источавшие радушие, смотрели на Асю, как старые добрые друзья. Улицы Москвы доставляли человеку тихую, светлую радость. В Бирюлево Тамерлан и Ася вышли из машины и пошли пешком.

— Какая красота!.. — произнесла Ася и замолчала.

Белые башни домов стояли в зеленом лесу. Среди деревьев были проложены дороги, тротуары, просеки. И кругом чистый воздух и тишина.

— Ты еще не разучилась малярничать и штукатурить? — спросил Тамерлан.

— А к чему этот вопрос?

— Я бы помог тебе устроиться на стройку.

— Еще чего не хватало! — Ася насмешливо глянула на Та-

мерлана. — Вдали от тети, одна...

— Почему одна, я рядом.

Ася не ответила.

— Строители здесь очень нужны... — Тамерлан оживился. — Получишь временную прописку, а там, глядишь, и постоянную сделаем. Комнату в общежитии дадут.

— Н-нет..

— Может, он удерживает, скажи честно?

— Что мне он! — отрезала Ася. — Не в нем дело. В намусе. Что люди скажут? Да и тете Мирвари как я все это объясню. Вам, мужчинам, легче. У вас душа, как панцирь черепахи, и сами вы эгоисты. Только о себе думаете.

Ася замолчала.

— Может, выйдешь за меня замуж? — осторожно сказал Тамерлан и тут же добавил: — Фиктивно. Квартиру получим, я ее тебе оставляю, сам найду, где жить, и кривотолков меньше будет там, дома...

— А к чему мне такой муж, который найдет себе, где жить, — улыбнулась Ася.

— Ну, пока привыкнем друг к другу.

— Когда-то тоже ты ко мне очень сильно привык. Потом взял и удрал. Оставив меня одну.

— Из-за твоей тети.

— При чем здесь моя тетя? Смелости тебе не хватило, так бы и сказал.

— Ладно, не будем ссориться.

— Куда мы так придем? — нарушила молчание Ася.

Они свернули на просеку и углубились в лес.

— Скоро выйдем на шоссе. Поймаем такси и поедем в город. На мою стройку сегодня уже поздно.

— Ты еще и свою стройку хотел мне показать? Ну уж нет, спасибо. Я устала и есть хочу.

— В ресторан поедем?

— Как хочешь.

На шоссе они вышли минут через десять. Тамерлан остановил кстати подвернувшееся свободное такси, и через три четверти часа они были в «Праге». Одетые в зеркала стены, расписные потолки, белораморные лестницы восхитили Асю. Она глядела буквально на все широко раскрытыми глазами. Пожилой метрдотель подошел к Тамерлану:

— Вас двое? Пожалуйста, в розовый зал.

Он подвел к свободному столу и удалился.

Спокойно, без надрыва и грохота, играл оркестр. Люстры и бра разливали мягкий, теплый свет, который растекался по залу умиротворенным закатом. Ася заметила, что на нее об-

ращают внимание. Она смущенно и вопросительно посмотрела на Тамерлана.

— Виной всему твои косы, — с улыбкой произнес Тамерлан. — Да и вообще ты у меня красавица.

Ася сделала вид, что не обратила внимания на его последние слова.

— Что за шумное веселье в соседнем зале?

— Играют свадьбу.

— Свадьбу? Среди зеркал?

— Знаешь, я вдруг подумала... Если бы тетя Мирвари увидела свадьбу с зеркалами, она бы велела... — Ася не сумела договорить и весело, заодно, громко расхохоталась.

Старая Мирвари стала беспокоиться. Прошло уже больше двух недель, а Ася не приезжала. Не было от нее и вестей. «Не случилось ли с ней беды, — думала старая Мирвари вечерами. — Город огромный, машин тысячи, да и народ разный живет. А она девчонка, глупая, слабая. города не знает...»

Днём старая Мирвари еще отвлекалась работой, а ночью тревожные думы не давали ей покоя. Наконец, она не выдержала и зашла поделиться своей тревогой к соседке Баар, к той, у которой она покупала платье Асе. Соседка внимательно, не перебивая, выслушала ее, потом всплеснула руками, заохала, запричитала:

— Как же ты могла отправить такую красивую и несмышленную в большой город? Или у тебя, извини меня за резкость, от хорошей жизни помутился разум, или ты хотела отделаться от Аси?..

Она задумалась, потом, подняв брови, проговорила:

— Может, сообщить в милицию?

— Это еще для чего? — насторожилась старая Мирвари.

— Объявить розыск.

— Объявить розыск? — повторила старая Мирвари и вдруг вскипела. — Что Ася, преступница, чтобы объявлять розыск? Я к тебе как к соседке за помощью, советом зашла, а ты что мне предлагаешь? И не стыдно такое произнести — объявить розыск?

— Ты спросила, я посоветовала, а что плохого ты видишь в этих словах?

Старая Мирвари не стала больше слушать и вышла от соседки, в сердцах сильно хлопнув дверью. На улице она увидела бегущую навстречу соседскую девочку. Заметив тетушку Мирвари, девочushка запыхавшись произнесла «Телеграмма!»

Дрожащими руками тетушка Мирвари взяла телеграмму. «Достала салфетки встречайте Ася Тамерлан».

СЕМЬ ДНЕЙ ТРЕВОГИ

1

Поздним вечером, когда село, наконец, уgomонилось и уже видело первые сны, сторож колхозного тока Касиб-хан обнаружил тайник. А случилось это так.

Семилетний внук Касиб-хана, появившись в полдень на колхозном току, прожужжал деду все уши, прося раздобыть червей. Ему, несмышленищу, неведомо было, где в этой выжженной солнцем земле опытные рыболовы находят червей. Сторож колхозного тока не покинул своего поста, а только наградил внука подзатыльником, правда, легким. Но вечером, когда сын с невесткой, намаявшись на уборке зерна, ушли спать, а внук уже давно сладко посапывал, Касиб-хан вышел во двор, поглядел на небо, усеянное звездами, широко зевнул и пошел в дальний угол двора, где под раскидистым тутовым деревом лента воды, тянувшаяся от крана, образовала большое сырое пятно. Включив карманный фонарик и положив его на землю подле себя, он принялся лопатой вскапывать землю и, очищая извивавшихся червей от грязи, бросать их в баночку из-под рыбных консервов. Лопата мягко входила в землю, Касиб-хан подумал о том, что неплохо бы здесь вырыть тындыр. Потом он перешел за дерево, но здесь земля оказалась твердой, и он вернулся обратно. Ощупывая толстыми пальцами каждого червя, он удивлялся их обилию и продолжал копать, поражаясь податливости земли. Вскоре его перестали интересовать черви. Он уже копал по инерции, желая одного — дойти до твердого грунта. Внезапно лопата звякнула о что-то твердое. Волнение охватило Касиб-хана. Он бросил лопату и принялся руками разгребать землю. Пальцы его наткнулись на твердый холодный предмет. Касиб-хан принялся осторожно очищать его от грязи. «Не мина ли? Хотя откуда ей быть здесь? Война до нашего порога не дошла».

Наконец показался чугунный казан, обвязанный сверху буйволиной шкурой. Касиб-хан осторожно снял ее и, не поверив своим глазам, сел на землю, поджав под себя ноги, словно готовясь для совершения намаза. В казане лежали золотые монеты.

Первое чувство, которое испытал в некоторые доли секунды Касиб-хан, было чувство недоумения: откуда, чье, зачем? Эти вопросы бились в мозгу сторожа и не находили выхода. Потом пришло чувство радости: мне, мое, все мое, никогда не видел такого богатства, где там видать — не мечтал даже. Потом его вытеснил страх: а вдруг злая шутка? Или кто-то подложил?

Да у кого сейчас может быть такое богатство? А если найдется хозяин, что тогда? Потеряю, потеряю все.

Касиб-хан запустил руки под дно казана, поднялся, бережно прижал дорогую чашу к животу и затрусил мягко, неслышно к сараю, пристроенному к дому. Поддев ногой дверь сарая, он вошел, наощупь отыскал лавку и поставил на нее казан. Потом, озираясь, поспешил к яме, взял с земли фонарик, выключил его и, только войдя в сарай, снова зажег, чтобы обследовать содержимое казана.

Но в подсознании Касиб-хана уже успел родиться другой человек, который следил за всеми его действиями и даже руководил им. А что если проснется кто-нибудь из домочадцев и увидит его здесь, с кладом? Увидит? Ну и пусть увидят. Кому, как не им, я оставляю это золото. Сколько мне осталось жить на свете, десять, пятнадцать лет, а может и два года... Кто знает... кому, как не им... А может его надо сдать?.. Нет, спрятать, чтоб никто о нем пока не знал. А дальше видно будет...

Касиб-хан забегал по сараю, как затравленный волк, ища место, где можно спрятать казан, тонкий лучик фонарика метался по стенам, полу, потолку и нигде не мог задержаться. Наконец, отчаявшись, Касиб-хан обхватил казан, как ребенка, высунул голову за дверь и, убедившись, что двор пуст, осторожно пошел к яме. Он опустил в нее свою находку, накрыл буйволиной кожей и засыпал землей. Утрамбовав ногами, а затем взрыхлив верхний слой земли, он опустился на землю и сказал себе: «Правильно, здесь ему будет надежнее. Я бы мог спрятать на чердаке, но туда лазают дети, от них не спрячешь, а в погреб ежечасно спускается жена за соленьями и вареньями. Здесь надежнее».

И, успокаивая себя, он еще долго сидел во дворе, глядя в звездное небо. «Страшно поверить даже, Касиб-хан — владелец клада. А почему страшно? Должна же когда-нибудь и мне улыбнуться судьба. Отец жил в бедности, дед не вылезал из нищеты. Вот так и тянулся мой род, род бедняков, до двадцатых годов... Подожди, подожди, а брат деда? Ведь ходят и по сей день разные небылицы о том, что он нашел клад и помешался на нем. Хе-хе-хе, не знал, наверное, куда девать его. Старый дурак, дал бы по несколько монет братьям и сестрам, детям своим... Хе-хе-хе... Небылица. Какие там еще небылицы, если вот я нашел... Почему он не мог найти? Это все старая лисица — судьба...» Касиб-хан глядел в небо, и каждая звезда уже казалась золотой монетой, хитро подмигивающей ему. Была уже полночь, когда Касиб-хан поднялся с земли, отряхнулся, взял баночку с червями и пошел в дом.

На следующий день, сдав вахту сменщику, Касиб-хан не пошел сразу домой. Миновав свой двор, правда, успев бросить цепкий взгляд на тутовое дерево и не заметив ничего настораживающего, он проследовал дальше и отворил калитку Бобо-хана. Хозяин дома сидел на деревянной жесткой тахте. Перед ним на небольшом круглом столике стоял вместительный фарфоровый чайник, тонкий стаканчик на блюдце и мелко наколотый сахар.

— Вовремя зашел, Касиб-хан, еще не успел разлить чай. Садись рядом, а я принесу тебе стакан.

Он пошел в дом, тяжело переставляя ноги, каждый шаг его отдавался скрипом. Когда вернулся и сел на свое место, Касиб-хан осуждающе посмотрел на него:

— Совсем опустился. Что с тобой происходит?

— А что случилось? — удивленно глянул на него Бобо-хан.

— Смазать надо. Или поменять. Сколько им лет?

— А-а, ты вот о чем. — Бобо-хан засмеялся, смех у него был чистый, добрый. — Все времени нет.

— Ну конечно, золото роешь...

— Чего, чего?

— Золото, говорю, роешь, — с ехидцей повторил Касиб-хан. Бобо-хан громко рассмеялся:

— Серьезно говорю, времени нет. Думаешь, рабочий день бухгалтера кончается в шесть часов? Давай-ка пить чай.

Он разлил чай, потом перелил из своего стаканчика в блюдце, поднял его на пальцах ко рту и шумно отхлебнул.

— Ты что-то хочешь спросить, Касиб-хан? Спрашивай.

— Спросить? С чего ты взял? Нет, конечно. — Касиб-хан принялся пить обжигающий ароматный чай, не отрывая глаз от блюдца.

— Хочешь, по глазам вижу. Кто тебя знает лучше, чем я? Скажи...

— Твоя правда, никто... Но сейчас ты... не прав, нет у меня никаких вопросов.

— Ну, аллах с тобой, ладно. — Бобо-хан снова шумно отпил из блюдца. — Хороший ты мужик, Касиб-хан, и умом удался, и ростом вышел, и здоровьем крепок, и добрый, и честностью мил людям. Но одного не могу тебе простить... почему ты вынес тогда меня с поля...

— Э-э, опять начал, — сокрушенно вздохнул Касиб-хан и положил в рот острый кусочек сахара.

— Никогда не кончу. Не кончу, пока не умру. Оставил меня на муки... — Бобо-хан замолчал.

— О чем ты говоришь, старый дурак? — беззлобно взорвался Касиб-хан. — У тебя скоро внуки женятся, а ты о муках каких-то ворчишь. Не свихнулся ли, часом, от сладкой жизни?

— Хороша сладкая жизнь... — Бобо-хан замолчал. — А ты помнишь еще, или уже забыл?

— Помню, — спустя минуту, произнес Касиб-хан. И снова чуть погодя повторил: — Помню.

— Я хотел его подбить... — внезапно Бобо-хан оживился, в глазах его появился лихорадочный блеск. — Между нами было метров... метров десять, наверное. Я замахнулся гранатой, и тут, словно пчела ужалила меня в руку. Я оторопел, не успел ничего сообразить, как пчелиное жало вонзилось в ноги. Помню, сполз на землю и тут заметил, что танк ползет на меня. Теряя сознание, я видел, как гусеницы подбираются ко мне... Потом небо обрушилось на меня.

Касиб-хан помнил больше. Земля, небо, воздух — все гудело, гремело, грохотало и скрежетало. Дышалось с трудом, пыль и огонь стлались над степью. Касиб-хан видел, как Бобо-хан выполз из окопа и, подпустив «Тигра» поближе, встал, замахнулся гранатой, и тут огненная струя сразила его. Касиб-хан, увидав, как «Тигр» пополз на Бобо-хана, закрыл глаза и опустился на дно окопа. Плакать он уже давно не мог. Он пропустил танк, и когда тот прополз над окопом, выпрямился и с силой бросил вслед гранату. «Тигр» запылал. Касиб-хан действовал, как заведенный механизм. Он выполз из окопа, встал на колени и бросил гранату на другой танк, надвигавшийся на него. Тот вздрогнул перед снопом пламени и застыл. Касиб-хан скатился в окоп, схватил автомат и стал с остервенением расстреливать выбегавших из горящих машин фашистов. Улучив минуту, он бросил взгляд в сторону Бобо-хана. Тот лежал на снегу без движения. По щекам Касиб-хана покатались горошинки. Но это были не слезы. Это был холодный пот.

— Все-таки есть у тебя вопрос ко мне, — сказал Бобо-хан, улыбнувшись. — Клянусь прахом моей матери, есть. По глазам вижу.

— Да ладно уж, — протянул устало Касиб-хан и вдруг задал первый пришедший на ум вопрос: — Скажи, ты не слышал, что было на том месте, где сейчас стоит мой дом?

— Это ли ты хотел узнать?

— Да, да, это.

— Хитришь, друг. Ты сам прекрасно знаешь, что там прежде стоял сельсовет.

— Сельсовет... ах, да, это я знаю, — удрученно произнес Касиб-хан, но тут же оживился. — А до того?

— До того... А кто помнит... Сельсовет располагался в бывшем доме шамхала.

— Шамхала... — Касиб-хан хлопнул себя ладонью по лбу. — Шамхала...

— Нашел что-нибудь? — засмеялся Бобо-хан.

— Скажешь тоже. — Касиб-хан принялся шумно пить чай, уставившись в блюдце. — Нашел... Что тут найдешь? Да и разве я нуждаюсь в чем-либо?

— И правильно, слава аллаху, не милостью его живем.

Бобо-хан поднялся с тахты, пошел в дом и вернулся с широкой медной чашей, наполненной орехами и яблоками.

— Ешь, Касиб-хан, твое лакомство, ешь на здоровье.

— Не откажусь. — Касиб-хан положил в ладонь два ореха, сжал кулак. Послышался треск скорлупы. — Есть еще сила, — сказал он, горделиво подняв голову и слушая, как Бобо-хан удивленно произносил «машалла», «машалла».

III

Касиб-хан проснулся на рассвете от какого-то чувства щемящего беспокойства. Он неслышно оделся, вышел из дома и направился к тутовому дереву. Земля здесь вся была изрыта. «Неужели кто-то копал? Не может быть. Они не знают ничего о золоте. Кто же? Что это может быть?» — лихорадочно заработала мысль, и вопросы, как осы, жалили его, не находя ответа. Он затрусил к сараю, схватил лопату и только принялся копать, как за спиной, от дверей послышался женский голос.

— Касиб-хан, угомонись, мальчик вчера накопал червей.

Он спрятал голову в плечи, насторожился. «Ах, это же Айша, моя жена, — сказал он себе, — не пугайся. Но почему она вышла следом? Учужала что-то, разнюхала, как кошка?»

— Оглох ты, что ли, я же говорю, мальчик накопал вчера червей, — повторила Айша, кутаясь в платок.

Когда до Касиб-хана дошел смысл ее слов, он вдруг размяк и сел на землю. Силы покинули его.

— Совсем свихнулся старик, — сказала Айша и ушла в дом.

Касиб-хан сидел усталый, опустошенный, повторяя поминутно про себя: не знают, не знают... Наконец, успокоившись и придя в себя, он поднялся и стал утрамбовывать яму, громко ворча, чтобы слышали домочадцы: — Весь двор изрыли, места живого не оставили; куда это годится, землю так уродовать. — Потом он отнес лопату в сарай и вышел на улицу.

Дорога на колхозный ток вела мимо дома Джона, который стоял высоко на пригорке, открытый всем ветрам. Отсюда, сверху, дома расположились веером. От кромки веера до самого мо-

ря, которое заманчиво синело вдали, лежали виноградные плантации, рассекаемые автотрассой и железной дорогой, а слева и справа синели рощи. Дом Джона был двухэтажный, кирпичный, с мансардой, построен в готическом стиле. Эскиз дома Джон привез из Латвии, и назло всем пересудам и насмешкам сельчан строители под руководством Джона поставили такой дом, что он стал украшением всего села. Такого стиля здесь еще не знали.

Двор дома не в пример другим чист и ухожен. В хозяйстве Джона не было ни кур, ни овец, ни коровы. Зато вся территория, невысокий забор, стены дома увиты виноградником. От калитки к дверям дома вел длинный коридор, теснимый буйными лозами. И такого двора в селе не было. Да и как быть, когда в хозяйстве нужны и птица, и скотина, а где они, там и грязь, и гомон, и шум.

Многие сельчане удивлялись непрактичности Джона, подсаживали и советовали, как вести хозяйство. А он поддакивал, соглашался, однако жил по-своему.

Касиб-хан, облокотившись на забор, долго смотрел на этот чудный дом, которому, впрочем, завидовал, как и все в селе, пока его не заставил вздрогнуть насмешливый голос:

— Нравится?

Касиб-хан вгляделся, увидел Джона, который опрыскивал виноградник, удивленно произнес:

— Что это ты, ни свет ни заря?

— А потом времени не будет.

— Не забывайте, что он главный агроном, — вдруг донеслось из соседнего двора. — Когда ж ему время искать для личного хозяйства, как не сейчас.

Джон подошел к забору:

— Это Абдулла, мой дорогой сосед. Днем выпится в бухгалтерии, а ночью мучается бессоницей.

— Твое богатство сторожу, — донесся опять голос Абдуллы.

— А кто его унесет? Вот-вот созреет виноград, продам его, выручу деньги и укачу за границу.

— Тебе бы только по заграницам ездить, деньги проматывать, — сказал Абдулла.

— Проматывать, проматывать, эх ты, скопидом, — перердразнил его Джон, — дальше своего носа ничего не видишь. Вот поездил я по Средиземному морю, какие только страны не повидал.

— Умнее становишься?

— Может быть... Был потом в Скандинавии, и скажу вам честно, всего там хватает: и красоты, и богатства, и нищеты, и всякого безобразия.

«Вот бы поехать куда-нибудь, — подумал вдруг Касиб-хан, — моего клада хватит, чтобы объехать весь мир, да зачем мне мир, мне бы хоть чуток прошагать по чужой земле, послушать, как она сейчас дышит...»

— А вы, кажется, тоже были за границей? — вдруг спросил Джон, словно прочитав его мысли.

— Был, — сказал Касиб-хан, — когда земля горела. Что я видел? Обугленные деревья, разрушенные города, напуганные, голодные лица... Я войну видел...

— Слушай, Джон, я недавно прочитал в газете, что в океане раскололся танкер. Раскололся на две половины... — прервал его мысли Абдулла.

— Мне, как видишь, повезло, — засмеялся Джон.

— А еще сообщали, как на Канарских островах столкнулись два самолета. Четыре часа пожарники тушили огонь на взлетной полосе...

— Я на Канары не летал. Я летал в Париж.

— И где только он не был, — вздохнул Абдулла. — Деньги некуда девать.

— И это правда, — засмеялся Джон. — Для чего они мне? Вот сдам винограду и полечу в Англию.

— Ты... серьезно?..

— А почему нет? Я и документы уже подготовил.

Чудной парень, — подумал Касиб-хан, — а впрочем, и его покойный отец был такой же. Красив, крепок, широк в плечах. Мог взвалить на себя осла и пронести по улице. В доме у него никогда не оставалось лишнего яблока, груши или грозди винограда — раздавал детям. Если кто-то нуждался в муке — делил с ним свою муку, у кого-то не было света в доме — отдавал свою лампу. А сам жил в ветхом домике, который мог развалиться от удара грома... Чудной был мужик. Однажды в газете он вычитал об американском журналисте Джоне Риде. Раздобыл и прочитал его книгу «10 дней, которые потрясли мир». Воспылал любовью к американцу и в его честь своего третьего сына назвал Джоном. Сельчане вначале недоумевали, потом привыкли к заморскому имени.

— А я иногда думаю так, — прервал воспоминания Касиб-хана голос Абдуллы, — нет ли у тебя за границей кого-нибудь из родственников?

Джон захохотал.

— Все село разбудишь. — У забора остановился председатель колхоза. — Доброго утра вам.

— Пора вылезать из постели, — сказал Джон, утирая со щек слезы.

— И то правда. А чего хохотал?

— Да Абдулла опять.

— Расселить вас надо, чтобы не мучили село, — громко сказал председатель колхоза, подмигнув предупредительно Джону.

— Привет вам, я отсюда никуда не уйду. Пусть Джон со своим домом перебирается.

— Куда же мне? — спросил Джон.

— А по мне хоть в Лондон...

— Ну, в Лондон он и так едет... а вот план по винограду мы в этом году не выполнили.

— Земля не родила, — сказал Абдулла, который подошел к ним и облокотился на забор рядом с Касиб-ханом. — Тут нашей вины нет.

— А никто нас не винит. Просто мы дали промашку, не доглядели, а земля любит внимание, уход.

— Что ж, придется сдать свой виноград, — сказал Джон.

— Как, свой?

— С личных участков.

— Хватил, в кассе на выплату денег нет...

— А деньги не нужны. Безвозмездно.

— Ну да, безвозмездно, — протянул Абдулла, — как безвозмездно... — Ты сдашь? — Абдулла уставился на Джона. — Он сдает? Он в Лондон едет на винограде, а нам голову морочит.

— Не сдаст, а сдаю. Понимаешь разницу. С-д-а-ю.

— Как же получается? У кого есть виноградник, те сдадут урожай колхозу. Ясно. А у кого его нет? Останется в стороне? — спросил Абдулла.

— Ну и что? — удивился Джон.

— И не понесут никакого ущерба?

— Какой же это ущерб — сдать виноград государству?

— Не делай из меня дурака... — вскипел Абдулла. — Вот у Касиб-хана, к примеру, виноградника нет, он выиграл.

— А что он может сдать, кур и индеек?

— Если нужно, пожалуйста, берите. Сдам всю птицу, — подхватил Касиб-хан, — я разве возражаю? Сдал бы и виноград, но нет его у меня.

— Потому и сдал бы, что нет, — отрезал Абдулла.

— А ты-то что кипятишься? — удивился Джон. — У тебя виноградник с утиный хвост. Тебе чего терять? Можешь не сдавать, никто не заставляет.

Абдулла замолчал, что-то пробубнил под нос, и вдруг спохватившись, протянул:

— А как же Лондон?

— А что Лондон? Лондон остается на своем месте.

— Ты, ты как?

— Ах, я... — Джон засмеялся. — Полечу.

— На какие... — Абдулла подбирал слово, — на какие деньги... Или клад нашел?

— Эх, и дурень ты, Абдулла, хоть и сосед мне. Живем — не бедствуем, и на путевку хватит.

Над узкой полоской неба, которая приткнулась к морю, занималась заря. Начинался день.

IV

На четвертый день неясная хандра охватила Касиб-хана. Почему-то ему и свет стал не мил и люди безразличны. И эти курганы зерна, которые золотились под солнцем на колхозном току. И даже синее густое небо, которое обычно вызывало у него не по годам нежное умиление. Ему стали безразличны и шум моторов, и движение машин, и если бы на току появились незнакомые люди, он бы вряд ли поднялся сейчас со своей скамейки в тени забора.

Хандра почти не посещала Касиб-хана, и потому он вдруг решил, что его оставляют силы. И даже в эти часы и минуты, когда перед расставанием с жизнью и уходом в неведомое человека охватывает страх, Касиб-хан остался равнодушным к себе. Только на какой-то миг представил жену, убивающуюся над его телом, сына и невестку, внука с червями в кулаке, и с щемящей болью подумал: они же не знают о золоте, пропадет золото, и никому от него радости не будет.

И даже в эту минуту у него не появилось никакого желания перебороть себя. — Смерть сильна, — сказал он себе отрешенно, — ее не обмануть, не обойти... — Касиб-хан закрыл глаза и незаметно уснул.

... Проснулся он от промозглой сырости. Земля была холодна. Вокруг копошились черви. А, чтоб вам пусто было, — Касиб-хан отмахнулся от них, — я не рыба, глотать вас не собираюсь. Внезапно холодный пот прошиб его. Неужели они решили съесть меня? Неужели они смогут съесть человека? Проклятые, я вам покажу! Касиб-хан принялся давить червей, но их было много, и он вскоре устал. — Хоть бы палка была под рукой или камень, — подумал он, — проклятые, я вам покажу! — Он стал разгребать землю и вдруг наткнулся на что-то твердое. — А-а-а, сейчас я вам покажу, как есть меня! Сейчас я вытащу этот камень... — Он очистил обнаруженный предмет, который оказался казаном, стряхнул с него землю, содрал буйволиную кожу и запустил в него руку. Меж пальцев заскользили монеты. Он поднес к лицу пригоршню и вдруг швырнул ее наземь, всхлипнув: «Мне камень нужен, камень!» И тут почувствовал

твердое прикосновение к плечу, и хриплый голос произнес: «Касиб-хан!» — Кто это? — съезжился Касиб-хан, вобрав голову в плечи. «Касиб-хан, это я, Шамхал», — повторил хриплый голос. — Шамхал? Быть не может, — похолодел Касиб-хан, — неужели пришел за золотом, нет, не отдам... — Он повалился на казан и закрыл его своим телом.

... Боль в плече заставила его открыть глаза. Перед ним стоял Шамхал, колхозный шофер, не сводя испуганных глаз.

— Касиб-хан, выпил, что ли?

— Что? Выпил? Чтоб твой язык черви съели! Ты когда-нибудь видел, чтобы я пил? — Касиб-хана взорвало.

— А почему валишься? Я еле тебя поднял с земли.

— Валишься... Если бы ты знал, почему я валился, ты бы язык проглотил.

— Ну скажи, почему?

— Золото закрывал. Телом своим, — добавил Касиб-хан.

— Во сне, что ли?

— Во сне, конечно. А ты думал, что... — Касиб-хан поднял голову и посмотрел в большие синие смеющиеся глаза Шамхала: — Может, на самом деле здесь лежит казан. Иди, разгребай.

— Будь у меня казан золота, что бы я сделал... — мечтательно проговорил Шамхал, присев на скамейку рядом с Касиб-ханом.

— Что бы ты сделал, — в тон ему сказал Касиб-хан. — Пропил бы...

— Что бы я сделал... Отправился бы в кругосветное путешествие. Весь мир повидал бы...

— А это очень нужно? — спросил Касиб-хан.

— Кому как. А я поехал бы. Африка, острова в океане, штормы и ураганы, сказочные земли...

— Тебе надо дочерей замуж выдавать, а не по сказочным землям болтаться, — сказал серьезно Касиб-хан.

— Выдам, и на них хватит.

— Хватит... — с ехидцей проговорил Касиб-хан. — Сколько их у тебя? Девять или десять?

— Скоро будет десятая, — засмеялся Шамхал.

— Вот-вот, девчат нарожал, а сам думает в Африку ехать, в океаны... Ветер у тебя в голове.

— Ты что ругаешься, Касиб-хан? Я еще и казана пустого не видел, а ты уже разошелся, как курица.

— Э-э-э, язык не распускай, не то я тебе покажу курицу.

Казана не видел, подумаешь ты... А увидишь, так промотаешь за неделю.

Шамхал посмотрел на рассерженного Касиб-хана и вдруг громко рассмеялся.

— Ты чего?

— Я уже и казан нашел, и промотал его... Ну и хорошего ты обо мне мнения... — Шамхал вытер слезы со щек. — Да хоть и найду, по закону его полагается сдать.

— А ты бы сдал?

— Что сдал?

— Что сдал... Какой-то бестолковый ты сегодня, не выпил ли?

— За рулем не пью. Так что бы я сдал?

— Казан... золота...

— А куда его девать? Солить, что ли? Узнают о кладе — не одобровать, судить могут.

— Это еще зачем? — удивленно уставился на Шамхала Касиб-хан.

— Зачем, почему... Тебе бы меня учить, а получается наоборот, я должен учить тебя. А затем, что всякий клад — это государственная собственность. Понял? Не моя, не твоя, не мы его спрятали, не мы его владельцы... Ну, машина ждет меня. Я поеду, а ты смотри, не падай, никакого казана там нет.

Шамхал встал, потянулся, широко зевнул и пошел к своей машине.

«Никакого казана нет, — передразнил его про себя Касиб-хан. — Зубоскал. Посмотрел бы я на тебя, если б ты нашел казан. Какие бы песни пел».

И тут Касиб-хан понял, что хандра с него спала, как спадает осенью золотой наряд деревьев. И думы о том, как поступить с находкой, овладели им.

Вечером следующего дня, возвращаясь домой, Касиб-хан задержался у дома своего деверя. Из окна доносились громкие голоса. Спорили. Касиб-хан пошел было дальше, но потом вернулся назад.

А в доме происходило следующее. Старый Паридалав в накинутах на плечи тулупе, скрестив под себя ноги, сидел на жесткой тахте и, теребя худосочные рыжевато-седые усы, улыбался. За столом сидели его дети: четверо сыновей и четыре дочери. Старая Майрам расположилась на ковре у подножия тахты. Лицо ее, матово-белое, было непроницаемо. Она сосредоточенно вязала цветной с затейливыми узорами джураб. Старый Паридалав посмеивался. Шесть лет он не видел своих детей: разъехались по разным городам, обзавелись семьями и забыли своих родителей в хлопотах и заботах. Правда, свадьбу все до

единого сыграли в селе, потому что отец имел возможность устроить им пышную свадьбу, на зависть многим, да быстро забыли о стариках.

Не хотел Паридалав быть гастролером, ехать от одного своего дитя к другому, а сердце требовало их. И внезапно его осенила мысль. Поделится ею с Майрам. Та ничего не ответила, никак не среагировала. Она никогда не вмешивалась в мужнины дела. Разозлился Паридалав, назвал ее рыбой, пошел в отделение связи и дал телеграммы следующего содержания: «Чувствую себя плохо приезжай пока жив поделю наследство Отец.» Девчонка-телеграфистка подняла на него удивленный взгляд, но он хитро улыбнулся и строго велел: — Принимай, как написано.

Вечером к нему зашел отец телеграфистки, озабоченный состоянием здоровья Паридалава, но Паридалав успокоил его. Посмеялись, выпили по стакану доброго домашнего вина и разговорились. Расстались поздно вечером.

Дети приехали в один день. В село добрались со станции в одном автобусе. И увидев отца здоровым и веселым, были поражены и повергнуты в уныние. Но быстро пришли в себя и все как один стали обвинять его в ребячестве, в несерьезности, в не по годам легкомысленной шутке. «Чего же вы ломали себе голову? — думал Паридалав в ответ. — Я же не писал вам, что умираю. Плохо чувствую себя — и только... Вас гнало сюда желание получить свою долю наследства!»

Дети, конечно, отвергали эту мысль, но Паридалав упрямо стоял на своем. И тут он принял еще одно неожиданное решение: раз уж дети собрались все, поделить между ними то, что имеет цену. И на душе станет спокойней и легче. Кто знает, что с ними будет завтра. Приходит время, когда нажитое тяжелым бременем ложится на душу и хочется от него освободиться.

Паридалав окинул взглядом сидевших за столом детей, которые имели уже своих взрослых детей, и стал перечислять: шесть ковров ручной работы — и загнул палец, коллекция старинного оружия — загнул другой палец, старинная посуда из серебра и украшения к национальной одежде — загнул третий палец, десять баранов и две коровы, за которыми нужен уход, — загнул четвертый палец, задумался, вспомнил — большие часы с боем — загнул пятый палец, таратайку без коня, конь утонул несколько лет назад в болоте — загнул шестой палец, фруктовый сад на приусадебном участке — загнул седьмой палец... Потом поднялся невообразимый гвалт: кому-то нравилось одно, кому-то другое, кто-то не хотел уступать...

Именно в этот момент дверь открылась, и в комнату вошел Касиб-хан.

— Мир вашему дому, — сказал он, удивленно глянув на сидящих за столом. — Не торжество ли у тебя какое, Паридалав?

— Торжество, торжество, и еще какое, — размахивая руками, отозвался Паридалав. — Заходи, присаживайся.

Касиб-хан сел рядом, на тахту и вновь воззрился на детей Паридалава.

— Что вас привело сюда всех сразу?

Те, при виде непрощенного гостя, медленно остывали и в душе негодовали на него: какой черт занес так некстати.

— Свое богатство раздаю детям, — хихикая, ответил на его вопрос Паридалав.

— Какое еще богатство? — у Касиб-хана почему-то похолодела спина. — Какое богатство? — повторил он, но уже шепотом и настороженно.

— А ты думаешь, только у тебя есть богатство? — спросил Паридалав, хитро блеснув глазами.

— Какое у меня может быть богатство... откуда ему быть, — прошептал Касиб-хан, покрываясь испариной, и подумал про себя: «Какой черт занес меня сюда? Неужели знает?»

— Хе-хе-хе, бедный, совсем обеднел... Твой дом, твоя скотина, твои бочки с вином — это не богатство? Это, по-твоему, что, скажи мне, а? Простака из себя строишь...

— Слава аллаху, не знает, — облегченно вздохнул Касиб-хан и провел ладонью по мокрому лбу.

— Скажешь, и денег совсем нет? Совсем не припас?

Касиб-хан хотел было возразить, но Паридалав прервал его:

— И не раскрывай лучше рта. Есть. Ну и на радость, и на здоровье. Да, наверное, все сыну отдал. Так ли? И я вот решил все нажитое раздать детям.

— Как раздать... сейчас?.. При жизни? — протянул Касиб-хан.

— А какой мне интерес после смерти? Я не увижу радости на лицах моих детей.

— По-моему, они больше разочарованы и недовольны твоим решением, — неуверенно сказал Касиб-хан.

— Недовольны, — передразнил его Паридалав. — Конечно, недовольны, потому что перестали делить наследство. Ты помешал. — И он засмеялся.

— Я пойду, — сказал Касиб-хан, вставая, но Паридалав цепко схватил его рукой и усадил на тахту:

— Пойдешь, когда я отпущу. Майрам, подай своему брату вкусного чего-нибудь. Потом и детям подай, когда они закончат дележ.

Майрам встала, отложила вязание, взглянула на Касиб-хана, глаза ее потеплели, и пошла на кухню. Касиб-хан проводил

взглядом сестру, удивился ее спокойствию и невозмутимости, перевел глаза на Паридалава и подумал: «Всю свою жизнь чудил мужик. И на старости лет не перестает. Неужели он на самом деле решил раздать нажитое добро детям? Сейчас? Когда ничто еще не говорит о близости смерти?»

Паридалав, словно прочитав его мысли, придвинулся и шептал на ухо:

— Честное слово, решил. И знаешь, ради чего? Только ради того, чтобы собрать всех детей вместе, всех вместе увидеть.

— Ради этого раздавать добро? — удивился Касиб-хан.

— Я обещал им. Не хочу быть болтуном. А нам с Майрам хватит того, что останется. Не беспокойся, себя не обидим.

Майрам принесла на темном подносе, разукрашенном красными цветами, фрукты, ореховую халву, кувшин родниковой воды и поставила его на тахту, между Паридалавом и Касиб-ханом. Потом опустила на свое место и принялась за вязание. Паридалав взглянул на шушукавшихся детей, спросил:

— Что умолкли, языки, что ли проглотили? Или дядю застеснялись? Давайте продолжим наш разговор: кто что выбирает.

Дети Паридалава постепенно разговорились, и вскоре в комнате поднялся невообразимый гвалт. Касиб-хан с удовольствием ел халву, запивал ее холодной водой и поглядывал на лица племянников. Еще совсем недавно они беззаботно бегали по пыльным сельским улицам, а сегодня, рослые, возмужавшие, сидели за столом, и каждый раскрывался новой гранью характера! Младший сын Паридалава широко и громко зевнул, словно пытаясь перекрыть шум, встал из-за стола и направился к дверям.

— Ты куда, сынок? — окликнул его Паридалав, держа огромную чашу на растопыренных пальцах.

— Ты мне можешь отдать... кусок неба, который висит над твоим домом, отец? И твою трубку, и таратайку?

— Могу, сынок, со звездами впридачу. И трубку говоришь? Ты стал курить, сынок?

— Да, отец.

— Ну что ж, мужчина должен уметь курить. Дам и трубку. И таратайку, только коня купишь сам.

— Спасибо. — Сын распахнул дверь и вышел.

— Этот старик со своими бредовыми мыслями может мир перевернуть, — сказал Майрам, не меняя выражения лица. — Стар стал — поглупел.

Паридалав хихикнул:

— Поглупел говоришь? А тебе разве не доставляет радости

видеть всех детей в доме? Вижу — радостно. А добро... оно им принадлежит. Им собирали. Да и так ли они жадны? Гляди на своего младшего. Зевнул и ушел. Небо ему дай. Ты понимаешь — небо. Пустоту. Ничто. Чудак, весь в меня.

Касиб-хан пожелал всем доброй ночи. И пошел домой. На улице было темно и тихо, и воздух был теплый, как парное молоко. И шелковая шаль неба, мерцавшая зелеными звездами, висела над землей. Медленно и осторожно ступая по дороге и глядя в небо, Касиб-хан вдруг подумал: «Как все-таки беспомощен и жаден к жизни человек в этом бескрайнем загадочном мире».

VI

В субботу Касиб-хан стал героем дня. А произошло вот что. Поднявшись часов в одиннадцать на смотровую вышку, как называли здесь сторожку, установленную на четырех высоких шестах и крытую соломой, Касиб-хан разложил старый матрац и устало опустился на него. Здесь, в тени соломенной крыши, было нежарко, да и ветерок приносил из леса прохладу. Касиб-хан глянул вниз, на курганы зерна, лежавшие на току, перевел взгляд на село. И насторожился. Из окна второго этажа дома колхозного зоотехника вился дымок. Он выползал сизой тонкой лентой и уходил в небо. Может быть, топят, подумал Касиб-хан, но кто же летом будет топить печь в доме. Летом все работы делают во дворе. Касиб-хан оглядел зеленую, красивую улицу, которая начиналась с дома зоотехника, потом обсаженное деревьями озеро, лежавшее между домом и колхозным током, и снова перевел взгляд на окно второго этажа. Из него продолжал тянуться дымок. Неясное беспокойство подняло Касиб-хана. Он спустился вниз, попросил помощника весовщика присмотреть за порядком и заторопился в село. У ворот дома зоотехника он остановился и поднял голову. Из окна вырывались густые клубы дыма. Касиб-хан открыл калитку, побежал к дому, дернул дверь. Она не поддавалась. Касиб-хан застучал кулаками. Никто не откликнулся. «Что здесь происходит, — подумал он, — дом закрыт, в комнате дым. Ничего не пойму. А вдруг задохнулись ночью от дыма, и дверь потому закрыта?» Касиб-хан толкнул дверь плечом, она не поддавалась, лишь скрипела под ударом большого, тяжелого тела Касиб-хана и только с седьмого толчка распахнулась. Касиб-хан влетел в прихожую, шлепнулся на пол, но тут же поднялся и взбежал по деревянной лестнице на второй этаж.

— В доме есть кто-нибудь?! — крикнул он.

В первой комнате никого не оказалось, он вбежал во вторую и остановился, тяжело дыша. В углу, за платяным шкафом, си-

дели, прижавшись друг к другу, две девочки. Комната наполнялась дымом.

— Что вы здесь делаете? — спросил Касиб-хан и тут же понял, что спрашивает совсем не то. — Что здесь происходит?

Вобрав головки в плечи, девочки пугливо смотрели на него, потом глянули друг на друга и внезапно разревелись, тяжело кашляя.

Касиб-хан схватил под мышки девочек, спустил вниз, вынес во двор и снова вернулся.

«В той комнате пожар, — мелькнула мысль, — если я открою дверь, огонь перекинется и сюда...»

Он подошел к окну и что есть мочи закричал:

— Соседи, на помощь, на помощь!

Потом хлопнул рукой по лбу: «Старый дурак, все они на работе, я здесь один... один... Что я смогу сделать? Пока кликну людей, все добро сгорит...»

Но во двор уже вбежали трое соседских ребят.

— Один из вас быстро к пожарникам, другие приставьте лестницу к стене и тяните от крана шланг. Я сейчас выйду.

Касиб-хан сбежал вниз, выскочил во двор и, увидев, что ребята уже тянут шланг, обрадованно подумал: хорошо, что в каждом дворе и кран и шланг свой, а то пока дождешься пожарников, стены дома останутся без крыши.

Он выхватил из рук ребят шланг, взобрался на лестницу. Дым окутал его, полез в ноздри, в глаза, в рот, он закашлялся и вдруг заорал:

— Открывай...

Вода вырвалась из шланга и ударила в окно. Касиб-хан направил струю в форточку.

— Разбейте окно, дядя Касиб-хан, окно разбейте, — крикнули ребята.

«И то верно, — подумал Касиб-хан, — чего беречь окно, когда в комнате все пропало». Он что есть силы толкнул раму, створки распахнулись, ударились о стены, брызнуло стекло, из комнаты вырвался черный дым и тонкие языки огня. Касиб-хан отпрянул, его качнуло, но он удержался на ступеньке лестницы, потом, вдохнув поглубже, поднялся к окну, полез в дым и, зажмурившись, направил струю воды в комнату. Он водил шлангом влево, вправо, обливая стены комнаты, потолок. Сколько времени продолжалась схватка с огнем, он не знал. Но, как ему показалось, недолго. Огонь не успел вспыхнуть, он только зарождался, и Касиб-хану удалось сбить его. Потом он взобрался на подоконник и спрыгнул в комнату. За ним полезли и ребята.

— Вам что тут делать, — закричал на них Касиб-хан, кашляя, — а ну, вон отсюда. Быстро.

Но ребята не уходили, и Касиб-хан в душе похвалил их. Не трусливые, настоящими мужчинами будут.

Касиб-хан устроил шланг на подоконнике так, чтобы вода стекала во двор, и оглядел комнату. Это была детская, она вся почернела от дыма и копоти. Сгорели занавески и небольшой ковер, лежавший на полу: он продолжал еще тлеть, и ребята топтали его ногами, обутыми в сандалеты.

Когда во двор въехала пожарная машина, в черном проеме окна второго этажа были видны три закопченных улыбающихся лица. Пожарникам здесь делать было уже нечего, и, обойдя комнату, а затем осмотрев весь дом и убедившись, что очагов пожара больше нет, они уехали. Ребята забрали перепуганных девочек к себе.

Касиб-хан, умывшись под краном, направился на колхозный ток. Никто не заметил черных пятен ни на его лице, ни на одежде. Все были очень заняты работой.

Касиб-хан поднялся в сторожку, сел на матрац и только сейчас почувствовал, как сильно устал.

Не прошло и десяти минут, как все село узнало о поступке Касиб-хана.

VII

В воскресенье на колхозном току былолюдно и шумно. Из города на помощь колхозным механизаторам приехали шестьдесят водителей, и Касиб-хану прибавилось заботы. Он внимательно следил, чтобы машины не рассыпали по двору зерно, не вдавливали колесами в землю. Касиб-хан знал цену каждому колоску, каждому зерну и, когда видел мчавшуюся к току в облаке пыли машину, шел к весам и там отчитывал водителя. Тот вначале слушал Касиб-хана с ухмылкой, потом начинал ударять ногами по покрышкам, словно проверяя их прочность, а на самом деле вымещая зло за привередливость старика, но в последующие дни работал лучше.

И когда на закате дня Касиб-хан ввалился в свой двор, ему не хотелось ни говорить, ни есть. Он был утомлен. Подтащив из сарая под тутовое дерево раскладушку, он вытянулся на ней, закрыл глаза и почувствовал себя вдруг легким, невесомым.

— Касиб-хан, не заболеть бы тебе...

Участливый голос заставил его открыть глаза. Перед ним стояла жена. Эх, сестра дурного Паридалава, сказал он про себя, что тот слаб умишком, что эта. Только вздремнул, и на тебе — разбудила... Касиб-хан заложил руки за голову и тяжело вздохнул:

— Не заболею, не беспокойся. Вон ноги у тебя как опухли, неужели не можешь к доктору сходить?

— А чем доктор поможет? Вчера пиявки поставила, легче стало.

— Пиявки поставила,— передразнил Касиб-хан,— к доктору надо идти. Что за невежественный народ! Не знал я, что на старости лет ты станешь такой глупой...

— Куда мне с таким умником, как ты, спорить. Все знаешь, все умеешь... все благодарностей дожидаясь... Не оттого ли ты на этой неделе такой беспокойный? Посмотри на себя в зеркало: глаза ввалились, осунулся, побледнел.

— Какой такой беспокойный,— прервал ее Касиб-хан,— таким и был всю жизнь. Ведь ты хорошо меня знаешь.

— Хорошо, еще как хорошо,— захихикала она.

«Ну точно Паридалав,— сказал про себя Касиб-хан,— два яблока с одной яблони». И напустил на себя строгость:

— Хватит, принеси-ка лучше чаю, да покрепче.

Минут десять спустя жена поставила у раскладушки низенький столик с чайником и стаканом, подложила под спину Касиб-хану подушку.

— Пойду к Паридалаву, дети приехали.

— Пойди и от меня привет передай,— сказал Касиб-хан, а про себя добавил: «и послушай, как имущество при живом делать. Ну и чудак этот Паридалав. А может, таким и следует быть?»

Касиб-хан выпил чаю, удобно вытянулся на раскладушке и задремал. Когда он внезапно открыл глаза, был уже вечер. «Почему в доме темно?» — подумал он, но вспомнил, что сын с семьей уехали в город, а жена, очевидно, еще не вернулась от брата. И вдруг в нем вспыхнуло сильное желание осмотреть содержимое казана. Он старался заглушить не вовремя пришедшее желание, но оно вспыхивало с новой силой. Наконец Касиб-хан встал, принес из сарая лопату, озираясь по сторонам, лихорадочно выкопал казан и засыпал яму снова землей. Потом отнес лопату и вышел с мешком. Он бережно опустил казан в мешок, взвалил на спину и вышел на улицу.

Касиб-хан осторожно ступал по темной сельской улице и думал о том, как ему воспользоваться богатством. Купить машину сыну? Люди удивятся, ведь все село знает, что у него нет таких денег, и сын удивится, да еще посчитает, что он всю жизнь скрывал деньги... Построить новый дом, просторный... Опять же удивятся... Сказать, что на лотерейный билет выпал выигрыш? Ах, чтоб ему... Куда его девать, ну куда? Пойти сдать? Кто это говорил, что можно сдать? А, Шамхал. Можно сдать... Нужно сдать, а не можно... Э, а если сдам, меня в душе посчитают ду-

раком. Хе-хе, честное слово. В глаза, конечно, будут хвалить, а за спиной смеяться. Пойти сдать казан золота, хе-хе, кто бы на такое решился? Но что с ним делать?..

Так размышляя, Касиб-хан вышел на трассу и пошел по обочине.

И все из-за внука, паршивца, нужны были ему эти черви? Не понадобится проклятая богом мерзость, не терзался бы я сейчас дурацкими мыслями. Не было всю жизнь богатства, жил хорошо, главное — спокойно. А сейчас что, разве это жизнь? Муха. Покой потерял... тьфу... Касиб-хан вздрогнул. Рядом, взвизгнув тормозами, остановилась машина. Шофер распахнул дверь кабины и весело крикнул:

— Садись, полуночник, подвезу... А, Касиб-хан, куда в ночь направился?

Касиб-хан узнал по голосу Шамхала, успокоился, взобрался в кабину и положил мешок между ног.

— В Башлыкент... Вернее, на ферму, не доезжая Башлыкента... А ты чего шастаешь ночью?

— Кирпич вожу, новый Дворец культуры строить. Ночью кирпич, днем зерно. Зилу на рассвете. Жена меня совсем не узнает, забыла уже.

— Это лучше, хе-хе,— засмеялся Касиб-хан,— любить будет сильней.

— Мне от того не легче. На любовь сил уже нет. Падаю в постель, как чурбан. А ты куда в ночь, не клад ли ищешь?

Касиб-хан наигранно засмеялся.

— Если найдешь, позови меня, помогу выкопать. Вот и дорожка на ферму.

Машина остановилась. Касиб-хан, держа мешок в руке, прыгнул на землю.

— Спасибо сынок.

— Счастливого пути.

Касиб-хан долго смотрел вслед умчавшейся машине, потом перекинул мешок за спину и направился к лесу, который темнел в стороне от молочнотоварной фермы. Путешествие уже не доставляло ему радости, а наоборот, вызывало в душе недовольство. Осторожно ступая в темноте, он укорял себя за то, что поддался соблазну, позволил помутиться разуму, и тут же защищал: этот желтый дьявол кого только с разумного пути не свернет, разве я могу быть для него исключением?

Наконец Касиб-хан углубился в лес, опустил мешок на землю и прислушался. Было тихо. Он сел на землю, достал казан и высыпал его содержимое на разостланный мешок. Потом включил фонарик и пристроил его рядом так, чтобы луч упал на ме-

шок. Засверкали золотые монеты. Касиб-хан зачерпнул пригоршню, поднес к глазам. Вдруг Касиб-хану почудился шорох. Он замер, прислушался. Где-то тяжело хрустнула ветка... Касиб-хан быстро собрал золото в казан, опустил его в мешок и снова прислушался. Шорох. «Неужели кто-то шел за мной? — подумал Касиб-хан. — Шамхал?! Шамхал уехал, сам видел, как он уехал... Но он мог вернуться... Да, но не сюда, а на ферму. Он думает, я ушел на ферму... Кто же это?»

Снова хрустнула ветка. Касиб-хан вскочил, поднял мешок и устремился вперед. Он шел быстро, ломая ветки, царапаясь и не замечая царапин, уже отчетливо слыша преследователя. Касиб-хан не разбирал направления, его подстегивала одна мысль — уйти, оторваться от преследователя. Его не пугал лес, но ему не хотелось, чтобы незнакомец застиг его в лесу. Под ногами зачавкало. «Откуда здесь вода? — подумал Касиб-хан. — В наших местах не было ни топи, ни болота... Топь, топь была, мы ее просто обходили, потому и не встречались с ней». Он остановился и тут же услышал хруст. «Ах, шайтан, — подумал про себя Касиб-хан, — все против меня настроено, и свернуть некуда». Он шагнул вперед. Ноги его увязли в грязи. Он вытащил одну, ступил дальше, вытащил другую... «Скоро должно быть сухо, скоро», — успокаивал он себя. А жижa становилась все глубже, и ноги увязали уже по колени и продвигаться становилось тяжело. За спиной что-то тяжело захлопало, потом раздалось мычание... Касиб-хан похолодел. «Что это может быть? — пронеслось в мозгу. — Пугает меня, шайтан...» И тут перед его глазами выплыли разгоряченные лица детей Паридалава, их взгляды... «Сумасшедшее золото, — воскликнул про себя Касиб-хан, — и людей сводит с ума. Не-ет, я не дам себя свести с ума, не дам... Завтра же отнесу и сдам, завтра же... Для чего оно мне? Если бы я нуждался, понятно, можно было бы им воспользоваться. Но у меня все есть, и сын в достатке живет. Для чего оно мне? Да и могу ли я скрыть такое богатство от людей... Нет, не смогу... Старый дурак, на склоне лет шайтан попутал меня. Стыд и срам перед людьми, всю жизнь прожил честно, и вот тебе, на склоне лет... Эх, старый дурак... Завтра же сдам, завтра же...»

Кто-то схватил мешок, Касиб-хан похолодел от ужаса, замер, ожидая удара, потом медленно обернулся. Мешок зацепился за кустарник. Касиб-хан дернул мешок, еще и еще раз, кустарник не отпускал его. В каком-то бешенстве Касиб-хан засунул руку в мешок, ухватился за край казана и, опрокидывая его вправо-влево, стал выдергивать из цепких лап кустарника. Наконец, он вытащил казан и устремился вперед. Преодолев метров пятнадцать, Касиб-хан выкарабкался на сушу, грязный по колено и мокрый по пояс, облегченно вздохнул и готов был уже ринуться

вперед, дальше... На миг глянул на казан, на какой-то миг, и не поверил глазам своим. Он приблизил лицо к казану, долго обалдело смотрел, пока, наконец, не понял: пуст. Стальная струна натянулась в груди, не давая вздохнуть. И лопнула. Касиб-хан тоненько взвизгнул. И сполз на землю.

VIII

Утром Касиб-хана обнаружили на опушке леса в глубоком обмороке. Людей привлекло мычание коровы. Сама корова увязла в топи по горло и ее с трудом удалось вытащить. Никто не обратил внимания на валявшийся рядом с Касиб-ханом казан. Тем более на мешок, застрявший в кустах метрах в двадцати, в глухой топи. Он так и остался там, никем не замеченный. И Касиб-хан никогда больше о нем не вспоминал и считал, что золото похоронено на болоте навечно. Но спустя год на последней странице республиканской газеты под рубрикой «Происшествия, находки» была напечатана коротенькая информация: «Механизатор колхоза «Богатырь» Шамиль Шамов, работавший на осушке топи между селами Татляр и Башлыкент, обнаружил старинные золотые монеты весом три килограмма. Находка сдана государству».



РАССКАЗЫ



ЗИМНИЙ РОМАНС

Снег обволакивал белой дремотой землю. Лес и озеро спали: ни звука, ни всплеска.

Белая тишь располагала к лени и безмятежным воспоминаниям, усыпляла мысль. Развалившись в кресле у раскаленного радиатора, Бахтин долго смотрел в окно, держа на коленях толстую тетрадь и шариковую ручку, потом бросил их на подоконник и закрыл глаза.

В полуоткрытое окно проникал морозный воздух, приятно освежая лицо, шею, грудь, изредка вызывая озноб во всем теле. Сегодня не работалось. День перевалил на вторую половину, и ждать от него какого-то чуда было бессмысленно.

Бахтин прошелся несколько раз по комнате, сцепив за шеей пальцы тяжелых рук, глубоко вздохнул и собрался снова плюхнуться в кресло, как вдруг внизу гулко хлопнула входная дверь, потом запел под чьими-то легкими шагами снег.

Опять эта женщина!..

Она стояла на снегу в черных сапожках, в короткой темной шубке, спрятав руки в карманы. Ее огненного цвета волосы были уложены на затылке причудливым узлом. Она долго глядела на припущенные снегом деревья, потом медленно пошла по аллее, уходившей к шоссе.

Появление этой женщины в доме отдыха для Бахтина было счастливой случайностью.

Он привык к холостяцкому одиночеству и тишине, не любил веселые компании семейных друзей, где чувствовал себя неуютно. Он и не искал встреч... А с той минуты, как увидел эту женщину, почувствовал, что в душу вкралось смутное беспокойство.

Бахтин совершенно потерял покой. Где бы он ни был, на катке ли, на прогулке по зимнему лесу, не мог ни на минуту забыть эту женщину. Она причиняла ему сладостную боль, изнуряющую тело и мысль. Эта боль заострилась после того случая, когда он, обуреваемый творческим вдохновением, нежданно-негаданно напавшим на него, гонимый вихрем мыслей, за-

брел далеко в лес, настороженный, гулкий и ослепительный в своем белом одеянии, и вдруг услышал смех, который внезапно оборвался, а затем раскатился с прежней силой. Он обрывался несколько раз. Потом мимо Бахтина пронеслась на лыжах она, чуть погодя вслед за ней стремительно пронесся незнакомый молодой мужчина атлетического сложения, и Бахтин почувствовал себя оскорбленным, отвергнутым.

Бахтин долго стоял в странном оцепенении, потом поднял воротник пальто и побрел к дому отдыха. Поднявшись в свою комнату, он сбросил пальто, сел в кресло очень близко к радиатору, откинув голову на мягкую спинку, закрыл глаза. На обед в столовую он не пошел. На ужин явился поздно: полотер натирал паркет. Наскоро поев, вернулся в свою комнату.

Несколько дней он не выходил ни на зарядку, ни на прогулку, ни на спортивные вечера и кинофильмы, а в столовую спускался, нарушая распорядок дня, когда плиты остывали, а зал был пуст. Он и спал мало, засыпая после полуночи, когда уже не в силах был отогнать сон и веки слипались помимо воли.

На исходе пятого дня Бахтин почувствовал себя опустошенным, словно все мысли и грусть, раздиравшие душу, вышли из него, вылетели, вытекли, он понял, что исписался, но это трезвое чувство не испугало его.

Вечером Бахтин спустился в фойе. В правой половине, в большой группе любителей литературной викторины, сидела женщина... Опять эта женщина... На какое-то мгновение он застыл, потом где-то в глубине его души вспыхнуло и погасло чувство отрешенности, но его было достаточно, чтобы он смело, без робости подошел и сел рядом в свободное кресло.

Бахтин внимательно слушал, как она первой отвечала на все вопросы культмассовика, и ответы ее были точными, исчерпывающими, и неожиданно для себя спокойно обратился к ней:

— Вы, очевидно, преподаете литературу?

Она отрицательно покачала головой.

— Кем же вы работаете? — спросил Бахтин. — Извините меня за любопытство, но очень уж оно велико.

— А вы ведете размеренный образ жизни, — сказала она.

Несколько минут он сидел молча, сбитый с толку ее ответом, потом решил, что терять, по сути дела, нечего, тихо и уверенно сказал:

— Вот я... инженер, а в свободное время увлекаюсь поэзией.

— А я геолог.

Бахтин глянул на ее тонкие длинные пальцы, покоившиеся на ручках кресла, тонкий профиль лица и, невольно улыбнувшись, недоверчиво спросил:

— Приехали из Сибири?

— Да.

— И, наверное, даже из Тюмени?

Бахтин хотел сказать, что в таком случае она должна знать геолога Гришу, Григория Григорьевича, но в это самое время на улице захлопали выстрелы, за окном рассыпался фейерверк, и все веселой гурьбой выбежали в расцвеченную ночь. Было 23 февраля. Когда возбужденные и продрогшие отдыхающие вернулись к своим местам, заиграла радиолa. Бахтин, прислонившись к колонне, долго смотрел на женщину с огненными волосами, а когда зазвучал вальс, подошел и пригласил ее на танец. Она несколько секунд нерешительно глядела на него, потом покачала головой, и вдруг, озорно блеснув глазами, встала. Она кружилась легко, почти не касаясь паркета, он смотрел ей в глаза, вдыхал запах ее волос, чувствовал тепло тела и понимал, что через полчаса, через час она уйдет, и он опять потеряет эту женщину. А может...

— Вы говорите, что увлекаетесь поэзией? — перебила она мысли Бахтина. — А я танцами увлекалась...

Лицо ее побледнело, она сжала губы, закрыла глаза.

— Вам плохо? — тревожно спросил Бахтин.

Она отрицательно покачала головой, он подвел ее к креслу, усадил.

Культомассовик объявила «час любимого стихотворения». Поклонников поэзии оказалось немало, и декламировали они с чувством и вдохновенно. Решившись, стал читать свою поэму и Бахтин.

Он читал, забыв о тех, кто слушал, а они, предавшись каждый своим чувством, изумленно глядели на чтеца, ловили живые, трепетные слова, затаив дыхание в ожидании чего-то таинственного, сказочного, мудрого и прекрасного. Бахтин читал, забыв обо всем, делясь думами и тревогами, тоской и болью, открывая свою душу, открываясь весь сам, как перед господом богом.

Уставший, сопровождаемый странной тишиной, он побрел к своему креслу, потом фойе вздрогнуло от аплодисментов. Когда он обернулся к соседнему креслу, оно было пусто.

На следующий день Бахтин отправился на прогулку к железнодорожной станции. На шоссе было шумно. От проезжающих с ревом и свистом машин, от лучистого снега, от пронизывающего мороза ему стало весело и он ускорил шаги, словно торопился на электричку.

Бахтин подошел к станции одновременно с поездом, долго стоял под сосной раздумывая, не поехать ли в Москву, и тут его внимание привлекли мужчина и женщина на платформе. Они

обнялись, затем он вбежал в вагон. Двери тут же закрылись, словно ждали его, поезд тронулся, за клубился снег, и когда грохот утих где-то в дебрях леса и женщина спустилась с платформы, Бахтин узнал ее.

Бахтин стоял не шелохнувшись, боясь, что она заметит его, но она прошла мимо, погруженная в свои мысли. Он долго глядел ей вслед, потом медленно побрел к дому отдыха другой дорогой, более короткой и знакомой ему одному. Спустя полчаса, уже у себя в комнате, он услышал, как вернулась она. Внезапно Бахтин решил, что ему следует уехать. Да, уехать совсем, домой, сократив на неделю срок пребывания в доме отдыха.

На следующий день после завтрака Бахтин уложил рубашки, белье и бритвенный прибор в объемистый портфель из крокодиловой кожи, объяснил сестре-хозяйке свой отъезд срочным вызовом и отправился короткой дорогой на станцию. Ждать поезда пришлось недолго. Он выполз из белого захлестнутого снегом леса, замер на минуту, открыл свои двери, поглотив пассажиров, и умчался, оставив позади осиротевший перрон. Уже в вагоне электропоезда, покачиваясь на мягкой скамье, неотрывно и жадно глядя в окно на бесконечные леса, одетые в снег, он сожалел, что не мог всецело заполнить этой холодной белой красотой свое сердце, что все вытеснила женщина с огненными волосами.

Бахтин закрыл глаза и вскоре под мерное покачивание задремал. Он проснулся от резкого толчка и, увидев знакомое здание Белорусского вокзала, схватил портфель и устремился к выходу. В тамбуре вагона столкнулся с женщиной, не глянув на нее, извинился, быстро сошел на перрон, но какое-то подсознательное чувство заставило его обернуться: он оторопел, потом смешался.

— Здравствуйте, — сказала она, одарив его улыбкой.

— Здравствуйте, — ответил он, не зная, как держать себя с ней, и пошел рядом.

— Куда это вы собрались? — спросила она.

— Домой.

— Как так?! — удивилась она, — разве ваш срок истек.

— Срочный вызов.

— Вы же не врач!

— В нашей жизни всякое бывает. А вы... — он осекся и виновато улыбнулся. — Прошу меня извинить за нескромный вопрос.

— Глупости какие... Не за что. Я приехала в министерство, по делам.

Они пересекли шумную площадь и вышли на улицу Горького. Бахтин был счастлив, что рядом с ним идет женщина, из-за

которой он потерял покой и вот теперь уехал; идет она, именно она, в высоких черных сапожках, короткой темной шубке, опустив руки в карманы. Он видел рядом с собой ее прелестный профиль и огненного цвета волосы.

— Хотите, я покажу вам Москву? — неожиданно для себя спросил Бахтин.

Она бросила на него взгляд, полный озорства и лукавства.

— Напрашиваетесь в экскурсоводы? Ну, ну... Показывайте.

— А не утомитесь?

Она отрицательно покачала головой.

— Я не забыл, что вы геолог... просто не хочется верить, что такая хрупкая женщина может ходить в изнурительные походы... — он посмотрел ей в глаза и впервые за всё время улыбнулся своей щедрой и теплой улыбкой.

У кинотеатра «Россия» Бахтин остановился и предложил ей пойти в кино.

Потом они обедали в ресторане, после обеда Бахтин повел ее на Красную площадь, рассказал, по чьей инициативе посажены ели у Кремлевской стены, показал ей гостиницу «Россия» и Зарядье, вспомнив немного истории, затем провел через Кремлевский двор и Боровицкие ворота на проспект Калинина, блиставший великолепными зданиями. У здания СЭВ он остановил такси, и они поехали на Ленинские горы.

Погода была великолепная, солнечная и морозная, внизу лежала Москва в снежном убранстве, родная и близкая, и Бахтину вдруг показалось, что, уезжая сегодня, он совершает большую, может быть, непоправимую ошибку. Но пути к возвращению уже не было, и он с тоской подумал, что ему решительно не везет в жизни. Отмахнувшись от мыслей, Бахтин показал своей спутнице университет, объехав его вокруг, затем такси помчалось по Ленинскому проспекту, и только когда выехали к Балчугу, он вспомнил, что спутница еще не побывала в министерстве, а день близится к концу. Она весело рассмеялась над его сомнениями:

— Боже, мне пора ехать обратно, какое уж там министерство. Завтра приеду.

На перроне Белорусского вокзала было шумно и суетно. Бахтин проводил спутницу до дверей второго вагона и произнес.

— Так я и не успел показать вам Москву.

— Не успели, Язуз и Сосновый бор, Сокольники и дворец Шереметьева, Третьяковку и музей Пушкина, Бородинскую панораму и ВДНХ, аллею Космонавтов и... удивлены? Я же коренная москвичка. Родные живут на Красной Пресне. Вы, может даже видели моего брата, он несколько раз приезжал ко мне в дом отдыха.

Бахтин укоризненно посмотрел на нее.

— Почему вы меня обманули?

— Не забывайте, что вы сами напросились в экскурсоводы, а я решила доставить вам такое удовольствие. А знаете, я прекрасно отдохнула сегодня, спасибо вам за прогулку.

— Не за что, товарищ москвичка. — Бахтин глядел на нее с какой-то виноватой улыбкой, боясь, что она сейчас войдет в вагон и навсегда исчезнет из его жизни.

— И все-таки я геолог, поверьте мне, и живу сейчас в Тюмени. А мы так за целый день и не познакомились? Марина, — она протянула ему руку, потом шагнула в тамбур.

— Саша, — сказал он тихо. — Я все пытался спросить вас и не решался... Если вы только из Тюмени, то должны знать моего друга, Григория Катаева, он тоже геолог... Кстати, и его жену тоже зовут Мариной.

Нахлынули теплые воспоминания, и он собрался было рассказать о друге, о том, как росли и учились вместе и почему-то с недавнего времени прекратили переписку, но поднял голову, поймал ее настороженный взгляд, и в это мгновение, словно не давая опомниться, досказать, двери захлопнулись, вагоны поплыли. И поезд ушел.

А ночью другой поезд увозил его домой, на юг, к морю.

Прошло два месяца. Образ женщины с огненными волосами стал заметно блекнуть в памяти. Как-то, возвратившись с работы и открыв почтовый ящик, Бахтин обнаружил конверт без обратного адреса, нетерпеливо распечатал его, развернул письмо и первым делом стал искать имя отправителя. Внизу стояло: Марина Катаева. Бахтин углубился в чтение.

«Здравствуйте Саша! — писала она. — Вы, наверное, иронически улыбнетесь, нет, не можете вы так улыбнуться. Вы улыбнетесь щедрой, доброй улыбкой и вспомните грустную женщину в высоких черных сапожках, в короткой темной шубке, уходящую по заснеженной дороге. Куда, зачем? Этого не знаем подчас мы сами, и случается так, что уходим от своего счастья. Я не могу забыть дня, проведенного с вами в Москве, ваших глаз, сияющих и счастливых (я так хорошо их видела). Я еще долго грезил вашей поэзией... Особенно главой «Женщина с севера».

В минуты творческих исканий
Мне, как предвестница добра,
Из пепла всех воспоминаний
Блеснешь ты слитком серебра...

Какие прекрасные строки. Саша, вы так и не спросили меня, почему я ушла в тот вечер...».

Бахтин читал медленно, и какая-то щемящая, раздирающая душу тоска разливалась по телу. Он перечитал письмо, уставился на размашистый и такой знакомый, очень знакомый почерк, задумался, закрыв глаза и покачивая головой, и вдруг разразился хохотом. Бахтин смеялся долго, до колик в животе, а по щекам его текли слезы, и он не хотел думать, были ли они слезами радости или отчаяния...

Потом взял лист бумаги и крупно написал: «Уважаемый Григорий Григорьевич! Вы по сей день не стали серьезным человеком».

Бахтин не мог знать, что через несколько дней, Гриша, добрый милый Гриша получит его письмо из рук Марины, тоже разразится долгим разразительным смехом, потом, успокоившись, глянет на свои изуродованные ноги, устало вздохнет и, подтянувшись к столу, размашисто набросает на листе бумаги: «Милый мой Бахтин! Страшно хочу тебя видеть. Приезжай».

ЦИКЛОНЫ УХОДЯТ

Каждое утро для Гайдара начиналось в доме художника с живописного полотна. В большое, во всю стену окно глядели зеленые кедры на фоне неба и моря.

Гайдаров мог часами смотреть на эту картину, подсвеченную солнцем. И думать ни о чем...

А потом начинался день, он тянулся долго и бесполезно. Притворив за собой тяжелую дверь, Гайдаров ступал на залитую осенним солнцем улицу и долгими часами ходил по чистому городку, который тщетно пытался догнать получившие признание известные курорты.

Но уклад жизни горожан был провинциальный, и ни причудливые формы новых зданий, ни крикливые афиши и рекламы, ни толпы туристов не могли изменить его.

Единственное, что было достойно восхищения в этом затерянном на песчаном балтийском берегу городке, это лес, привольно раскинувшийся за парком.

Было начало октября, лес еще не сбросил листву и стоял пышный, многоцветный, торжественный. Солнце золотило остывающими лучами листву задумчивых и утомленных за лето кедров, сосен, дубов и осин.

Как-то, войдя в ничем не приметный проулок, Гайдаров сделал для себя потрясающее открытие. В небольшой аллее пылали клены. Среди них выделялся один, раскидистый, величественный и гордый. Нижние листья его были прозрачного золотистого цвета и почти просвечивались, выше они горели баг-

рянцем, а крона пылала ярким костром. Вокруг стояли собратья, источавшие призрачный восковой свет. Этот свет усыплял Гайдарова, но стоило ему перевести взгляд на тот единственный клен, как ему вновь начинали волновать кровь эти янтарно-рубиновые краски. Гайдаров мог стоять часами перед ним, сотканным из солнца и вечерних закатов, наслаждаясь его красками.

Потом его незаметно захлестывала тоска по работе, к которой он никак не мог приступить, и он снова отправлялся бродить по улицам городка.

Однажды во время прогулки, чувствуя в душе неудовлетворенность, Гайдаров решил съездить в Калининград. Почему именно в Калининград — он не знал...

* * *

Было темно и холодно, когда подкатил большой мягкий автобус, экскурсанты шумно и торопливо занимали передние места. Гайдарову пришлось опуститься на заднее сиденье, рядом с молчаливым мужчиной. Гайдаров закрыл глаза, сквозь дрему прислушался к разговору и шуткам соседей, потом до слуха дошло аппетитное причмокивание — кто-то завтракал. Когда он разлепил веки, уже светало. Над землей стлался туман. Машина въезжала в Клайпеду. Проехав по узким, замысловатым улицам, она остановилась у паромной переправы. Паром принял на палубу автобус, несколько грузовиков, пассажиров — всех, кто спешил на другой берег, и, выскользнув из канала, вышел в Куршский залив.

Гайдаров стоял у борта и жадно вдыхал сырой морской воздух. Рядом учащенно дышал сосед по автобусу — среднего роста, широкоплечий, с крупной, тяжелой головой и тяжелым подбородком. Засунув руки глубоко в карманы плаща и подставив непокрытую голову холодному ветру, он неотрывно глядел на противоположный берег.

Выгрузившись с парома, экскурсанты вновь взобрались в автобус, и он покатил дальше по асфальтовой дороге, которая шла вдоль берега. Местами вода подходила почти к колесам, потом откатывалась, уступая место лесу.

Внезапно распогодилось. Засияло солнце. Свинцовая вода залива заискрилась, заголубела, отдалилась и наконец скрылась из виду. С обеих сторон дорогу плотной стеной обступил лес.

* * *

В Калининград въехали около полудня. Автобус остановился на центральной площади, у кинотеатра, и экскурсантам дали

два часа свободного времени. Площадь и прилегающие к ней улицы были просторны, светлы, утопали в зелени.

— Любуетесь?— окликнул его сосед по автобусу.— Давайте держаться вместе, веселей будет. Николай Павлович, — представился он. — Куда нам с вами податься?

— В зоопарк, — предложил Гайдаров.

— Шутите? — Николай хитро улыбнулся. — А впрочем, будь по-вашему.

Им объяснили, как дойти до зоопарка, предложили проехать на трамвае, но они пошли пешком. Торопиться было некуда, и к тому же хотелось осмотреть город.

Замкнутый в тисках жилых домов, зоопарк занимал небольшую площадь. Но звери жили привольно, в вольерах. В павильоне «Птица» Николай, как ребенок, восхищался экзотическими птичками, долго пытался вызвать на «разговор» попугая Ара. А летучая собака, вцепившаяся когтями в ветку и висевшая вниз головой, вообще изумила его.

— Надо же такое сотворить, — говорил он смотрительнице.— Чуть ли не летучая мышь, а морда собачья. Ну точно.

— Она совсем не летает. И ест вот в таком же положении, свесившись вниз.

Смотрительница открыла дверцу клетки и принялась кормить из ладони летучую собаку, а Николай все повторял: «Ну надо же такое сотворить!»

Бурю мальчишеской удали вызвал в нем медведь. Черный, тяжелый, он лежал на огромном валуне, спрятав морду в лапы.

— Эй, Топтыгин, проснись, дай глянуть на тебя. Ну лентяй, ну лежебока, ну дармоед!

Медведь, очевидно, решил взглянуть на шумливого человека: приподнял морду, открыл правый глаз, пошевелил лапой, потом снова опустил морду, удовлетворив свое любопытство.

— А этот мыкается без подруги. Точно, — проговорил Николай, глянув вниз.

Белый медведь метался по каньону. Он лишь на мгновение поднял свою морду.

Потом были бизоны, зубры, яки, верблюды, слоны, зебры, жирафы, лисы, волки, дикие собаки Динго, и всеми ими Николай восхищался, а к кенгуру даже залез в мешочек.

* * *

В назначенное время они подошли к автобусу. Пассажиры уже сидели на своих местах.

И опять автобус кружил по улицам утопавшего в зелени го-

рода, экскурсовод рассказывал о его прошлом, настоящем и будущем. Но история города совершенно не интересовала Николая. Он оживился лишь у кафедрального собора.

— Ты посмотри-ка, полуразрушен, почернел от снарядов и пожаров, а выстоял. Как строили-то в старину. Шесть веков стоит, подумать только, шестьсот лет! А могила этого философа целехонька, будто и войны не было. Несколько царапин только.

К кафедральному собору притулилась могила Иммануила Канта. Она на самом деле была цела и невредима, словно собор защитил ее грудью от бомб.

Потом они спускались в бывший бункер немецкого командования, осматривали старые форты, обнесенные мощными кирпичными стенами, защищенные рвом с водой, разбитые доты. А спустя полчаса стояли у памятника воинам, которые погибли здесь в грозные дни войны. Это был первый памятник, воздвигнутый в память погибшим. Гранитный шестигранник уходил в небо. На мраморных плитах, выложенных полуколосьем, было высечено тысяча пятьсот имен солдат и офицеров.

— Аркадий, друг мой Аркадий, — услышал вдруг Гайдаров тихий голос, в котором чувствовалась боль.

Николай стоял у мраморной плиты. Глаза его были полны слез, голова опущена.

— Аркадий, как же ты так... не думал, что свидимся, здесь...

Не глядя на Гайдарова, но чувствуя, что он стоит рядом, Николай сказал:

— Чудесный парень. Думали — вместе войдем в Кеннигсберг. — Не довелось. Меня ранило на пути в Клайпеду. А гвардии майор Аркадий Фельдман... какой нелепой смертью он погиб. Его увлек под воду раненый конь. Не успел вытащить ногу из стремени. Эх, Аркадий... А где Саша? Не могу найти Сашу, что же это такое? — и Николай пошел дальше по полуколосью, читая имена. Гайдаров был подавлен обилием имен. Читал имена и фамилии незнакомых людей, и вдруг почувствовал, как стало захватывать дыхание и мутная пелена застилать глаза.

* * *

Гайдаров проснулся внезапно. Несколько минут лежал, не понимая, что происходит, откуда столько шума, треска, гула, свиста... Потом поднялся с кровати и подошел к окну.

Свирепствовал ураган.

Стонали, скрипели деревья, с треском ломались сучья. Со страшным воем ветер врвался в гущу деревьев, вызывая жуткий утробный гул. По асфальту с хрустом носились листья. Не-

бо было темным и тяжелым. Издали, прорывая все шумы и стоны, доносился рев моря, оно бросало свои многотонные волны на берег.

Жуткая ночь долго не давала Гайдарову уснуть, и он сомкнул глаза только на рассвете. От усталости.

Утром Гайдаров вышел на улицу. Полуголые деревья глядели сиротливо и жалобно. Еще вчера полные жизни, листья, скрючившись, скрипели и скреблись на легком ветру, устлая землю как осколки кольчуг.

Осины сохранили свой наряд, но уже не излучали желтый, призрачный свет. Они поблекли и нагоняли уныние, тоску.

Гайдаров устремился к клену. Тот стоял на месте, но сочные, яркие его краски потускнели.

Гайдаров долго стоял перед ним, опустошенный, потом внезапно вспомнил о лесе и скорым шагом, почти бегом направился к нему. Его взору открылся не тот лес, который он знал и любил — зеленый, желтый, красный, богатый красками, а полуголый, полуобнаженный. Полубезжизненный. И земля была усеяна коричневыми, мертвыми, кривыми ветвями. Над головой все так же висело синее небо, ярко светило солнце. Как и вчера, и все предыдущие дни. А земля изменила свой лик. За одну ночь. Циклон погасил богатые краски осени и снял с нее пышный наряд, над которыми ворожила природа долгие месяцы.

Гайдаров долго бродил по лесу, потом медленно побрел к санаторию «Юрате». Он поднялся на пятый этаж, постучался в дверь. Она бесшумно открылась, и на Гайдарова уставилось заспанное лицо, обрамленное взлохмаченными волосами.

— Николая? Нет его.

Дверь закрылась.

Неужели перепутал номер палаты? — подумал Гайдаров. Но дверь снова приоткрылась и раздался голос лохматого:

— Послушайте, это вы вчера были с ним в Калининграде?

— Да. По-моему, я.

— Он просил передать, чтоб вечером вы обязательно зашли к нему. Если будете заняты, то завтра утром. Только обязательно.

— А где он сам? Что с ним?

— Да ничего. Опять уехал в Калининград. Искать друга, Сашу какого-то. А может — зайдете, я не пригласил, мой вид и зверя напугает. — Он засмеялся.

— Видите ли, я кажется, тоже испугался...

Лохматый расхохотался, а Гайдаров, не в силах погасить улыбку на губах, так с ней и вышел на улицу. И долго еще ловил на себе недоуменные взгляды прохожих.

Прошли месяцы. Гайдаров снова пишет картины. Но что бы он ни писал, на полотна обязательно ложатся, помимо воли, словно кистью двигает кто-то другой, краски той осени, исключенной циклоном.

У КАЖДОГО СВОЯ ГОЛОВА

Наконец подошла долгожданная вторая суббота января.

Мария Савельевна пришла в школу заблаговременно и с нетерпением ждала ребят, хотя до назначенного часа еще оставалось много времени. Каждые пять лет ее ученики собирались вместе, делились своими радостями и успехами. Конечно, с каждым разом их собиралось все меньше, но больше половины всегда приезжали.

Мария Савельевна медленно ходила по рядам и пыталась представить тех, кто двадцать с лишним лет назад сидел здесь за партами. Но настойчивый, дробный стук о подоконник прервал ее воспоминания. Она подошла к окну: воробьи лихорадочно разгребали клювом снег и стучались в обитый железом подоконник, выискивая корм. На дворе — бело. Сыпал крупный снег.

Дверь широко распахнулась и в класс вошел крепкий мужчина с букетом цветов.

— Мария Савельевна, здравствуйте, милая, — пропел он басом, подошел к Марии Савельевне, обнял ее за плечи и прижался щекой к голове.

— Боже мой, Стась, на кого ты стал похож. — Мария Савельевна отстранилась, взглядела в его лицо и счастливо засмеялась. — Бородку отрастил, пробор завел, а ходил-то вечно бритоголовым. Что так, что случилось?

— Я ученый, и должен быть похож на ученого, даже внешне... — Он весело расхохотался и снова обнял ее за плечи.

— Да подожди ты, — засмеялась она. — Защитился уже?

— Защитился. И эксперименты удались на славу. Ведь пять лет прошло с прошлой встречи. А за это время ох... сколько я успел. И за границей побывал, на разных симпозиумах, и в лабораториях работал. Одним словом, пошел по лестнице, ведущей вверх.

— Я рада за тебя, — сказала Мария Савельевна. — А как семья-то, здоровы дети?

— Здоровы.

В класс вбежал коренастый, широкоплечий мужчина.

— Мария Савельевна, здравствуйте. Привет, Стась, ты уже тут как тут?

Он подошел к Марии Савельевне, заключил в свои лапищи две ее руки, потом обнял Стася и поднял, приговаривая:

— Стал ученым и зазнался...

— С чего ты взял, пусти, пусти, говорю...

— Да перестаньте же вы ребячиться,— сказала Мария Савельевна, глаза ее сияли счастьем. — От кого ты убегал сейчас, Муртуз?

— Заметили, видал, Стась, и это заметили. Да, убегал, хотел первым войти в класс, вырвался вперед, а тут уже ученый стоит. Сейчас войдет толпа.

И на самом деле в коридоре загрохотало, застучало и в классе появились возбужденные и радостные мужчины и женщины. Они обступили Марию Савельевну, беспрестанно целовали ее, обнимали, перебивали друг друга и сами обнимались, и смеху и веселью, казалось, не будет конца. На столе образовалась гора цветов, а под подоконником выстроились бутылки с шампанским.

— Довольно, наконец, вам миловаться, — повысила голос Мария Савельевна. — Садитесь по местам.

Мужчины и женщины под веселый смех втискивались за парты, а кто был погрузней, смутившись, присаживался на парту.

Двадцать лет назад они ушли из этого класса навсегда. Им было по семнадцать.

— Староста, кого нет в классе? — спросила Мария Савельевна.

Поднялся высокий худощавый Гейдар, когда-то он был тощим долговязым пареньком.

— В классе присутствуют восемнадцать человек. Отсутствуют двенадцать. Десять по уважительной причине. Живут в двух тысячах километрах от нас. Двос здесь, в городе.

— По-моему, один.

— Уже двое, — подал голос Муртуз. — Башир стал тоже городским.

— Так подождем его, — сказала Мария Савельевна.

— Не надо, — Муртуз нахмурился. — Не пришел вовремя — ждать нечего.

— Итак, сейчас расскажем, ребята, чего мы достигли за пять прошедших лет. Кто первый? Пожалуйста, Муртуз Гаджиев.

— Ну, во-первых, у меня родился третий сын.

В классе раздались хлопки.

— А во-вторых, продвинулся по служебной лестнице. Стал директором домостроительного завода.

— Поздравим? — спросила, улыбаясь, Мария Савельевна.

— Поздравляем, — хором ответил класс.

— Спасибо, конечно. Но теперь буду ходить весь в шишках.

— Это еще почему? — спросил Стась.

— Не знаешь, каков спрос с домостроителей и каковы их возможности?

— А я, наконец, получила диплом доцента, — выкрикнула полная голубоглазая гладко зачесанная женщина.

— Ты осталась такой же выскочкой, Марьям, — всплеснула руками Мария Савельевна. — Ведь можно же руку поднять. Сама-то требуешь у студентов порядка? Леша, а у тебя что? — спросила она мужчину, сидевшего за задней партой.

— Никаких изменений. Кручу баранку.

— Как это никаких? — толкнул его в бок сосед. — Как это никаких?

— Ну, пересел с грузовой машины на пассажирский автобус. Да и только.

— А шабашки не бывает? — шепнул сосед.

— Ну, Рудик, ну, дьявол, погоди... Тише, услышит ведь, стыдно.

— Рудик, что вы там шепчетесь? — спросила Мария Савельевна.

— Так это я ему подсказываю, о чем вспомнить. У него с памятью что-то неважно...

По классу прошел смехок.

— А он мне — «У каждого своя голова на плечах».

Теперь уже засмеялись открыто, громко.

— А ты почему о себе ничего не скажешь? — спросила учительница.

— Да у меня изменений не бывает. Хотел бы, очень хотел бы, да не бывает. Как назначили директором птицефабрики, так по сей день и кудахчу с курами.

— А хотел бы кукарекать? — спросила Марьям.

— Брось, — пугливо отмахнулся Рудик. — Один петух на десять тысяч кур...

Отдышавшись от смеха, Мария Савельевна, утерла ладошкой слезы и сказала с сожалением:

— И ни одного литератора? Неужели я не смогла привить любовь к своему предмету?

— Почему же? — удивился Стась. — Мы разбираемся в литературе, с упоением читаем ее. Ну, а чтобы писать — нужен божий дар. Значит, его не было ни у кого.

— Был он у Башира, — сказала Мария Савельевна. — Ведь был же. Хорошие стихи писал. А стал ветеринарным врачом.

- Если бы только ветеринаром... — пробурчал Муртуз.
— Что ты сказал? — обратилась к нему Мария Савельевна.
— Да я так, бурчу себе, да и только.

Кто-то включил транзистор, по классу разлилась мелодичная музыка.

— Еще рано, Серж, я слышала, ты получил премию за проект, почему же скрываешь от нас? — спросила Мария Савельевна, наклонив голову набок, словно прислушиваясь к чему-то.

— Сергей Аполлинариевич, вам слово, — подтолкнул некажистого, щупленького мужчину Стась. — Ишь ты, скрываешь свою премию? Всегда ты был скрытным. И незаметным.

— Ну что вы, ребята, — тоненько и быстро заговорил Сергей Аполлинариевич. — Так, набросал проект жилого квартала с девятиэтажными домами, одобрили, приняли. Вот и все.

— Быстро, — заметил Леша.

— Да, быстро, — подтвердил Сергей Аполлинариевич.

— Быстро на словах получилось, говорю, — пояснил Леша. — А сколько лет проталкивал свою идею?

— Да сколько? Недолго. Года два-три.

— Ну надо же! — удивилась Мария Савельевна. — Что так? Или недоделки были?

— Все было верно... На практике иногда такое случается. — Сергей Аполлинариевич бросил на Лешу злой взгляд и выставил за спину кулачок. Леша прыснул со смеху:

— Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается...

Вечер продолжался. Каждый говорил о себе, потом завязался спор, перебывали друг друга, вспоминали прозвища, Марии Савельевне казалось, что она вернулась на двадцать лет назад.

Потом разливали шампанское, пели песни, слушали музыку, танцевали, дурачились, забыв о возрасте, титулах и служебных положениях.

Потом гурьбой высыпали во двор, играли в снежки, и шумные, раскрасневшиеся, провожали Марию Савельевну до самого подъезда, и каждый целовал ее в холодные щеки.

И долго еще не могла уснуть Мария Савельевна в холодной постели, беззвучно плача от радости.

* * *

В воскресенье утром, быстро управившись по хозяйству, Мария Савельевна отправилась в магазин. Со вчерашнего вечера у нее было приподнятое, праздничное настроение.

В магазине, расположенном по соседству, мяса не оказалось, и она поехала в центр города на троллейбусе. В центральном

гастрономе, большом и красиво отделанном мозаикой, было шумно. В мясном отделе вытянулась очередь. Пристроилась и Мария Савельевна.

— Что же вы мне одних костей наложили, — раздался вдруг от прилавка женский голос. — Я у вас мясо прошу, а не костей. Безобразие. Сейчас вот потребую книгу жалоб...

— Гражданка, ну зачем так сердиться, если каждая из вас будет на меня кричать, я окончательно оглохну.

— А вы не подсовывайте кости, никто и не будет кричать. Не велико удовольствие шум поднимать.

— Я согласен с вами. Вы правы. Но скажите, пожалуйста, куда мне кости девать? Вот, видите, преотличный кусок баранины, но с костью. Как быть? Отделить? А потом? Куда девать? Вы меня тоже поймите.

— Продавайте их отдельно.

— Не задерживайте, времени нет стоять, — шумели в очереди. — Не хотите брать — отойдите от прилавка. А вы, продавец, лекции не читайте. Вы отпускайте, да поживее.

— Вот видите, и объяснить не дадут, — заключил продавец. — Все торопятся. Ну, вот вам отличный кусок, и кость небольшая...

Марии Савельевне голос продавца показался знакомым. «Где я его слышала, — спросила она себя, — ну точно, очень даже знакомый».

И лишь когда уже близко была к прилавку и увидела наконец продавца, она вздрогнула, потом вся съежилась и почему-то стало стыдно. Словно она совершила что-то предосудительное.

За весами стоял Башир. Он ловко орудовал ножом, легко поднимал и подбрасывал тяжелые куски мяса, почти безошибочно отсекал нужный покупателю вес.

Не может быть, не может быть, чтоб это был Башир, ведь он ветеринар, а этот... — лихорадочно думала Мария Савельевна. — Не может быть...

Но за прилавком стоял все-таки Башир, правда, заметно поседевший, потучневший, и под глазами виднелись синие мешки. Наверное, болен, подумала Мария Савельевна, не почками ли, или печень... Но тут ее мысль перебил шамкающий старушечий голос.

— Шынок, у меня жубов нет, ты мне такую кошть шунул. Ну не стыдно тебе, а?

— Бабуля, что мне с вами делать? — вздохнул продавец. — Ну ладно, я положу вот эту косточку, для бульона, честное слово, бабуля, из нее бульон получится превкуснейший.

Наконец, подошла очередь Марии Савельевны. Она попро-

сила килограмм для шашлыка. Башир отвесил кусок баранины, подкинул кость, быстро завернул в бумагу и положил на прилавок, не подымая глаз. И только бросил:

— Следующий...

Мария Савельевна положила покупку в авоську, отошла в сторонку, прислонилась к стенке. Она не могла идти. Казалось, ноги приросли к полу. На нее бросали тревожные взгляды, предлагали помощь, но она отрицательно качала головой. И продолжала стоять.

Мария Савельевна не помнила, сколько времени простояла в магазине. Мясо кончилось, очередь исчезла, продавец расчистил прилавок, устало присел на табуретку и увидел старую женщину.

— Мария Савельевна!

Мария Савельевна как-то виновато и горько улыбнулась. Он выскочил из-за прилавка, подошел к ней.

— Мария Савельевна, здравствуйте, как долго я вас не видел. Вам, наверное, мясо нужно. Подождите, я вам дам преотличнейший кусок.

— С костью, — добавила Мария Савельевна.

— Зачем же, — сказал Башир, не поняв иронии, — преотличнейший...

— А я уже взяла с костью.

— У кого?

— У тебя, Башир.

Он удивленно уставился на нее.

— Ну, конечно, у тебя. Ты ведь не глядишь на покупателя. От стыда, наверное. Ты же работал ветеринарным врачом в районе. Пять лет назад ты приезжал на наш вечер врачом, — горько сказала Мария Савельевна. — А вчера не явился. Стыдно было?

Башир не ответил. Мария Савельевна посмотрела ему в лицо: оно было одутловатое, у глаз и губ появились морщины. А ведь когда-то Мария Савельевна любовалась этим лицом: тонким, строгим. Как время жестоко к человеку. А не сам ли человек жесток к себе?

— Ты стал мясником, Башир?

— Что вы, Мария Савельевна, какой из меня мясник, вы же видели... Заведую мясным отделом. Продавец заболел, пришлось заменить его, рубить мясо. — Башир замолчал, потом тихо спросил:

— А ребята ждали меня?

— Ждали... Ты был ветеринарным врачом. Ничего не пойму.

— Из района надо было уезжать. Климат не подходит же-

не. Вот и переехали в город. А устроиться на работу... Конечно, можно в научно-исследовательский институт, да мало ли мест. Только жизнь, Мария Савельевна... она стала сложной штукой. У меня ведь шестеро детей, жена болеет. Скажите, а ребята ждали меня? — снова спросил он.

— Ждали, Башир.

Мария Савельевна отстранилась от стены.

— На следующий вечер придешь?

— Приду, Мария Савельевна, честное слово, приду. Я вчера весь день ходил, ну, сам не свой. Душа рвалась туда, к вам, в школу. И еще как-то на неделе с Муртузом повздорили. Мораль мне читал, как следует жить, и как не надо. Будто я кого-то ограбил, обсчитал. Ну, скажите, Мария Савельевна, разве стыдно работать завмагазином, продавцом... Или я отстал от времени, или стал глуп? Не знаю. Если судить по Муртузу — стыдно.

— Нет, почему же. Я думаю, и Муртуз такого не скажет. Но ведь ты же ветеринарный врач. — Мария Савельевна замолчала, потом тихо проговорила: — Ветеринарный врач. Поэтому Муртуз не выдержал и наговорил тебе...

Мария Савельевна медленно пошла из магазина. Башир шел рядом, в белом, местами вымазанном халате. На улице он взял двумя огромными ручищами ее маленькую руку и тихо сказал:

— Вы простите меня, Мария Савельевна, что так получилось в жизни... Может, я к этому и шел. В народе говорят: рыба ищет, где глубже... Но я работаю честно... Мария Савельевна. Прошу вас, заходите ко мне в магазин, когда нужно — не стесняйтесь. Заходите, я буду очень рад вас видеть.

Мария Савельевна ехала домой и думала о Башире...

Жизнь, как сказал Башир, сложная штука. Она всегда была сложна. А может, Башир и не столь виноват перед собой, перед жизнью, перед ней, своей учительницей?

ЕЩЕ БЫ ПАРУ МЕСЯЦЕВ, ДОКТОР

— Вот ты скажи мне, дорогой друг, честно скажи, вот рисуешь ты свои картины, потом что?

— А потомставляю на обозрение, на выставку.

— Получаешь деньги, отдаешь на выставку, это и я знаю, хотя и не слишком грамотный. Ну, а дальше?

— Дальше... Приобретает музей, если вещь заслуживает внимания. Покупают любители.

— Так-так-так... любители. Все ли любители?

— Всем не угодишь.

— А мою птицу берут все. Любишь не любишь, а есть надо. А кто может не любить птицу, скажи мне, Модест, есть такой человек? Вот ты — берешь птицу?

— Так, изредка, в основном люблю баранину.

— Хотя бы изредка. Значит, ешь. А я не покупаю картин. У нас в красном уголке все стены заляпаны картинами...

— Это вырезки из журналов, наверное...

— Все равно. Скажу тебе откровенно, Модест, сын любит, правду говорю, любит. Где-то покупает альбомы, полный шкаф у него. Как-то раскрыл, смотрю — глазам не верю — голые женщины. Одна сидит, другая лежит. Ну, думаю, Музаффар, хорошего сына воспитал, голыми бабами увлекается. Посмотрел другие альбомы — нет. Потом он мне рассказывал, правда, о каком-то Ренуваре, по-моему. А мне зачем они, эти Ренувары? Мне птица нужна, чтобы кормить вас, и Ренувара вместе с вами. На голодный желудок таких женщин не нарисуешь.

Модест долго смеялся...

Палата была предназначена для одного больного. Первое время Модест ходил по больничному парку, делал зарисовки, иногда выносил мольберт. Но ослабев, стал работать в палате, пристроив все свое снаряжение и небольшой мольберт у окна. Он ощущал, чувствовал, как уходили силы. И когда однажды у него попросили разрешения пристроить в палате на неделю больного, он с радостью согласился. Одному становилось не-возмогу.

Сосед оказался разговорчивым человеком. Он подолгу мог рассказывать о своем районе, о птицеферме, которой заведовал, о веселых аульских происшествиях. Но если замечал, что утомил Модеста, тут же умолкал. На полуслове. Больше всего ему нравилось вести беседы о смысле жизни. Начиналось это так. Проведя мясистой ладонью по лицу, и закрутив кончики усов, Музаффар шарил черными глазами по комнате, затем останавливал их на Модесте и спрашивал: — Дорогой друг, как чувствуешь себя? — Если Модест отвечал, «хорошо» или «недурно», Музаффар со вздохом произносил:

— Что за жизнь. Из тех десятков лет, предначертанных нам судьбой, и половину не можем прожить без болезней и в свое удовольствие. Вот ты умный человек, дорогой друг, скажи мне...

И начинались поиски ответа на вопрос о смысле жизни. Но он умел и помолчать. Долгими часами мог замороженно смотреть, как работает Модест. Боялся шелохнуться, чтобы не скрипнула кровать. Но стоило Модесту бросить какое-нибудь слово, как он тут же, словно изголодавшись, затевал разговор.

Прошла неделя, месяц. Медицинское обследование Музаффара продолжалось, и в сердце его вкралась смутная тревога. Она еще больше обострилась, когда однажды вечером дежурный врач, отмахиваясь от наседавшего с вопросами и расспросами Музаффара, заявил, что у него обнаружили серьезное заболевание, почему и держат в больнице.

Музаффар сник. Взгляд его с каждым днем тускнел, полное лицо осунулось, но беседы о смысле жизни продолжались.

— Для чего мы приходим в жизнь? — спрашивал он Модеста и сам же отвечал. — Чтобы жить, испытать ее сладость и прелесть. Вот ты, дорогой друг, где живешь?

— Где живу? — удивился Модест. — Дома.

— Знаю, что дома. А вот чей дом, собственный или государственный?

— Коммунальный, конечно.

— Вот видишь. А у меня собственный. Двухэтажный. Из горного камня. Восемь комнат и веранда. А во двор выйдешь — сад, а не двор. Хочешь — яблоко срывай, хочешь — грушу, хочешь — черешни. И клубника есть, и лук, и редиска. Жаль, что раньше не знал тебя. В гости забрал бы к себе, жаль, дорогой друг.

Модест задумался. У него тоже была мечта — иметь свой домик, за городом, у моря. Собрал было деньги, да жена заболела, срочно потребовалось везти в Крым. Через некоторое время поднакопил, но сын упросил купить «Запорожец». Купили и однажды врезались в придорожное дерево. Счастье, что без жертв. Машину подремонтировали, продали, да опять невезение — у соседей случился пожар и огонь перенесся к ним. Пришлось делать капитальный ремонт и обновлять обстановку. А мечта о доме не покидала его. Наверное, с нею и умрет...

В теплый осенний день, когда вся палата была залита солнечным светом, вошла пожилая женщина с двумя большими сумками. Она поздоровалась, выложила на стол и обе тумбочки виноград, дыни, яблоки, груши, домашней выпечки чурек, несколько баночек меда, вареных кур, домашнюю колбасу и присела на кровать к Музаффару. Они долго говорили между собой, вернее, больше говорил он, а она беззвучно плакала и утирала платочком слезы. Потом они сидели и молчали. Наконец, женщина встала, приложилась щекой к щеке Музаффара, заплакала и вышла. Музаффар продолжал лежать.

— Хорошо мы жили, — произнес он. — Мирно и богато.

— Почему в прошлом? — спросил Модест.

— Я ей наказал продать дом и перейти жить к ее матери. У той огромный дом пустует, одна она.

— Продать? — Модест не понял. — Зачем продавать?

— Жене с маленькой дочкой у нее будет хорошо, два сына моих работают в Москве.

— Но зачем дом продавать?

— Как зачем, дорогой друг, детям надо немного денег оставить, на похороны расходы нужны. Ты знаешь, какие у нас бывают расходы...

Модест повернулся к нему, недоуменно уставился в бледное лицо и вдруг расхохотался.

— Чего заблеял? Рад, что умираю, да? — прошептал с осуждением Музаффар.

— С чего ты взял, что умираешь, чужак человек.

— А что это значит — серьезное заболевание? Думаешь, если в рисунках ничего не понимаю, — дурной? Эх, дорогой друг. Серьезное заболевание... Рак это. Так бы и сказали, не тянули за душу.

— Глупости говоришь, Музаффар, малодушничаешь.

— Ну, конечно, я глупый, вы все умные. Поэтому я и отправил жену жить к ее матери. Старуха умрет, дом останется дочке. Потому что я глупый. И свой сад продаю, выращенный вот этими руками, чтобы похоронили меня с почестями, а не как-нибудь... потому что я глупый. И кушать мы все это сейчас будем, потому что я глупый. Бросай свои кисточки-мисточки, садись за стол. Пока еще глаза видят и душа просит — надо есть.

Он больше не стал слушать Модеста. Усадив его за стол, Музаффар жадно принялся за еду.

В один из дней после утреннего обхода лечащий врач заглянул в палату.

— Алиев Музаффар. Завтра вас выписываем.

Музаффар уставился на него, ничего не соображая.

— Как, уже?

— Да. Можете ехать домой.

Вы здоровы и можете ехать.

— Домой? Умирать домой?

— Почему умирать? — удивился врач, пожав плечами.

— Кто сказал, я здоров? — Музаффар вскочил с кровати. — У меня рак, вы от меня скрываете, я должен умереть.

— Что за глупости, — повысил голос врач. — Истерик. Какой еще рак?

— А серьезное заболевание? Это что по-вашему, что, скажите? — напирал Музаффар. Врач добродушно улыбнулся и вышел из палаты.

— Обманщики, не дают умереть в больнице, — метался Музаффар по палате. — Обманщики... Пойду к главному, — и он выскочил из палаты.

Вернулся Музаффар в сопровождении главврача.

— Обманщики, — шептал Музаффар, сокрушенно покачивая головой, — разве можно так. Куда я поеду? У меня нет своего дома, своего угла. Какой позор, лучше бы мне умереть. Слышишь, дорогой друг Модест, обманули меня, они и язву не нашли, а я вот очаг развел. Позор.

— Успокойся, может, жена еще не продала дом, дай телеграмму, все образуется.

— Аул меня уже хоронит, а я приезжаю живой, здоровый, и куда? В тещин дом? Позор...

Он замолчал, лег на кровать, свернулся калачиком и притих.

— Как ваша работа? — обратился главврач к Модесту. — Завершается? Честно признаться, мне нравятся ваши полотна.

— Серьезно? — В глазах Модеста мелькнула радость. — Многие из них вызывают споры.

— И прекрасно. Споры вызывает то, к чему люди неравнодушны.

— Безусловно. Но есть вещи, которые принимаются безоговорочно.

— Есть. И все-таки мне нравятся спорные.

Модест искоса глянул на главврача. Успокаивает или льстит? Но морщинистое, старое лицо было серьезным.

— Вы покажете мне вашу работу? Или выпроводите?

Модест подошел к мольберту и осторожно снял с него простыню. Главврач глядел долго, взгляд его застыл, казалось, он перестал дышать. Потом он тихо сказал:

— Как же так, и я не знал...

На холсте был нарисован он во время операции. Не в анфас, не в профиль. Снизу, таким, каким его видит больной, оперируемый. В момент наивысшего напряжения. Взгляд его был решителен, даже жесток, но в уголках глаз трепетала тревога, страх за жизнь пациента. Это было непостижимо, необычно, ново. Большое лицо, склоненное в работе, дышало жизнью.

— Вы же не видели меня в работе, — проговорил главврач. — Вы были под наркозом...

— Видел... под наркозом, — сказал Модест.

— Вы, кажется, превзошли себя, — прошептал главврач.

— Я еще не закончил ее. Скажите, сколько мне осталось жить? — спросил тихо Модест. — Скажите честно.

Главврач сидел, прикрыв глаза ладонью.

— Недели, две, три? — снова спросил Модест.

Главврач неопределенно пожал плечами.

— Мне бы еще пару месяцев, доктор, — просительно проговорил Модест. Он устало опустился на кровать и глядя на свою работу, повторил: — Мне бы пару месяцев.

БЕГ ВРЕМЕНИ

Поезд прогремел, и опять наступила тишина.

Поезда проносились через каждые полчаса с севера на юг и обратно, сотрясая землю, как хромые чудовища. Поезда бывали разные, товарные, пассажирские и почтовые, и вторые почему-то казались ему роднее, словно несли в себе человеческое тепло.

И когда все вокруг обволакивала тишина, притупляя мозг, душу, ему вновь неудержимо хотелось грохота, и тот не заставлял себя ждать.

В открытое окно вливался запах моря: нестерпимо остро пахло водорослями, и он вдруг подумал, что никогда и ни за что не променял бы их на цветы, так тонок и в то же время так сильно, страстно, настойчиво говорил этот запах водорослей о свежести, о романтике, о юности... Он долго сидел, устало откинувшись в кресле, затем внимательно, оценивающе глянул на свою работу и решил, что такой картины он еще не писал и, наверное, больше не напишет. Впрочем, он всегда так думал, создавая свое очередное полотно. Многие его работы успешно экспонировались на выставках, были приобретены музеями, и имя его произносилось с почетом и уважением. Но он этого не замечал, вернее, не хотел замечать, уйдя в мир творчества, созидания, в котором были и горькие дни разочарования, и отчаяния, и счастливые мгновения торжества.

Он потер утомленные веки, еще раз глянул на полотно и остался доволен.

На картине мчался поезд, кружа в вихре тугого воздушного потока золотистую листву. По обе стороны насыпи стоял лес, желтый, утомленный, задумчивый, устремленный к небу, а оно, небо, мягкое и ласковое, исполосованное закатными красками пепельного цвета, переходило в золотистый, который узкой полосой сдвигался с горизонтом.

Он хотел назвать картину «Осень», просто и понятно всем, но какое-то подсознательное чувство подсказало ему, а потом и навязало другое название — «Бег времени», которое ему поначалу не понравилось, а затем пришлось по душе своим философским подтекстом, и казалось, что удачное название радовало его больше, чем сама работа.

В самом деле, думал он, и в стремительном движении поезда, и в роняющем листву осеннем лесе, и в спектре угасающего дня и вечернего неба — во всем ощущается неподвластный нам бег времени.

Снова прогремел поезд, рассеяв мысли. Он встал, подошел к окну. Метрах в пятидесяти дышало море...

Он переехал на окраину города из центра и ничуть об этом не сожалел. Соленое море, ночной порт, восходы и закаты давно привлекали его и теперь стали частью его жизни. Здесь он творил, здесь собирал друзей по случаю окончания работы, а чаще и без случая, просто распить доброе сухое вино. Здесь было покойно, удивительно красиво, и все же чего-то недоставало для полноты жизни.

Он еще некоторое время постоял у окна, потом принял душ, оделся и вышел на улицу. Он любил одеваться со вкусом, что внушало людям невольное уважение уже к самой внешности его. И сейчас старушки, сидевшие на дворовой скамейке, тепло поздоровались с ним и с каким-то умилением долго глядели вслед, перешептываясь, пока он не завернул за угол. Он прошелся по новому микрорайону, развернувшемуся вширь, поросшему словно исполинскими баобабам, многоэтажными домами, посудачил со знакомыми, и внезапно неодолимое желание потянуло, позвало его в центр, старый, милый одноэтажный центр, где прошла большая часть его жизни, и, недолго думая, он сел в подошедший полупустой автобус и через полчаса был на площади. Здесь он вышел и пошел пешком, бесцельно, ни о чем не думая, ни с кем из знакомых не останавливаясь. Хотелось просто побыть одному.

На город давно опустился вечер, из ламп струился лунный свет, когда он очутился у остановки маршрутного такси. Длинная очередь томила в ожидании машин. В нем проснулся художник, и он стал читать, изучать их лица. Его отвлек женский голос:

— Динго, далеко не уходи.

Он оглянулся, стал искать собаку, но ее нигде не было видно. И снова женщина повторила:

— Динго, я тебе говорю?

Чуть поодаль от него прыгала маленькая девочка, и он понял, что обращение это предназначается ей. Он глянул в толпу, поймал устремленный на девочку беспокойный взгляд женщины и признал в ней мать. Внезапно что-то знакомое вспыхнуло в его памяти. Он подошел к женщине и сказал:

— Добрый вечер, Динго!

Женщина взглянула на него удивленно, потом спокойно сказала:

— Вы меня с кем-то путаете.

— Нет, не путаю, Динго. — Он продолжал улыбаться. — Ведь ты же была Динго. Вспомни двор в лунном переулке, игру в испорченный телефон. Это было лет двадцать назад, вспомни, пожалуйста. И того, кто тебя окрестил этим именем...

Женщина приложила маленькую ладонь к щеке, посмотрела

на него долгим пристальным взглядом, словно возвращавшим издалека что-то забытое, близкое, и тихо, жалостливо произнесла:

— Боже мой, это ты... Не может быть!

— Почему же не может быть? Я-то тебя узнал, и изменилась ты очень мало, даже вовсе не изменилась, просто стала взрослей...

— А ты неузнаваем, такой модник и... седой, в такие годы.

— Витамина не хватает и поломанного телефона...

Она глянула на него и вдруг звонко рассмеялась.

— Ты все такой же шутник, только стал крупней... Или нет?

— Ты хотела сказать — постарел.

— Хотела бы — сказала. — Она озорно взглянула на него серыми глазами, и он вспомнил большой кирпичный дом, полутемный двор и озорных девчонок, ни в чем не уступавших мальчишкам. Он приехал в город из высокогорного селения, устроился на первых порах у дяди, с утра до позднего вечера готовился к поступлению на факультет живописи так упорно и усидчиво, что только дядя, возвратившись с работы, чуть ли не силой выставлял его во двор — побыть на свежем воздухе. Здесь он и увидел ее. Стройная, крепкая девчонка первой подошла к нему, и он уже думал, что она протянет ему руку для знакомства, но она окинула его с ног до головы взглядом больших серых глаз и дерзко спросила:

— Откуда ты выискался такой хилый и длинный?

В первую минуту он растерялся, часто заморгал глазами, потом почему-то облегченно вздохнул и неожиданно для себя бодро ответил:

— Витамина нехвата...

Она удивленно подняла брови, очевидно не поняв ответа, внезапно вскинула голову и задорно засмеялась. Ей вторили ребята из беседки. А потом они играли в испорченный телефон, а он называл его поломанным телефоном, вызывая веселый смех.

В один из поздних августовских дней, когда были сданы все экзамены, он вынес во двор мольберт, краски и под восторженные взгляды ребят в течение четырех часов написал ее портрет, а она в благодарность за работу подарила ему книгу «Дикая собака Динго, или повесть о первой любви». Он долго рассматривал красивую цветную обложку, на которой были изображены девочка и собака, потом вдруг заявил, что нарисовал бы лучшую картину, и наконец выпалил:

— А что такое Динго?

— Динго? Это дикая собака, — сказала она.

— Дикая собака?

— Ну конечно. А ты не знал?

— Тогда я буду называть тебя Динго.

— Почему? — удивленно спросила она.

— Потому, что я так хочу. Потому, что это имя тебе идет...

Потому что...

— Вот еще фокусы. — Она повернулась и пошла домой, унося свой портрет.

Ему тогда было семнадцать лет, ей — пятнадцать.

Через некоторое время он перевелся на учебу в Москву, потом прошли годы, юность осталась далеко позади, и Динго с большими серыми глазами не вспоминалась, хотя почему-то ему особенно нравилось писать портреты сероглазых женщин. Спустя много лет он обосновался в южном городе, где когда-то в сказочном прошлом прожил всего несколько беззаботных месяцев, обрел имя и популярность и дарил людям радость красоты и красок...

— Динго, иди сюда, — окликнула женщина девочку.

Девочка подбежала, глянула на него большими синими глазами и прижалась к матери.

— Ну, здравствуйте, Динго. Как тебя зовут по-настоящему? — сказал он, тепло глядя на девочку. Та запрокинула голову, посмотрела на маму, и, словно получив разрешение, произнесла:

— Светлана.

— Ах, вот как! Очень мило. А я-то подумал...

Девочка озорно пробежала по нему глазами:

— А знаете, кем я стану, когда вырасту? Я стану художницей и буду каждый день рисовать мою мамочку.

Девочка посмотрела нежно и преданно на маму и та, улыбнувшись, обратилась к нему:

— Помнишь портрет, написанный во дворе? Забыл... Он очень нравится Динго и она находит, что я и сейчас очень там похожа. А ты забыл все-таки, признайся.

— А твоя девочка очень забавна, — сказал он, не отвечая на ее вопрос. — Презабавна.

— Как и все дети, — поправила она.

— Впрочем, и ее мать была такой же...

Он щедро улыбнулся, и то ли под его теплым добрым взглядом, то ли от нахлынувших, порой так необходимых человеку, воспоминаний юности, она тихо рассмеялась и прошептала:

— Нет, право, ты все такой же, каким был много лет назад.

— Может быть, — сказал он задумавшись и, чуть помолчав, повторил, — может быть...

— Тебе тяжело живется? — спросила она осторожно.

— Нет... Пожалуй, скорее слишком легко...

В это время подкатил легкий, юркий двенадцатиместный автобус, очередь хлынула к нему, девочка и мама помахали ему

рукой и скрылись в сутолоке салона. И машина умчалась.

Он некоторое время глядел на поредевшую очередь, потом заметил, что стал накрапывать дождик, и медленно направился домой. Путь был утомительно длинным, но отдавшись всецело думам об устроенности человека в жизни, о счастье, вороша прожитые свои годы, он подошел к своему подъезду, вошел в квартиру и, не включая света, опустил в кресло. Он окинул взглядом комнату, на стенах которой темнели квадраты картин, закрыл глаза, но покоя не было, и он понял, что ему чего-то недостает, не хватает. И только спустя полчаса, совершенно устав от непрощенных дум, вдруг понял, что ему не хватает девочки Динго! И еще неясно осознавая свое действие, охваченный каким-то беспокойством и страшным желанием видеть рядом крохотное умное существо, вышел из дому и пошел пешком к центру города. «Дети — вот что так ярко и точно определяет бег времени, — думал он. — Они рождаются, цветут и растут, встречают и провожают весны и зимы. А земля цветет, и зелень сменяет снега, и виски обсыпает серебро, и снова пьянит дурман разнотравья.

Так стремительно и жестоко время».

Он шел по полуосвещенным улицам и знал, что завтра снова пойдет на остановку маршрутного такси и снова увидит пятилетнюю Динго, обязательно увидит, потому что за незначительную частицу дня она внесла в его устоявшийся уклад жизни какую-то новизну, еще не окончательно и ясно осознанную им.

Но он знал и другое, то, что время вечно молодо для людей сильной, неиссякаемой воли. Именно она, воля, вызывает в людях неистребимую потребность созидания и творчества, не давая стареть сердцу и угаснуть разуму.

РАБ

Сытин стоял у окна, прижавшись лбом к потеплевшему стеклу, и вглядывался в лес. Его одолевала бессоница. Подремав часа два, он прошагал всю ночь из угла в угол своего кабинета, полистал несколько книг, рукописи, пытаясь заставить себя взяться за перо. Но работа не шла. И вот он битый час стоял у окна и вглядывался в лес.

Сытин относился к числу хороших, умных писателей. Газеты с его рассказами зачитывались до дыр. Тонкие книжки не залеживались на полках магазинов... Но вот уже в течение долгих месяцев Сытин не написал ни одного рассказа.

Все началось с того дня, когда он задумал построить дом у

леса. Нужны были деньги, и он зарабатывал их, выполняя сотни заказов. Брался за все, что предлагали в издательствах и редакциях газет, и из всего выколачивал, как сам выражался, деньги для строительства дома вдали от шума городского.

Долгие месяцы провел он со строителями. Вместе с ними готовил раствор, подгонял кирпичи, сидел на стропилах крыши, вдыхая дурманящий запах свежего леса. А когда они ушли, заново сам перекрашивал оконные рамы, двери, полы.

— Мастера оказались недобросовестными, схалтурили... Все-го не доглядишь, — объяснял он жене и маленькой дочке, когда они смеялись над его необычным увлечением, незаметно перераставшим в страсть.

За все эти месяцы Сытин не написал ни одного рассказа. Если в первые дни строительства ему не давала покоя жажда творчества, она звала, мучила, влекла, а он заглушал, душил ее, то сейчас вдохновение к нему не приходило. Сытин болезненно сознавал, что давно пора вернуться к любимой работе, но на него напала апатия и не было мыслей.

Небо стало серо-голубым.

Сытин распахнул окно, глубоко вдохнул пахнущий хвоей воздух, вдохнул до боли в груди. Потом в пижаме, накинув на плечи пиджак и засунув у порога ноги в шлепанцы, неслышно вышел из дома и пошел по дорожке, выложенной битым кирпичом, к лесу. Не дойдя до него, Сытин остановился в раздумье, свернул вправо, где, извиваясь, бесшумно в молочной дымке текла река, и пошел по берегу.

Было тихо. На противоположном крутом берегу сидели рыболовы. Глядя на них, Сытин улыбнулся, зазевался и ступил в воду. Холодная вода освежила ноги. Он беззлобно выругался, вышел из воды, потом весело рассмеялся.

— Тихо, шальной! — услышал он чей-то сердитый шепот.

Этот пологий берег казался Сытину пустынным, и шепот удивил его. Внимательно взглядевшись, он увидел на кряжистом стволе дерева, дугой выгнувшемся над водой, Митрича. Босой, в белой рубашке и серых холщовых штанах, закатанных до колен, он сидел на стволе, свесив ноги, весь обратившись в слух.

Сытин вскарабкался к нему, сел, тоже свесив ноги, и прошептал:

— С добрым утром, Митрич. Богат улов?

Митрич кивком головы показал на берег. На траве лежали окуни.

— Один, три, шесть, — сосчитал Сытин. — Когда же ты успел?

Поплавок задергался и ушел под воду. Митрич поднял удилще. Над водой засеребрилась, затрепетала маленькая рыбка.

Митрич осторожно бросил ее в воду, затем насадил на крючок и закинул леску далеко вперед.

— Говоришь, когда успел? — В серых глазах его заиграли смешинки. — Моя песня, мил друг, кончается. Вот и спешу жить. Ночь-то, вишь, — загубленные часы. А я их забираю, забираю. Рассвет, река, воздух ядреный; слышь, как пахнет лес-батька, — это все и есть жизнь. Сам знать-то должен, писатель.

Все это Митрич произнес шепотом и снова замер, уставившись на поплавок. Вдруг, резко дернув удилищем, отчего Сытин вздрогнул, он вытянул из воды леску, схватил скользкого окуня большой костлявой рукой, снял с крючка, бросил на траву и, насадив на крючок короткого толстого червя, размахнулся удилищем.

— Мастер ты, Митрич, дай бог другому молодому угнаться, — прошептал Сытин, внимательно наблюдая за нехитрой работой старика.

— Мастер, мастер, — согласился Митрич. — Вот и ты мастер... Читали, поди, тебя в нашем поселке мал и велик. Умных людей народ почитает. Да вот забыл ты народ. Дар божий твой заховался, что ли, где? А народ умное слово любит и ждет...

Сытин почуствовал, как кровь прилила к лицу. «Какое дело этому старому поселковому почтальону до меня? — подумал он. — Разве я сам не чувствую?»

Сытин глянул искоса на Митрича, на его смешно согнутую фигуру, простое, доброе лицо, и рождавшаяся в душе досада исчезла.

— Строился я долго, Митрич, времени много ушло, — сказал он.

Старик не ответил. Он долго, не отрываясь, смотрел на гладь воды, потом заметил:

— Времечка дорогого ушло много — не вернешь. Оно как река: сверху гладь, покой, а внизу течет и течет бесперебойно.

Поплавок задергался и ушел под воду. Митрич продолжал:

— Построй я себе избу-красавицу — лучше ловить рыбку не стану. Построй соловью золотую клеть — лучше петь не будет. Вот в поселке живет Федька. С женкой живет вдвоем. Много ль надо? А чего только не понастроил: и избу велику, и сарай, и гараж...

— Знаю я его, — сказал Сытин. — Это же раб вещей.

— Так чего ему не хватает? А он строит и строит. Кому и для чего? Леший его поймет. Вот ты, мил друг, сказал — раб. Может, раб, а может, не раб. А народу радости от него — ни чуточки.

Митрич замолчал, потом будто про себя прошептал:

— Глядишь, природа и ум здоровый дала, и талант, и мастерство каждому. А многие губят свой талант.

Сытин спрыгнул со ствола и тихо пошел по густой сочной траве, омытой росой.

Из головы не выходил разговор с Митричем. «Удивительный старик, — думал Сытин, — проницательный. А умен, старый черт!..»

Разговор с Митричем навел его на другую мысль. Неужели и он страдает этим пороком, он, писатель, которого любит и чтит народ? Быть того не может. Строительство дома еще не говорит о том, что он, Сытин, стал рабом... Всякое живое существо строится. Вот Федя — это дело другое, это совсем иной человек. Типичный стяжатель. И вообще, какое он имеет отношение Феде? Он и Федя — люди совершенно разные, два полюса одной земли.

Сытин остановился, провел ладонями по лицу, потом, широко раскинув руки в стороны, так, что пиджак упал на землю, глубоко вдохнул колкий воздух, поднял пиджак и, перекинув через плечо, пошел размашистым шагом.

Сытин вспомнил, как появился Федя на строительном участке.

Он перемешивал лопатой раствор, когда услышал за спиной приятный баритон:

— Здравствуйте, сосед. Слышал о вас, вот решил посмотреть, как строитесь.

— Здравствуйте, милости прошу, проходите.

Сытину понравились, пришлось по душе крепкая, ладная фигура Феде, ясный взгляд больших серых глаз, высокий умный лоб под шевелюрой пшеничных волос.

— А строитесь вы добротнo!

Сытин с улыбкой наблюдал, как Федя хозяйским глазом окинул дом, территорию двора, провел ладонью по кирпичной стене, поднявшись на веранду, попробовал прочность досок, потом, довольный, качнул головой.

— Добротный дом. А впрочем, я бы еще пристроил мансарду. Нет, не возражайте, нужна будет, да и красиво — А вот здесь — летнюю кухню, чуть подальше — гараж. Без машины жизнь в тягость. А во дворе — сад. К чему вам цветы? Захотелось — и купить можно. Фруктовый сад — вот что я посадил бы. Фрукты — свои: ешь вдоволь, наелся — продать не грешно...

Сытин слышал многое о Феде, верил и не верил слухам, думал встретиться, познакомиться, узнать поближе.

И теперь ему становилось не по себе от этого разговора. «Стяжатель, — подумал он, — настоящий стяжатель, умный, жадный, расчетливый».

Сытин хотел ответить, что человек живет не ради садилов и домилов, но Федя, будто прочитав его мысль, с иронической улыбкой добавил:

— В жизни, знаете, не только есть идеалы, но и одеяла, кровати, буфеты, гамаки, машины... Вы не подумайте, что я проповедую накопительство, однако то, что можно иметь, следует иметь.

Сейчас, вспомнив монолог Феде, Сытин снова задумался. Как помочь ему, как спасти? Человек утопает в болоте обывательщины. Написать рассказ о стяжателе? Это поможет... Узнает себя, обидится? Да черт с ним, но зато может задуматься, ведь не глуп же, не глуп. Да, надо писать рассказ.

Эта мысль не давала ему покоя в течение всего пути. Поднявшись на веранду, Сытин устало опустилсЯ в кресло-качалку, откинул голову на высокую спинку и закрыл глаза, твердо решив про себя: днем обязательно сесть за работу, обязательно...

Постепенно дрема стала охватывать его. Погружаясь в теплый, мягкий сон, он вдруг вспомнил, что надо бы кухню отделать кафелем. «А работа? — ужаснулся он. — Я же должен писать, я обещал себе!.. О стяжателе. Да, первым делом о стяжателе. Помочь человеку... А может, завтра? Завтра! Боже... Надо еще деревья посадить, вишни, яблони. Фруктовый сад... свой сад...»

И Сытин уснул.

Из-за леса вставало солнце.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫСТРЕЛ

Впервые охотничье счастье улыбнулось ему. Мечтал иметь медвежью шкуру, а стал владельцем живого медвежонка.

Он вышел из лесной чащи, опустил на землю мохнатое, теплое существо, вытер фуражкой пот, струившийся со лба, провел ею по влажной шее и снова нахлобучил на голову. Потом прислонился к кряжистому стволу дерева, поставил ружье рядом прикладом на землю и облегченно вздохнул.

Еще час назад, пробираясь сквозь густые заросли с медвежонком, он понимал, какую опасность навлек на себя: разъяренная медведица пустится в преследование. Нет, он не боялся ее, он вообще не знал чувства страха. Но в чащобе трудно было рассчитывать на победу.

И сейчас он облегченно дышал, прислушиваясь к гулкому биению сердца. Еще минуту назад оно колотилось так неистово, что готово было разорваться...

На земле кувыркался медвежонок, обнюхивая траву, сапоги, приклад ружья.

Он смотрел на этот живой комок, наслаждавшийся беззаботной жизнью, не познавший еще друзей и врагов, и теплая улыбка ложилась на его узкие, резко очерченные губы. Он улыбался одними губами, глаза оставались холодными, внимательными, настороженными. Ему не стоило большого труда представить себе, как это забавное существо будет бегать по его квартире, застланной шкурами зверей, кувыркаться, баловаться с внучатами и недовольно ворчать на взрослых.

А потом... настанет день, когда его придется отдать в зоопарк. А в его богатейшей коллекции не будет доставать медвежьей шкуры, ради которой он предпринял это путешествие в лес. Он отправился в незнакомый, дремучий горный лес один. Сначала на попутной машине с лихим шофером мчался по узким, разбитым дорогам, сползавшим к пропасти. Затем ехал на скрипучей арбе со словоохотливым худощавым старым горцем. И часа три шел пешком, взбираясь по крутым тропинкам все выше и выше, ползая на коленях, хватаясь за кусты, припадая грудью к земле. А из головы не выходили слова горца:

— Зачем тебе медведь, сынок, не жир ли нужен? Не жир, говоришь. Так зачем же без надобности убивать его? За свою жизнь, сынок, я не убил ни одно живое существо. Даже курицу не зарезал. Улыбаешься? Что поделаешь, уж так устроен человек, он на все падок. Ел я и мясо курицы, и мясо марала, и мясо медведя ел, сынок, но убивать их сам не мог. Может, слабость это моя — не знаю.

Он хотел ответить старику, что все созданное природой — для человека. Смотреть на уток и перепелок, маралов и медведей, любоваться и восхищаться ими было бы глупо. Природа постаралась сделать человека владыкой на земле, и он пользуется своим правом и могуществом. И в этом нет никакого преступления. А что касается его, то он вышел на охоту ради медвежьей шкуры... Он хотел ответить, но воздержался: поймет ли старик правильно.

Каждый врач его отделения имел свое хобби. Седоусый Филиппыч был заядлым филателистом, на этой почве сдружился со всеми ребятами со своей улицы, Зиновыч — нумизматом, Серафимовна имела в своем архиве более трех тысяч открыток, Кафаров собирал значки, покупая их у мальчишек по баснословным ценам, а новоиспеченный ассистент хирурга Вагабов сооружал из обыкновенных спичек изумительные терема, мечети, дворцы. Коллеги из других отделений смеялись, и довольно открыто, над их чудачествами. Но они не обижались: «Каждому свое», — отвечали на иронические реплики коллег. А он,

главный хирург отделения, улыбаясь, а часто даже и с хохотом объяснял:

— Каждый сходит с ума по-своему.

Он был хирургом с именем. Не одну сотню людей спас от неминуемой смерти. Тонкие, уверенные, умные и сильные пальцы оперировали сердце и легкие и всегда возвращали человеку жизнь. Всегда, потому что чувство неуверенности не было знакомо им. А в свободные дни они так же уверенно нажимали на курок — и лес оглашался предсмертным ревом или стоном животного.

Охота была его увлечением, вернее, вначале была увлечением, а затем стала необходимостью. В поединке со зверем он испытывал свой характер, проверял силу и мужество, оценивал себя.

Правда, в последнее время, после перенесенного инфаркта, он уже не ходил на крупного зверя, хотя глаз его еще был меток и рука тверда. Довольствовался мелкой дичью. Но как-то за воскресным столом друзья заметили, что в его коллекции недостает медвежьей шкуры.

Был субботний вечер, друзья и коллеги сидели в его гостиной. Они собирались семьями поочередно у каждого. Пили шампанское и танцевали, ели дымящийся, ароматный шашлык и рассказывали всякие были и небылицы. Потом, который уж раз, рассматривали богатую коллекцию шкур и восхищались. И снова пили шампанское. И Серафимовна, допив бокал вина, сказала:

— А знаете, Мустафа, кажется вашей коллекции для полноты не хватает медвежьей шкуры.

Все ее поддержали.

Вечер продолжался, звенели бокалы, дом гудел от смеха и хохота, а мысль о медвежьей шкуре не давала ему покоя.

... Сердце стало давить, появилась тошнота. Он достал из кармана куртки металлическую коробочку, открыл крышку, положил в рот таблетку. «Неужели снова начинается?» — подумал он, но без тени тревоги и страха. Потом поднял оружие и уже собрался подхватить медвежонка, как вдруг в чащобе отчаянно захрустели ветки.

Из зарослей вышла огромная бурая медведица. Увидев человека, она замерла и уставилась на него. Медвежонок, до этого беззаботно бегавший по земле, вдруг со всех ног, спотыкаясь, пустился бежать к матери. Она обнюхала его, ласково, но крепко подтолкнула лапой к густым зарослям и подняла морду. В глазах ее не было ни злобы, ни ярости, лишь выжидание. Они пристально смотрели друг на друга, потом медведица стала тяжело пятиться назад. Он облегченно вздохнул, расслабился, но,

глядя настороженно на медведицу, подумал: «Сейчас она уйдет — ни медвежонка тебе, ни шкуры. А шкура, какая шкура! Чертовски хороша!..»

Звери уходили. Под их тяжестью трескали ветки.

И уже безотчетно, поймав на мушку висок медведицы и вздохнув от слова, внезапно пришедшего ему в голову, — «убийца», он нажал курок.

Ему показалось, что десятки стволов, переломившись со страшным треском, обрушились на землю. Рев, в котором смешались отчаяние и боль, вспорол тишину. Медведица встала на задние лапы, большая, тяжелая, страшная в ярости, и двинулась к нему.

«Промах, — подумал он, быстро перезаряжая ружье. — Первый промах в жизни. Значит, я становлюсь стар... В мои-то годы...»

Он прицелился медведице в голову, и в эту минуту к горлу подступила тошнота, голова закружилась, сердце забилося неровно, с долгими переборами.

Им овладело неведомое до этой минуты отчаянное желание жить, и, сознавая, что между ним и медведицей идет поединок, нажал на курок. И свалился на землю.

Рев и грохот давно растаяли в синем небе, переплетенном ветвями деревьев. Лес погрузился в тишину. По траве бегал медвежонок. Он подкатывался к огромной медведице, визжа, облизывал ее языком, потом перебежал к человеку, обнюхивал его бледное лицо, ружье, лежавшее поодаль, бессильно тыкался мордой в охотничью сумку и снова беззаботно перекатывался по траве.

ЛЯГУШОНОК ПО ИМЕНИ КЛИМ

— Вот здесь и будем отдыхать мы с тобой, Кнопка, — сказал Булатов, осторожно опуская на песок байдарку.

— Ага, — коротко ответила Кнопка.

— А не надоест тебе море?

— Не... е... е... не надоест...

Кнопка, белокурая девочка лет четырех, с широкими плечами, крупной спиной и крепкими ногами, стояла у самой воды в шортах и замороженно смотрела на море.

— Ну-ка, дай руку, пойдем, поможешь мне подмести двор, — сказал Булатов, и они пошли к бревенчатому домику, огороженному деревянным забором.

Булатов был единственным горожанином, а точнее — первым и последним, выбравшим местом для своего дачного доми-

ка, или, как он смеясь выражался, летней резиденции, берег моря. Все другие расположились у канала, вытянувшегося вдоль автостреды, посадили на своих участках фруктовые деревья и виноградники, и многие уже и пожинали плоды своего труда; он относился к ним с неприязнью, считая, что они возбуждают частнособственнические настроения, и утверждал, что земельные участки следовало бы выдавать коллективам, а не частным лицам.

Сам он свой домик, состоявший из просторной комнаты и веранды, служившей и кухней и гостиной, построил у рыбацкого поселка, проводил здесь не только отпуск, но и все свободное время. Даже в поздние осенние и зимние дни, когда работа требовала уединения и тишины.

Распахнув окна и двери, Булатов подмел полы, натянув на веник старый чулок, смел со стола пыль и песок; затем, намотав мокрую тряпку, бывшую некогда брюками, на швабру, освежил полы и, влажный от пота, вышел во двор.

Оставшись в одних шортах, сбросив скрывавшие движения рубашку и сандалеты, он принес в ведре воду и окатил двор.

Звонкий смех дочки остудил его трудовой азарт. Булатов разогнул спину, глянул через забор и вдруг широко улыбнулся, едва удержавшись от смеха. На берегу стоял небольшого роста мальчишка в ластах и в маске и смотрел в их сторону. У ног его лежал прозрачный полиэтиленовый мешок, кишевший раками.

— Кто же ты будешь, дядька-черномор или человек-амфибия? — спросил Булатов, продолжая улыбаться.

— Лягушонок, — закричала Кнопка и снова засмеялась. — Лягушонок он!

И на самом деле, подумал Булатов, похож на лягушонка, а вслух сказал:

— Какой же он лягушонок? Рыцарь... Подойди, рыцарь...

Мальчишка снял ласты, потом маску, и Булатова поразило его лицо: нежное, словно оно светилось откуда-то изнутри, и глаза слишком серьезные, в которых осела печаль. Мальчишка прошел к забору, на минуту исчез, потом на заборе показались его руки и, спустя минуту, голова: он висел на руках.

— Ты уж вошел бы во двор через калитку, — сказал Булатов.

Мальчишка подтянулся, вскарабкался на забор и спрыгнул во двор.

— Так и расшибиться можно, — сказал Булатов, в душе радуясь этой мальчишеской выходке: он любил смелых, решительных, самостоятельных ребят.

Мальчишка, не обращая внимания на его слова, серьезно оглядел двор, дом, потом мужчину и девочку и спросил:

— Так это ваш дом?

— Мой, — сказал Булатов.

— Хороший, — сказал мальчишка. — Только маленький.

— Нам хватит, — сказал Булатов. — Давай знакомиться, что ли? Меня звать дядей Серго.

— Клим, — сказал мальчишка, протягивая руку.

Булатов осторожно взял его ладошку в свои большие ручки и улыбнулся: вот бы со стороны посмотреть сейчас на них или сфотографировать — почти двухметрового роста мужчина и малюсенький мужичок.

— Что же ты не познакомишься с девочкой? — спросил Булатов, когда Клим сел на камень, уткнув личико в острые коленки.

— А что она под мальчишку подделывается? — спросил в свою очередь Клим. — Не уважаю таких.

— Ну и ну, — удивился Булатов. — Боишься, что завоюет твое царство?

— Не боюсь. Я ничего не боюсь. Просто девчонка должна быть девчонкой, а не наполовину...

— Ха...ха...ха... — Булатов разразился смехом. — Ну и мужик. Впрочем, ты прав. Но ведь она еще совсем маленькая. А я-то думал, что ты рассерчал на нее за Лягушонка.

— Пускай зовет, как хочет, — снисходительно сказал Клим. — Она еще маленькая. Таким все дозволено.

Булатов смотрел на мальчишку и удивлялся его серьезным суждениям. Интересно, сколько годков ему, подумал он, и вслух спросил:

— В школу-то ты ходишь, Клим?

— Нет, мне семь еще не исполнилось. А вы футболист, наверное, или тренер?

— Нет, почему ты так решил?

— Футболисты бывают такими здоровыми.

— В молодости, наверное, и я играл в футбол, а сейчас преподаю в институте. Ты знаешь, что такое институт?

— Как не знать, — серьезно сказал Клим и вдруг встал. — Есть хочется. Пойду домой.

— А ты поешь у нас. — Предложил Булатов. Мальчишка все больше нравился ему. — Кнопка сейчас принесет тебе молока и бутерброд с колбасой. Надеюсь, колбасу любишь, а нет — сообразим что-нибудь повкуснее.

— Люблю, — тихо сказал Клим, — а есть у чужих не могу, совестно. Это заработали вы, а я не хочу быть нахлебником.

— Почему же? — Удивился Булатов. — Мы же с тобой друзья. Сейчас вместе приберем двор и пойдем завтракать.

Спустя десять минут они сидели за столом на веранде, дети уплетали бутерброды, запивая молоком, а Булатов медленно потягивал из глиняной кружки пиво и посасывал сухую воблу. Внезапно Клим выскочил из-за стола, бросился стремглав со двора. Булатов, удивленный, собрался было подняться и выйти вслед за ним, как тот вбежал на веранду и бросил на пол с дюжину раков.

Кнопка сначала взвизгнула, потом захлопала в ладоши и, бросив свой бутерброд на стол, прыгнула на пол.

— Очень вкусно к пиву, — коротко сказал Клим, взглянув на удивленного Булатова. — Там еще целый мешок для бабушки. Она их варит. И продает.

— Папа, наверное, погиб, — осторожно спросил Булатов, боясь нанести мальчишке душевную травму, но тот спокойно возразил:

— Я его не знаю. Мне о нем ничего не рассказывают. Зато ребята смеются: ты вылупился, говорят, как утенок, из скорлупы.

— Ничего, брат, — успокоил его Булатов, погладив по головке, — мы вот тоже вдвоем без мамы.

— Что, тоже не было? — Участливо спросил Клим.

— Была у нас мама, умерла.

Булатову хотелось многое объяснить Климу, да и успокоить его, но он тут же подумал, что ничего мальчишке объяснять не надо, он достаточно много понимает и умен.

Некоторое время спустя они вышли во двор, ослепительно сверкавший под солнцем. Клим задержался у калитки и спросил:

— Можно я к вам буду заходить?

— Не только можно, но и нужно, — сказал Булатов, — мы же с тобой уже друзья.

Клим ушел. Булатов долго глядел, как мальчишка волок по песку мешок с раками, в другой руке держа ласты и маску, потом толкнул байдарку в воду, усадил Кнопку, сел сам и, оттолкнувшись от берега, уверенно и сильно стал грести в море.

Утром следующего дня, проснувшись рано и выйдя к берегу, Булатов был приятно удивлен. На песке лежал полиэтиленовый мешок, в котором барахтались несколько раков.

Он сел на песок, и, нежась в ласковом тепле всходящего над морем солнца, стал ждать мальчишку. Клим появился из воды неожиданно: отдуваясь и фыркая, вышел на берег и бросил раков.

— Как называть вас, ловцом раков или искателем жемчугов? — шутливо спросил Булатов.

Мальчишка поморщил лоб.

— Жемчуга здесь не водятся, — сказал он раздумчиво, — а раков сколько угодно.

— А знаешь, дружок, я хочу подарить тебе спиннинг, — сказал Булатов.

Мальчишка серьезно посмотрел на него и тихо произнес:

— У меня все есть. И спиннинг, и удочка, и закидушка есть. Просто мне нравится ловить раков.

Булатов поднялся, постоял у кромки воды, любуясь гладью моря, ослепительно сверкавшего под разгорающимся солнцем, потом вошел в воду и, перевернувшись на спину, поплыл. Когда-то в далекой юности он увлекался плаванием и греблей, имел спортивные разряды и теперь, чередуя разные стили, совершенно не чувствовал усталости, а наоборот, получил хороший заряд бодрости.

Когда он, наконец, лег на спину и раскинул руки, предвкушая покой, рядом всколыхнулась вода, заискрились брызги и высунулась русая головка с фырканием и сопением.

— Еле догнал вас, — сказал Клим, перевернувшись тоже на спину и слабо пошевеливая ногами.

— Однако, ты молодец, — удивился Булатов, — хватило духу заплыть так далеко... А как обратно — осилишь?

— Передохну малость... Мне ласты помогают.

Но Булатов знал: ласты помогают умеющим плавать. Не умеющих тянут на дно.

Когда они вышли из воды, Кнопка резвилась у берега. Присев на плоский, отполированный стихией камень, Клим долго следил за ее игрой, потом обратился к Булатову:

— Кнопка не умеет плавать?

— Пока нет. Надо будет учить.

— Если хотите, я ее научу, — серьезно сказал Клим.

— Плаваешь ты отменно, думаю, и тренером будешь хорошим. Обучай.

Булатов лег на песок и стал глядеть, как мальчишка о чем-то долго говорил с Кнопкой, потом та посмотрела в сторону отца, вошла в море и стала размахивать руками, опускаться с головой под воду, и он задремал. Открыл глаза Булатов внезапно. Кнопка строила замки из песка. Заметив, что отец проснулся, она подбежала и села ему на плечи.

— Папочка, я проголодалась, — сказала она.

— А куда девался твой тренер? — спросил он.

— Лягушонок? Пошел ловить раков.

— Почему ты его зовешь Лягушонком? Он не нравится тебе? — спросил Булатов.

— Просто он такой маленький и в ластах похож на лягушонка.

— Он хороший мальчик, — сказал Булатов, — у него следует поучиться самостоятельности. Как только он вылезет из воды, пойдем завтракать. Я думаю, ты не будешь возражать?

— Что ты, что ты, папочка? — защебетала Кнопка и скатилась на песок.

На следующий день после ухода Клим Булатов, уложив Кнопку спать, сел за работу — он готовил к изданию свой научный труд, и только к ужину поднялся из-за стола. Выпив с Кнопкой по большой кружке холодного молока и поев бутербродов, они оделись и отправились на прогулку. Он медленно и задумчиво шел по берегу, мысленно рассуждая сам с собой и вздрогнул от неожиданного восторженного возгласа Кнопки:

— Папочка, глянь, Лягушонок, папочка...

Булатов поднял голову и только сейчас заметил, что они пришли в рыбацкий поселок. На крыше приземистого каменного дома, прислонившись к трубе, стоял Клим. Услышав крик Кнопки — «Эй, Лягушонок», — тот нехотя поднял голову, глянув вниз, встал во весь свой коротенький рост, напоминая оловянного солдатика, прошел за трубу и исчез. Спустя минуту он уже стоял у распахнутой калитки. Лицо его расцвело улыбкой гостеприимного хозяина.

— Баба, к нам гости! — радостно закричал он во двор.

— А мы гуляли по поселку и увидели тебя на крыше, — сказал Булатов. — Кажется, ты уже покоряешь крыши? А там, гляди, и к небу подберешься?

Булатов окинул быстрым взглядом небольшой двор, увитый виноградником, взгляделся в пристроенную в дальнем углу летнюю кухню и поймал себя на том, что ищет кого-нибудь из взрослых домочадцев. Из кухни вышла дородная старушка и, переваливаясь с ноги на ногу, направилась к ним.

— Здравствуйте, гости дорогие, милости просим в дом. Нам Климентий о вас все уши прожужжал, заходите в дом, отдохните, а я вам горячих пирожков принесу, прямо со сковородки.

— Помилуйте, в такую жару и в дом? — сказал Булатов. — Мы здесь, на воздухе, посидим да и домой скоро отправимся.

— Прямо со сковороды, — продолжала старушка, словно и не слышала Булатова. — А в доме свежо, из морского камня построен-то.

Она принесла тарелочку вкусно пахнущих пирожков, положила на сколоченный из досок столик, за который сели Булатов с Кнопкой, потом пододвинула тарелочку ближе к девочке и ласково сказала:

— Ешь, деточка, ешь, внученька, махонькая такая, а небось уже плаваешь?

Кнопка взяла пирожок, откусила и обжигаясь воскликнула:

— Вкуснятина какая!

Потом, словно вспомнив, что надо отвечать старушке на вопрос, сказала:

— Ага, меня лягу... меня Клим учит плавать.

Клим сидел все это время тихо, внимательно наблюдая за бабушкой, словно контролируя каждое ее слово. Потом, будто спохватившись, сказал:

— А у меня есть свой уголок, хотите посмотреть?

— Ну-ка, vedi, посмотрим твой уголок, — сказал Булатов и, оставив бабушку сидеть, они втроем пошли в дом. Уголок Клим состоял из небольшого светлого столика, полочки, на которой аккуратно расположены были несколько старых игрушек, большой набор морских раковин. Но гордостью Клим были новые учебники, которые ему купила недавно бабушка.

Он бережно и осторожно прикасался к каждой книжке, но когда произнес:

— А я скоро в школу пойду учиться... — в его глазах вместо обычного радостного детского возбуждения от заманчивого и неведомого вдруг вновь приоткрылась какая-то затаенная детская печаль. Та самая печаль, какую Булатов заметил при первом знакомстве с мальчиком.

— Сильно манит учеба? — спросил Булатов.

— Ага! — произнес Клим коротко. — Я хочу стать капитаном.

— Прекрасно! — заметил Булатов. — Но чтобы стать капитаном, надо много знать.

— Я знаю много. И плавать умею, и нырять, и команды капитанские... Вот только кораблем управлять надо научиться...

Булатов чуть было не рассмеялся над потешной детской наивностью, но вовремя удержался: неуместный смех мог бы встать незримой стеной между ним и мальчишкой. Он проговорил тихо и серьезно:

— Вот чтобы управлять кораблем, надо большую школу пройти.

И тут Клим выложил то, что, видно, не раз волновало его детскую душу:

— Это верно, — сказал он серьезно и рассудительно. — Но вот беда: бабушка-то раков ловить не может. Потому она и обращается ко мне: «Кормилец ты мой единственный...»

Вот что тебя смущает! — про себя сказал Булатов и внезапно вспомнил печаль, скользнувшую в глазах мальчишки. — Вот оно что...

Он несколько раз прошелся из угла в угол, поглядел в окно, за которым синело море, потом, переведя взгляд на мальчишку, произнес:

— А знаешь, Клим, приходи ко мне почаще. Будем вместе вопросы жизни решать.

— Так вы же скоро уедете! — сказал недоверчиво мальчик.

— Верно, скоро уедем, — задумчиво проговорил Булатов. — Но ведь воскресенья я всегда провожу в своем домике. Вот и приходи каждое воскресенье.

— Значит, можно? — оживился Клим и в голосе его прозвучала радость.

— Можно, даже нужно, Климентий.

Булатов возвращался к себе в сумерках, посадив Кнопку на плечи. Он шел и думал о мальчишке по имени Клим. Чем привлек меня этот лагушонок, ловец раков? — спрашивал он себя. — Нет, не внешностью, не смелостью, просто, очевидно, самостоятельностью своей, не по возрасту зрелым мышлением и серьезностью.

Он желает казаться настоящим мужчиной, и не знает мужской любви и ласки. Мальчишке необходима мужская дружба, для него она и совет, и опора, и защита.

И внезапно Булатов понял, что он, именно он, к которому привязался Клим, и никто другой, в ответе за судьбу мальчика. Да и бросить мальчишку, отвернуться от него он уже не сможет, потому что не будет доставать ему не по годам серьезного взгляда и детской мальчишеской философии. Он постарается быть ему настоящим большим другом.

От этой мысли Булатову стало светло и радостно на душе, он снял с плеч Кнопку, обнял крепко и прибавил шаг.

САНЯ С ЛУННОГО ПЕРЕУЛКА

Дом, в котором живет Саня, стоит в Лунном переулке, как огромный корабль с квадратными иллюминаторами. Красные плитки кирпича, плотно уложенные до самого карниза, успели потемнеть от дыма, который извергает труба кочегарки.

Саня и дом — ровесники. Саня любит свой дом. И вообще он любит большие красивые дома. Возвращаясь из школы, часами простаивает у новостроек, задрав вверх голову. А сидя за столом, уплетая мамины вареники и компот, слушая мамины наставления не задерживаться на улице после уроков, он рисует в богатом воображении свой дома.

Когда во дворе нет приятелей, Саня поднимается украдкой на башенку, которая выстроена то ли для красоты, то ли на всякий случай на крыше пятого этажа, и завороченно смотрит на ровные длинные улицы, застроенные голубыми, оранжевыми, желтыми домами. Потом, устав от улиц, оборачивается ко двору

и наблюдает, как в дом заходят и выходят люди, как самосвал подвозит к кочегарке уголь и выгружает у стены, как кочегар то и дело выходит во двор, выбрасывая с лопаты на гору шлака огненные куски, которые гаснут и тускнеют, шипя и поднимая вокруг пар. Отсюда видно, как в кочегарке полыхает огонь, точь-в-точь похожий на солнце.

Саня не боится подняться на башенку. Ведь папа часто говорит ему, что мужчина должен быть смелым. И все-таки поднимается сюда Саня тайком. Он знает, что именно этого папа не позволит делать, мама поднимет такой шум: что он ее мучитель, что он ее доведет до могилы, что он совершенно не думает о родителях, все мысли и заботы которых только о нем...

Вот и кочегар Федорыч часто рассказывает ребятам, что мужчина должен быть смелым, решительным, сильным. И сам Федорыч большой и сильный, только глаза у него маленькие, зеленые, вечно чего-то ищущие.

И Саня мечтает быть сильным и честным. О честности почти каждый день, почти на каждом уроке любит говорить Наталья Денисовна, в которую Саня, как и все одноклассники, безумно влюблен. И вот в те минуты, когда голубоглазая, белокурая учительница вдохновенно и увлеченно говорит о честности, Саня рисует в своем богатом воображении сильного человека с ясными глазами.

И у самого Сани глаза светлые, хотя, правда, он и не силен пока, и ростом невелик: такой же мальчишка, как и все третьеклассники. Такой же борец за порядок, как и его сверстники. Зато мальчишки старше возрастом таких не любят и гонят от своей компании прочь.

Так было и несколько дней назад, когда незнакомые рослые ребята взламывали замки и открывали двери сараев. Не с целью обворовать, а просто забавы ради. Подойдя неслышно, Саня долго следил за ними. И в тот момент, когда со скрежетом отвалилась очередная петля, раздался его голос:

— А почему вы это делаете?

Ребята удивленно посмотрели на него, переглянулись и снова приступили к своему занятию.

— Почему вы ломаете, это же не ваши сараи? — снова сказал Саня.

И снова молчание.

— Я сейчас пойду и всем расскажу, — сказал он.

— Не лезь не в свою тарелку, — перебросил один из ребят, подойдя к нему, затем хлопнул ладонью по голове, отчего фуражка скрыла Санину голову по уши, потом грозно прошипел:

— Ну-ка катись отсюда...

— Чего катись? — не поняв, переспросил Саня.

— Пошел вон, — и толкнул его в спину.

Смазывая слезу по щеке, Саня пошел в кочегарку. Федорыч сидел на лавке, блаженно закрыв глаза: на его лице играли блики пламени, которое полыхало в топке,

— Федорыч, там ребята в сараи залезли.

Федорыч открыл глаза, глянул на Саню, не поворачивая головы, улыбнулся.

— Шалят, стервецы, видать-то.

— Не шалят. Они все замки взломали, — Саня с надеждой смотрел на Федорыча, шмыгая носом. — Их прогнать надо.

Федорыч буркнул:

— Вот как воспитали-то родители. Ничего. Вырастут, поумнеют. А ты иди домой, иди, а то ненароком и зашибут.

И снова закрыл глаза в каком-то блаженстве.

Саня вперевалку поднялся на свой пятый этаж, и как только отворилась дверь, закричал:

— Мама, мам, там ребята сараи открыли.

Мама, схватив его за руку, втащила в коридор и захлопнула дверь.

— Почему ты по вечерам шляешься у сараев? Я же запретила тебе...

— Мама, мама, они все замки взломали. Их надо прогнать.

— И наш сломали? — Мама вдруг притихла и вздохнула. — Который раз. Это же настоящие бандиты.

— Никакие они не бандиты. Просто прогнать их надо.

— Не наше дело, Саня... Пусть другие выходят... А замок жаль. Каждую неделю по замку, ах негодяи...

И мама стала сокрушаться и возмущаться. Саня, конечно, понимал, что мама ничего не сможет предпринять, ведь все говорят: женщина — слабый пол, и потому с нетерпением ждал папу. И как только папа вошел в коридор, Саня подбежал к нему с криком:

— Папа, пап, там ребята сараи открыли.

Тот сначала не понял и уставился на маму, но когда мама обрисовала ему всю ситуацию, да еще сгустив краски, он опустил Саню на голову большую теплую ладонь и коротко сказал:

— Они нехорошие ребята. Нечего с ними связываться.

За ужином Саня ковырял в тарелке вилкой и думал, почему ни Федорыч, ни мама, ни папа не попытались разогнать ребят. А когда все легли спать, он долго еще не мог уснуть. То ему виделась блаженная улыбка Федорыча, то покарёженные замки, то открытые сараи... А когда он уснул, вдруг неожиданно, просто ни с того ни с сего приснился добрый Максим Иванович, милиционер, который часто навещался к ним во двор.

Как-то в ноябрьский вечер во двор въехал самосвал и оста-

новился у кочегарки. Из кабины выпрыгнул приземистый шофер и шмыгнул в кочегарку. Потом вышел с Федорычем, и они вместе принялись забрасывать лопатами в кузов уголь. Они работали быстро, не разгибая спин, изредка оглядываясь. Саня глядел на них долго, потом подошел ближе и тихо спросил:

— А почему вы грузите антрацит, а не шлак?

Федорыч и шофер от неожиданности обомлели, переглянулись. Потом Федорыч сделал шаг к Сане:

— Ух какой любопытный-то ты мальчик, Саня. Значит, так надо, ты поди поиграй, поди, поди...

И в кузов самосвала снова посыпались куски антрацита.

— А шлак вы будете увозить? — Саня не уходил. Глаза его так и перебегали с лопаты в кузов и обратно.

— Нет! — огрызнулся сильным басом шофер.

— Совсем не будете?

— Нет, и заткнись.

Саня замолчал. Ему ужасно не понравился шофер. «Грубый, — подумал он, — просто невоспитанный».

— А куда вы увозите уголь?

Федорыч опять выпрямился и собрался ответить, но его опередил шофер:

— В другую кочегарку.

— Где она находится? Далеко отсюда?

— Тьфу, сволочь, — выругался шофер, — отстанешь ты от нас, или?..

— А я вам не мешаю, вы работайте, работайте... — Саня отошел, сел на штакетник, помолчал, глядя на рыжие блики, которые вырывались из кочегарки, потом опять заговорил:

— Федорыч, у нас все жалуются, что батареи никогда не бывают горячими. Всегда только теплые. А многие говорят, это потому, что уголь воруют.

— Как воруют... Кто ворует... — Федорыч резко подскочил к Саньке. — Ах ты, тьфу. Ну-ка, марш отсюда-то. — И влепил подзатыльник.

Саня слетел со штакетника, потом встал, поднял упавшую фуражку и медленно пошел, ощупывая рукой затылок.

Мама еще не успела отворить дверь, как он громко сообщил ей:

— Мама, мам, там уголь увозят.

Мама молча глянула на него и сокрушенно произнесла:

— Вечно у тебя что-нибудь случается. Что еще? .

— Уголь увозят, антрацит. Я сам видел. Федорыч еще мне подзатыльник дал.

Мама поднесла к лицу ладони, потом стала звонить соседям.

— Опять крадут антрацит.

— Не может быть, неужели? Боже мой, когда же это кончится?

— Что случилось, ограбили, воры? Ах, опять пятью пять...

— Ты без арифметики. А еще мужчина... Вышел бы.

— А что мужчина, что мужчина, везде суете мужчину. Позвоните в милицию — приедут...

— А почему я должна звонить? Я не видела...

Гвалт стоял во всем подъезде. Потом все скрылись за дверями. И на площадке остались Саня с мамой. Саня долго удивленно смотрел на маму, потом произнес:

— Можно, я позвоню в милицию? Ведь первым я увидел...

— Нельзя, — отрезала мама. — Нам не больше всех нужно.

Потом, посмотрев Сане в лицо, обняла его голову и добавила, — подождем папу.

Папа выслушал внимательно и маму, и Саню, походил по комнате, потом спросил:

— А как же соседи, почему они не хотят сообщить? — остановился, задумался и закончил: — Ни к чему нам эта история, жизнь и так полна хлопот.

За ужином Саня ковырялся в тарелке и думал: почему соседи спрятались за дверь? А ночью ему снилась всякая всячина: и антрацит, и злое лицо Федорыча, и самосвал, увозящий уголь, и Наталья Денисовна, которая почти каждый день, почти на каждом уроке любит говорить о честности.

А потом... потом был подъезд и опять соседи:

— Слышали, Федорыча увели в милицию...

— Туда ему и дорога...

— Постыдились бы, жалко ведь человека, что он сделал плохого, никого не убил, не обокрал...

— Этого еще не хватало...

— А кто не занимается таким мелочным воровством...

— Так что же ты тогда болтаешь: радиаторы холодны, уголь крадут...

— А ты не тыкай, не тыкай, не то...

— Не ты ли наябедничал. Скажи, а?..

— Вы сами ябеды и сплетницы...

Саня слушал весь этот гвалт у раскрытой двери и думал, удивленно раскрыв глаза: неужели он наябедничал? Ведь он сказал правду Максиму Иванычу, одну только правду.

И глядя на мать, которая стояла затаив дыхание, держа ладони у лица, Саня вдруг громко крикнул:

— Это я сказал дяде Максиму.

Гвалт оборвался. И все молча скрылись за своими дверями. Только внизу послышалось ворчанье.

— Я так и думал, что Чаплыгины наябедничали.

— Я не ябеда, я правду сказал, — крикнул снова Саня. И проснулся.

В окно билось лучами яркое солнце.

Шагая в школу с ранцем за спиной, Саня не смотрел по сторонам, где стояли разноцветные большие дома. Саня с Лунного переулка спешил в школу, спешил к Наталье Денисовне и думал. А думать ему было о чем. Он очень хотел бы стать смелым и честным. Но взрослые... взрослые никак не желали этого понять...

ПРОЗРЕНИЕ ПРИХОДИТ УТРОМ

И пошел снег.

А деревья еще не успели обронить свой осенний наряд, и если вчера, облитые солнцем, казались золотыми, как в сказочном индейском Куско, то сейчас выглядели нелепо и жалко.

И состояние у Шалимова было какое-то промежуточное, не-весомое. Поташнивало, и из головы не выходили слова: «Пора тебе на другую работу, легкую, иначе болезнь согнет тебя. Послушайся моего совета...». Эти слова жгли его в гостинице, взрывались в мозгу, когда он летел из областного центра домой в горы. Почему на другую работу, чем вызвано такое желание... район справляется со всеми заданиями, хотя и не ходит в передовых. Инструкции и указания выполняются. Да что там инструкции и указания... В каждый новый дом, в каждое новое селение, в каждое новое фруктовое дерево он вложил частичку своей души, своего сердца.

Он ничего не мог понять, мысли путались в голове.

Резкий автомобильный сигнал заставил его вздрогнуть.

Максуд открыл дверцу «уазика»:

— Готово. Можно ехать.

— Все проверил?

— Ну...

Он сел рядом с шофером, захлопнул дверцу, и машина мягко выкатилась с площади на узкую аульскую улочку.

Внезапно выглянуло солнце, больно ударило в глаза, и на губы Шалимова легла теплая улыбка.

— И фонарь в дорогу засветил, — сказал довольный шофер, — теперь будет легче ехать.

— Ты меньше тараторь, больше на дорогу смотри.

— Будьте спокойны, товарищ Шалимов, в армии два года генерала возил, а он любил большие скорости...

Шофер был молоденький, розовощекий, но баранку держал уверенно.

— А нам без болтовни нельзя, товарищ Шалимов, машина укачивает, глядишь, вздремнешь и слетишь с дороги.

— Случалось такое?

— Случись — не сидел бы рядом с вами. В жизни, товарищ Шалимов, надо быть оптимистом, точнее реалистом, и ожидать всего.

— Чего всего?

— Ну, всего, что может и не может случиться.

— Забавно, — сказал Шалимов, — забавная позиция. И как в таком случае живется?

— Ничего, спокойно живется. Можно сказать, даже уверенно живется.

— Забавно, — повторил про себя Шалимов. И в памяти снова всплыл разговор с секретарем обкома. Сколько дней прошло, а он помнил каждое слово.

Этот высокий сутуловатый человек с утомленными глазами не желал ему зла — чистый, прямой и откровенный был у него взгляд, и голос теплый, душевный. Да и с чего ему желать зла: родились и выросли в одном ауле, вместе окончили школу и институт, вместе перешли на партийную работу. Много было хорошего, доброго, если вспомнить. Но последняя встреча оставила в душе осадок. И слова: «Пора тебе на другую работу, легкую...». Неужели где-то дана промашка, где-то чего-то не доглядел, не довел до конца, не решил? Но в таком случае сказал бы прямо, открыто, в глаза, а не намеками да вздохами. Хорошо, допустим, я уйду, я уйду, но кто доведет до конца, дорешит, есть ли кандидатура? Есть ли... Второй секретарь напорист, деловит, принципиален, нет, больше прямолинеен, а проявит ли себя на посту первого... Впрочем, этот пост еще не освободился. И не освободится. Нет на то веских причин. А что до болезни, то как ей заблагорассудится, так она и поведет себя. Должна повести. Да и кто сейчас не болеет...

Шалимов удобно вытянул ноги, глубже втиснулся в сиденье и приспустил боковое стекло. В машину ворвался свежий воздух, снег уже растаял, над мокрой землей поднимался пар.

— Быстро меняется погода, — проговорил Шалимов.

— Как сердце красавицы, — поддержал Максуд.

— А ты знаешь ее?

— Кого?

— Красавицу.

Максуд бросил на него лукавый взгляд:

— Так говорят, и в песне поется.

— Ах, говорят...

— Ну... жена Ирацхана, завмага, говорят, хотела уйти от

него, да чего-то не ушла, но опустилась, подурнела, а красавица была — во всем районе первая.

— Не слышал. С чего это она?

— Кто скажет...

— Дом полон всякого добра. Какая муха ее укусила? И почему я не знаю?

— Может, добро ее и душит. Грязное оно, нечестное...

— Ты-то откуда можешь знать?

— Говорят.

— У тебя один ответ на все: говорят, говорят. Ты сам свое мнение имеешь?

— Почему же нет... Вот ты, как говорится, объявили войну пьянству, ограничились, как говорится, продажу водки. Все в ажуре...

— В чем?

— В ажуре. А Ирацхан привозит целую машину водки, но не довозит до магазина. Где-то у моста, говорят, рядом с лоточником, его уже поджидают покупатели из аулов и в пять минут разбирают дефицит.

— Ты посмотри-ка, — мог только промолвить Шалимов. — Неужели правда? Или тоже «говорят»? — Он недоверчиво глянул на шофера.

Тот был сама невозмутимость.

— А разве в том, что говорят, не бывает правды? Скажите, товарищ Шалимов, не бывает?

— Бывает, бывает, — промолвил Шалимов, словно отмахиваясь от вопроса и задумался: «Почему я не знаю? Если то, что говорит Максуд, правда, соседи осмеют на всю республику: если, конечно, правда...»

Машина взяла крутой поворот, и вдруг завизжала, завопила тормозами, замерла бросив его к лобовому стеклу.

— Ах, ты, бабка, — заскрипел зубами Максуд открывая дверцу, — ах, ты, черт...

У самого радиатора стояла старушка с большой вязанкой дров. Она застыла, казалось, на месте и была похожа на исхудавшую черную ворону, которая присела на дорогу и бессильна уже подняться.

Шалимов выпрыгнул на дорогу, подбежал к ней и участливо спросил:

— Мать, что с тобой, не больна?

— Нет, сынок, слава аллаху, здорова, — она сделала несколько осторожных, шаркающих шагов. На склоне горы захрустели ветви и только теперь Шалимов заметил несколько молодых женщин и девочек, укладывавших вязанки.

— Садись, мать, подвезем, — обратился Шалимов к старушке и пошел к машине.

— А дрова? — отозвался Максуд. — «Узик» не верблюд.

— Приспособишь вязанку наверху как-нибудь. Садись, мать.

— Весь тент поцарапает, да и где веревки достать?

Максуд, ворча, снял вязанку со спины у старушки, стал приспособливать ее, а старушка тем временем влезла в машину и удобно расположилась на заднем сиденье.

— Далеко идти, мать? — спросил Шалимов, не оборачиваясь.

— В Сикор.

— В Сикор? — Шалимов недоверчиво покосился на нее. — Это же два часа лезть в гору.

— Верно, сынок.

Максуд устало опустил на сиденье, машина заурчала и медленно покатила по узкой дороге.

— У вас леса нет своего, что ли? — спросил Шалимов.

— Откуда ему быть, сынок, если на нашей горе только пни торчат. И их уже разбирают.

— Сельсовет куда смотрит? — пробурчал Шалимов.

— Что сельсовет? Лес до него вырубил. Спасибо, немного дров он нам завез, да на зиму не хватит. Вот и спускаемся сюда. А там, выше, — лесхоз, не разрешают рубить.

Ехали молча, старушка, очевидно, отдыхала, и говорить ей не хотелось, а Шалимову не о чем было спрашивать ее. И только когда машина, гудя и ворча, взяла последний подъем и с небольшой ровной площадки открылся величественный вид на уходящие вдаль горы, оцетинившиеся сосновыми лесами, и голубую ленту реки, извивающуюся глубоко внизу, старушка осторожно тронула шофера за плечо:

— Сынок, мне здесь...

Максуд остановил машину, помог старушке выйти, сбросил на дорогу вязанку, потом поднял ее, затащил потуже веревку и хотел взгромоздить на спину старушке, но она махнула рукой, мол, брось, присела на вязанку.

— Детей подожду, — сказала она, — а вы поезжайте, счастливого пути, и поможет вам аллах...

Дорога пошла вниз, часто петляя, Максуд сидел серьезный, внимательный и напряженный. Ехали молча. Уже внизу, закончив спуск, проехав районную автозаправочную станцию, Максуд свернул с дороги и выкатил на лужайку.

— Передохнуть надо немного, — ответил он на удивленный взгляд Шалимова. — И арбуз попробовать пора.

— Какой еще арбуз? — Шалимов прыгнул на траву и глубоко вдохнул пахучий воздух.

— Астраханский.— Максуд достал из багажника большой в широкую полоску арбуз килограммов на семь, вонзил в него нож и тот с треском раскололся на две половины.

— Где ты его... раздобыл?— произнес Шалимов, беря из рук Максуда увесистый сочный ломоть.

— В райпо привозили, на прошлой неделе,—ответил Максуд. В городе были. Взял полмешка старикам, племянникам, им арбуз слаще конфет, редкость ведь у нас...

Мимо них прошла пожилая женщина с порожней бутылкой в руке, обернулась, поздоровалась и пошла дальше, к дороге. Шалимов расположился на пригретом солнцем камне и отрезал еще ломоть. После третьего куска ему стало сытно и тяжело. Он бросил на землю плащ, лег навзничь. Вздрыгнул, когда услышал женский голос:

— Не спи на земле, сынок, простудишься, земля сырая, остыла уже.

Шалимов приподнялся, сел, обнял колени и положил на них подбородок.

Максуд тем временем отрезал большой кусок арбуза и подал женщине. Она взяла, благодарно кивнула.

— Что несешь в бутылке, не вино ли? — спросил Максуд.

— Керосин.

— Из автозаправки? — догадался Шалимов.

Она кивнула головой.

— За бутылкой керосина — на автозаправку, — засмеялся Максуд.

— Редко привозят в последнее время, — сказала женщина. А заправка... до нее идти всего час.

— У вас вдоволь электричества, зачем еще и керосин? — удивился Шалимов.

— В хозяйстве нужен... Ну, я пойду, спасибо за арбуз, сладкий, очень вкусный. Давно не ела.

— Возьмите внукам, — Максуд протянул ей кусок килограмма на полтора.

— И не откажусь, — сказала женщина, — спасибо, сынок, порадуя внучат.

Она уверенно, по-хозяйски пошла в гору, бережно держа на ладони правой руки арбуз, а пальцами левой крепко вцепившись в горлышко бутылки.

Шалимов долго смотрел ей вслед, потом устало поднялся и отряхнул плащ:

— Поехали.

Ущелье уже одевалось темнотой, когда вдаль появились очертания громадной горы, устремившейся к небу. Аул Цулюх, ку-

да ехал Шалимов, укрылся за горой, которую им надо было преодолеть.

— Может, заночуем в Кардибе, товарищ Шалимов? — спросил Максуд. — До Цулюха, если ехать ночью, еще часа четыре ползти.

— Почему ползти?

— Дорога паршивая. Днем, конечно, можно на ней плясать, а ночью...

— Поэтом становишься.

— Куда там, товарищ Шалимов. Конечно, будь время, может, что-нибудь сочинил бы.

Шалимов рассмеялся и махнул рукой:

— Давай в Кардиб. Бедная моя старушка, не дожидется меня.

— Нечего печалиться, сегодня передохнем, а завтра — в Цулюхе. Честное слово, матушка ваша поругает нас, если мы ночью отправимся в этот путь.

— Поехали в Кардиб. Вижу, струсил.

Максуд ухмыльнулся,

— Струсил... Ну, ладно, пусть будет по-вашему.

В Кардиб они приехали поздно вечером и направились к дому директора школы Салиха. Салих, высокий моложавый мужчина несказанно обрадовался приезду Шалимова, три брата его, жившие по соседству, набились в гостиную комнату со своими детьми, а женщины принялись хлопотать на кухне.

— Очень рад твоему приезду, очень рад, — не уставал повторять Салих. — И вовремя приехал. Завтра идем на охоту, вовремя приехал.

Он все суетился, не находил себе места, пока Шалимов не усадил его.

— А на охоту не могу. К матери еду. Давно не виделся с ней, вот выбрал время, от отпуска урвал.

— У нас всегда не хватает для матерей времени, — Салих вздохнул сокрушенно. — Недавно мать Муртуза умерла, нет, не того, который с нами в школе учился, тот взял ее к себе в город, долго не соглашалась она уезжать отсюда, сдалась наконец, — умерла мать другого Муртуза, кандидата. Сколько лет в ауле не был, забыл запах родного очага и хлева, горской мельницы, а теперь сидит уже около сорока дней, оброс бородой... Эх, люди.

Салих опять сокрушенно вздохнул.

— Твой пандур еще не разохся? — спросил Шалимов.

— Мой пандур всегда рад тебе служить. — Салих повернул голову. — Магома, подай.

Младший брат Салиха прошел в другую комнату и вернулся с инструментом.

Салих стал настраивать его, потом ударил по струнам, резко, жестко, и запел. Запел сильно. Голос его парил где-то высоко и вдруг опускался, не оборвавшись, не споткнувшись, а просто опускался, скользя с высоких нот на низкие, переходя мягко, мелодично. Он начинал петь, словно речитативом, обыденно, будто в непринудительной беседе передавал собеседнику что-то заветное, душевное. Потом внезапно, страстный, сильный, он снова взвивался ввысь горячо, с жаром, с волнением, не стыдясь никого, исповедывался в своей любви.

Шалимов сидел, закрыв глаза. Ему казалось: то он поднимается над облаками, в синее бесконечное пространство воздуха, то сидит на свежем душистом лугу в кругу милых друзей. Песня очаровала его.

— Убаюкал? Проснись. — Салих засмеялся и отложил пандур. — Женщины, вы хотите уморить моего гостя голодом? Он же меня с работы снимет завтра. Подавайте на стол.

Шалимов ел аппетитно, с удовольствием, и мягкие вкусные куски баранины, и острый хрустящий чеснок, и особенно пышный, свежее испеченный хлеб. И не удержался, чтобы не похвалить:

— Чудесно испекла Айшат, молодец. Слов нет...

— Мука хорошая, — отозвался Салих, — из города привез недавно три мешка. Теперь на зиму хватит.

— Из города привез... — передразнил шутя Шалимов. — У нас муки что ли нет...

— А то есть. Ты бы занялся лодырями из райпо. Пока расшевелиятся, выпадает снег, он нерадивых не любит, и закрывает дороги. Сам знаешь, на полных шесть месяцев. Вот и приходится экономить...

— Когда такое случалось? — в голосе Шалимова послышались стальные нотки.

— Часто случается, ты успокойся только. Твоей вины здесь нет, за всем не углядишь. Муки что ли у нас нет... если бы не было, другой разговор. Безответственных работников стало немало — это другое дело, прямо скажу — беда.

— И никто мне ничего не говорит, — сказал Шалимов, словно продолжая вслух свою мысль.

— И это плохо, — поддержал Салих. — На годекане языками чешут, а пойти кому следует сказать... Да что говорить, и я виноват, да все мы виноваты.

— При чем тут «муки мало». Здесь речь об ответственности, «муки мало»...

— Верно. Но только не гневись, дай-ка, я лучше спою тебе.

Салих взял пандур, ударил по струнам, и буйная, веселая песня, окатив сидевших за столом, взлетела под потолок и,

тщетно пытаюсь найти выход наружу, ввысь, затрепетала. Затрепетала на одной ноте минуту, две. И уже начинало казаться, что она поднялась туда, под потолок, надолго. И вдруг упала. И раскололась на хриплые звуки, потом на шепот и истаяла.

— Зря пропал твой талант, Салих, — сказал Шалимов угрюмо: песня его не развеселила.

— Почему пропал? Гостям пою, друзьям, жене... А помнишь, как мы в школе...

— Заливался ты соловьем, помню, — Шалимов улыбнулся. — Хлебом не корми, только пандур дай в руки.

— А в институте, помнишь, как мы пели дуэтом, особенно в ночь, у окна...

— Не будь пандура, не найти бы тебе своей Айшат.

— Это верно, не найти. Усыпил я ее песней. Ну... и нам пора спать, поздно на дворе, засиделись.

Заснул Шалимов незаметно и скоро. Проснулся он с первым петухом. Не стал завтракать, выпил только кружку буйволиного молока, уступив настоящему требованию Салиха, и, отослав Максуда вниз, стал спускаться по тропинке, крутой и покатой. Салих шел сзади, почти вплотную. Утро было холодное, ослепительное. На вершине горы сиял снег. Машина уже поджидала, мерно урча, когда Шалимов и Салих спустились на дорогу. Друзья тепло простились, Шалимов влез в машину, и она пошла по укатанной дороге, вдоль шумливой горной речки. Необъяснимое острое желание поскорее увидеть мать овладело Шалимовым. Спустя некоторое время они свернули за крутой поворот, и взору открылась высоченная гора, оцетинившаяся сосновым лесом. Внимательно всмотревшись, можно было различить серпантин дороги, уходившей вверх. С левой стороны горы виднелся отполированный утес, напоминающий одинокого стража.

Шалимов тронул осторожно Максуда за плечо.

— Останови, передохнем перед подъемом.

Он опустился на траву и почему-то спокойно, отрешенно сказал себе:

— Я на самом деле болен... Придется уйти...—Потом глянул на гору и громко крикнул:

— Максуд, где ты?

— Здесь я.

— Здесь я, — передразнил Шалимов. — Где?

— Мясо достаю.

— Какое еще мясо?

— Салих дал, в дорогу, на завтрак.

— Узнаю Салиха... Максуд, ты знаешь, чем знаменит тот утес?

— Откуда мне знать.

— С него цулюхцы бросали стариков, чтобы жили молодые. Однажды один молодой человек усадил в плетеную корзину старую мать и взвалил на спину. Когда он поднялся на утес, потлил с него градом, а соленые слезы стекали к губам, и он слизывал их языком. Он снял корзину со спины, осторожно поставил на землю, глянул вниз и отошел. Старая мать безропотно ждала своей участи. Она долго смотрела на сына, потом тихо сказала:

— Да ниспошлет аллах тебе и твоим детям и детям твоих детей здоровье, и пусть будет всегда в твоём доме кусок хлеба и мяса. И не забывай, сынок, что и тебя ждёт такая участь. Мы бессильны перед адатом.

Молодой человек долго сидел на земле, обхватив голову руками, казалось, он врос в землю. И мать не тревожила его — это были её последние минуты.

Наконец, он встал, взвалил корзину себе на спину и пошел в аул.

С того дня стариков перестали бросать с утеса.

— Дикость какая-то, — отозвался Максуд.

Шалимов ещё раз взглянул на гору, нашёл серпантин дороги, который предстояло преодолеть, остановил взгляд на утесе.

Внезапно у него перехватило дыхание, он как-то лениво, без особого желания засунул руку под пиджак и стал тискать непослушными, ослабевшими пальцами грудь. И вдруг повалился на бок.

А недалеко, совсем рядом, полыхал костер, весело трещали дрова, и Максуд быстро и умело отрезал лакомые куски баранины.

Когда Шалимов пришёл в себя, в воздухе пахло шашлыком. Он осторожно вздохнул, стараясь не причинить сердцу боль, и сказал про себя устало: «Прекрасная штука все-таки жизнь». И улыбнулся, вернее попытался улыбнуться. Максуд шел к нему, перекидывая из руки в руку обжигающий шампур.

СОВЕТ ТОУФИКА-БУБЫ

1

Тоуфик-буба сполз на пол, поправил постель, преодолевая боль, вскарабкался на кровать, подогнул под себя ноги и стал совершать намаз. Со словами «Аллах бисмиллай рахман рахим»

у него из горла вырвался придавленный стон. К концу намаза он обессилел и бесшумно скатился на бок.

За окном догорал день. Пятно заката растекалось по потолку.

— Что тебе ниспослал аллах, старик? — Нариман, улыбаясь, вытянулся, от чего натужно заскрипели пружины койки, неосторожно задел спинку кровати и взвизгнул от острой боли, пронзившей тело.

— Чтоб твоему аллаху пусто было, чтобы он остался без пальцев... — Нариман глянул в сторону Тоуфика-бубы, внезапно вскочил и поскакал на одной ноге к его кровати:

— Старик умер, старик умер!

Высокий, крутоплечий, он поднял старика, словно младенца, уложил в постель и громко крикнул:

— Зовите дежурного!..

— Оживает, — тихо произнес Салман, стоявший за спиной, — оживает, слава аллаху...

Тоуфик-буба застонал, с трудом разлепил веки и, глядя в потолок, прошептал:

— За что меня так жестоко карает аллах... что я совершил предосудительного, грешного... За всю свою долгую жизнь ни разу не захворал... И вот, на старости лет, когда одна нога уже в могиле... О аллах, лучше бы ты меня послал к моим проатцам...

Нариман глянул на маленькое сухое лицо старика, заросшее короткими седыми волосами, встретился с голубыми глубоко посаженными глазами, улыбнулся и поскакал к своей койке. С шумом опрокинувшись на спину, он зевнул и пробурчал:

— Аллах глух к твоим мольбам и просьбам, старик. Ты уже сам позаботься о себе.

— Чепуху несешь, парень, — Салман сел на свою кровать, вздохнул. — Молод, кровь кипит, а жизнь не с того конца познаешь. Все мы дети аллаха...

— Тоже, правоверным стал, — Нариман отдельно, язвительно повторил — Пра-во-вер-ный. — И зло засмеялся.

— Э, нечестивец, не оскверняй имя аллаха, — послышался слабый голос Тоуфика-бубы.

— Ты слышал, старик, он правоверный...

— Грех смеяться над верующим, сынок. Надо уважать всякого человека, даже только потому, что он рожден человеком.

— Правильно говоришь, Тоуфик-буба... Чему только их не учат теперь, а уважение к аллаху... эээх. — Салман зло ударил костылем о пол.

— Прекратите базар, — прокатился бас с четвертой койки.

— Болтают о всякой чепухе, покоя нет...

Наступила тишина. Тоуфик-буба долго смотрел на потолок, потом тихо произнес:

— Все от аллаха, всему жизнь и смерть дает он. Тебе бы знать коран... Мудрая книга, сынок. Не грех ее знать и молодым: вреда никакого, а пользу может принести.

— Нам она ни к чему, старик, — тихо ответил Нариман. — Пичкать голову всякими хабарами.

— Это ты зря, — донесся бас с четвертой койки. — Старик прав. Знать надо все.

— И этот нечестивец подал голос, — пробурчал Салман и собрался было выйти из палаты, но его остановил голос Наримана:

— Не могу пснять, с каких пор деяги и спекулянты стали верить в аллаха, а аллах покровительствовать им.

В горле Салмана что-то забулькало, зашипело, потом он с силой выдавил кашель и закричал, весь побагровев:

— Спекулянт ты, твой отец, весь твой род!.. кепек оглы... Ни капли стыда, ни совести не осталось у тебя. Таким ли думал вырастить тебя старый Самед, мир праху его. Тоуфик-буба, меня... я отдал столько лет своей жизни торговой работе, а этот нечестивец... — Салман повернулся к Тоуфику-бубе, сверкая маленькими черными глазами и раздувая и без того большие ноздри, под которыми торчали, как пики, черные густые усы. — Это я дожил до такого дня, что меня спекулянтом обозвали!.. Аллах тебя покарает за это, о аллах... — Он поднял лицо кверху и, стуча костылями, вышел из палаты.

— Все мы дети аллаха, сынок, — Тоуфик-буба в другое время прочел бы назидание и тому, и другому, назидание, которое у него походило на сказку из «Тысячи и одной ночи», но сейчас не было сил, да и мысли заняты другим: он не хотел идти под нож хирурга, да еще на восьмидесятом году жизни. Его тяготила больничная обстановка, и он вот уже несколько дней тоскливо пел тихим хриплым голосом: «Эзиз даглар, эзиз даглар...» Будь он моложе хотя бы на двадцать лет, то обязательно сбежал бы куда глаза глядят, только бы не под нож... Какой срам!.. Да еще этот больничный халат, эти соседи по палате, зубоскалящие по всякому поводу и без повода...

— Спекулянт, да еще какой, — сказал Нариман. — В соседнем от меня ауле живет. Дом как крепость, двор ломится от фруктов. Забор высотой в два метра. Каждую осень уезжает на Урал, на Север торговать своим добром, а магазин на замке. Разнесет слух, что едет желудок лечить и исчезает месяца на два. Разве твой аллах так велел людям жить? Да и аллах ему для ширмы...

— Не гневи аллаха, — простонал Тоуфик-буба, схватившись за живот. От острой боли на лбу выступила испарина.

— А, ну тебя, старик, — Нариман всердцах повернулся к стене, — с твоим аллахом. Почему-то он не вылечит тебя до сих пор. Темнота...

За дверью послышался стук, шарканье ног, затем в палату вошли медсестры с носилками.

— Бабаев, готовимся к операции...

Тоуфик-буба побледнел, оторвал руки от живота и замахал ими на медсестер:

— Аллах... Не дай мне взять на душу грех, избавь меня от этих женщин...

Но они, не обращая внимания на заклинания, осторожно подняли его, уложили на носилки и пошли по коридору. Тоуфик-буба лежал без движения, затаив дыхание и закрыв глаза: он готов был сгореть от стыда и позора. Второй раз он попадал на носилки помимо воли своей. Раз в ауле, когда за ним приехала скорая помощь, и вот сейчас... Тоуфик-буба чувствовал, как его внесли в кабинет, опустили на пол. Он приоткрыл глаза: медсестер не было. Кабинет пуст. Он осторожно встал, отворил дверь, крадучись, бочком вышел в коридор и, опустив голову, засеменил к своей палате. Войдя под удивленные взгляды соседей, он лег на кровать и с головой укрылся одеялом.

— Если меня не обманывает чутье, наш старик сбежал... Ха-ха-ха...

— Э-эх, неудачливый сын почтенного отца, — Салман, стоявший в дверях, горестно и сокрушенно вздохнул. — Ушел, не убежал, а ушел. Аллах увел его из-под ножа этого лопухого Марка Наумыча.

— Ты на что намекаешь, — прокатился бас из угла. — Прав Нариман, оказывается, у тебя низкая душонка, тьфу...

— Что вы на меня взъелись? Чем я не угодил? Чтобы божья кара пала на вас... — закричал Салман, брызгая слюной.

— Разве я думал оскорбить чем-то этого мучителя... Э-э-э — врача... Вот он отрезал мне полноги, я же ничего не сказал...

— Тебе бы обе отрезать, — пробубнил в подушку Нариман и зажал уши: он понял, что сейчас полетится брань.

Тоуфик-буба стянул с лица одеяло, окинул взглядом палату и тихим, назидательным тоном произнес:

— Если хотите знать, да простит нас, грешных, аллах, род человеческий пошел от них. И пророки у нас одни. Да и будет вам известно, что Сулейман и Дауд не кто иные, как Соломон и Давид... Ооо, аллах...

Он опять застонал.

— Разве я что-нибудь плохое сказал, — вкрадчиво произнес

Салман. — Не оскорбил, не обидел. А впрочем... — он на минуту замолчал, сощурил глаза. — Ты почему убежал из операционной, Тоуфик-буба? Не от гяура ли?

В коридоре послышались приглушенные возмущенные голоса. Потом в палату вошли медсестры, беззлобно ругаясь, уложили Тоуфика-бубу на носилки и понесли.

Все это произошло так быстро, что он не успел вымолвить ни слова, только испуганно и тоскливо поднял вверх, а потом и совсем закрыл глаза. Он открыл их только тогда, когда его положили на операционный стол.

Над ним висела огромная лампа, по обе стороны стояли люди в белых халатах.

Тоуфик-буба горестно вздохнул и прошептал:

— О аллах, прости меня, старого, что я взял на себя тяжкий грех...

Из глаз выкатились слезы и поползли по щеке к уху.

— Почему вы боитесь, отец? Ничего страшного с вами не случится. Вот вырежем лишнее, и будете жить еще сто лет...

Тоуфик-буба увидел над собой низко склоненное лицо. Оно было красиво. И большие карие глаза, и полные по-девичьи губы, и подбородок с ямочкой — и все дышало добротой. Только уши... они не понравились ему: уши торчали в стороны, как ручки кастрюли.

— Я верующий человек, сынок, — тихо проговорил Тоуфик-буба. — Не подобало мне на старости лет лежать на этом столе под такой лампой.

— Верующий, говорите? Ну что же, все мы верующие, без нее, без веры, жить нельзя.

Тоуфик-буба насторожился: не ослышался ли он, неужели это говорит доктор? Он широко и настороженно раскрыл глаза и встретился взглядом с доктором.

— Да, да, отец, без веры жить нельзя.

— Правильно, сынок, верные слова говоришь, — не сдержавшись, прошептал Тоуфик-буба.

— Только бог-то у каждого свой.

— Аллах, сынок, только один...

— Считают так, а на деле? Вот ваш сосед по палате, Салман, разве он верит в твоего бога. Для него бог — деньги. Дневная выручка. Вот для Наримана бог — правда.

— Но ведь ты не мюэлим, сынок, а будто заглянул им в душу...

— И у вас свой бог, и этот бог — честь.

— Ээээ, что ты говоришь. Честь тоже дается аллахом. Все от аллаха.

— Я тоже верую, отец. Мой бог — вот они. — Он поднял обе руки, растопылив пальцы.

Тоуфик-буба посмотрел в улыбающиеся большие карие глаза, внезапно весь сжался от пронзившей тело боли, устало вздохнув, сказал:

— Аллах у всех должен быть один, сынок. И все от аллаха. Он сотворил нам умные руки и деньги... Да простит он меня, делай свое дело, сынок...

Тоуфик-буба закрыл глаза и весь напрягся, чтобы не закричать от боли. Но ее не было. Он ощутил слабое давление на живот, затем услышал знакомый твердый звук, будто разрезали высушенную буйволиную кожу. Потом уснул.

2

Тоуфик-буба сидел на веранде своего двухэтажного дома и, блаженно улыбаясь, грелся в лучах остывающего ноябрьского солнца. Глаза его под низко опущенной на лоб папачой были закрыты, между пальцами скользили и стучали черные шарики четок. Он изредка открывал глаза, оглядывал двор, по которому степенно вышагивали индюки и вприпрыжку бегали куры и петухи, и снова закрывал веки. Большая белая овчинная шуба, нагретая солнцем, навевала дрему. По улице протарахтел трактор, потом, разрезав тишину, промчались несколько машин, оставив в воздухе звуки зурны, дробь барабанов, восторженные крики...

— Дай вам аллах счастья, — прошептал Тоуфик-буба, понаблюдав, что мимо него проехала свадебная процессия.

Потом опять настала тишина.

Тоуфик-буба открыл один глаз и глянул во двор: у сваленной горки дров кот играл с мышью. Он подталкивал ее лапой, перекачивал по земле, захватывал в рот, потом выпускал и снова подталкивал... Устав, видимо, от баловства, кот прихлопнул мышь лапой и лег напротив, уставясь на нее. Внезапно мышь юркнула в дрова. Кот, словно выпущенный разжатой пружиной, метнулся за ней, ударился головой о поленья, забегал вокруг...

— Эх-хех-хе, эх-хе, стар стал, из ума выжил, эх-хе-хе, — забормотал Тоуфик-буба, даваясь от смеха, потом вытер ладонью наворачнувшиеся на щеки слезы и закрыл глаза.

Его уже клонило ко сну, когда кто-то схватил его за рукав шубы, затеребил, приговаривая:

— Проснись, буба, проснись. Сабир-буба умирает.

Он разлепил веки, протер их ладонью. На него испуганно смотрел внук, семилетний Аслан.

— Что за вздор. Я его недавно верхом на лошади видел, а ты...

Но тут же вспомнил, что видел-то уж не так недавно, а до того, как был увезен в больницу, дней двадцать назад.

— Честное слово, умирает, я сам видел, я ходил к Абакару, а он говорит — буба умирает, сердце кто-то ему давит...

Тоуфик-буба встал, засунул ноги в азиатские калоши, взял в руку толстую дубовую палку и засеменял, перебирая четки. Он осторожно спустился по деревянным ступеням во двор, у ворот остановился и, не оборачиваясь, крикнул:

— Ты побудь дома, Аслан!

Тоуфик-буба вышел за ворота и, пригнувшись, медленно пошел по улочке вверх. Все эти дни он ходил не разгибая спины, боясь, что швы, наложенные доктором Марком, разорвутся. Дойдя до ворот дома Сабира-бубы, он остановился, передохнул, снял папаху, вытер со лба испарину, потом опять надел на бритую голову и вошел во двор.

В углу двора невестка Сабира-бубы Гюльназ, красивая, с продолговатым лицом молодая женщина, возилась с телятами. На ее спине покоились, как змеи, две длинные толстые косы. Да, она же была первой красавицей аула, — вспомнил Тоуфик-буба и, улыбнувшись, сказал:

— Мир вашему дому, дочка.

Женщина подняла голову, синие глаза ее были заплаканы, лицо осунулось.

— День добрый, Тоуфик-буба, проходите в дом, я только только вышла от него...

Тоуфик-буба медленно поднялся по ступенькам на веранду, вошел в комнату, сбросил у дверей калоши, приставил к стене палку, прошел к подушкам, уложенным вдоль стены, и сел на одну из них. На кровати, укрытый толстым шелковым одеялом, лежал старик.

— Эээ... как тебя свернула болезнь, — подумал Тоуфик-буба, перебирая четки и мысленно сокрушаясь: еще совсем недавно полное и румяное, лицо Сабира-бубы отекло и пожелтело. Потом тихо произнес:

— Салам алейкум, Сабир. Да возвратит аллах тебе силы. Я слышал, ты себя скверно чувствуешь...

— Ва... алейкум... салам, — тяжело, с длинными паузами произнес Сабир-буба. — Какой-то аждаха поселился в мою душу, аллах его заberi, то сжимает сердце, то разжимает. Что делать — не знаю. Посоветуй, Тоуфик...

— Не знаю, что и посоветовать, аллах велик и всемогущ, да ниспошлет он тебе здоровье.

— Э...ээ...ооо, — простонал Сабир-буба, поблѣднѣв и скривив рот. — Ооо, опять... схватил...

— У меня сердце никогда не болело. Не могу себе представить, ума не приложу, кто может сердце сжимать,— Тоуфик-буба провел ладонью по лицу, задумался. — Снадобья принимал какие? Если нужно, Фирузу пришлю. Как рукой снимет...

— Ооо... разное пил... много пил... А аждаха давит и давит. Видно, Тоуфик, он пришел по мою душу.

Помолчали. Тоуфик-буба опустил голову, потом тихо, но убедительно сказал:

— Значит, надо ехать к Марку... Да простит нас аллах за отступничество.

— Что такое Марку...ооо, давит, Тоуфик, как буйвол давит.

— Доктор он, Сабир, хороший доктор...

— Не говори так, или ты выжил из ума на старости лет... ооо... Тоуфик, сам взял грех на душу и меня тянешь в яму...

— Ну и умрешь, отдашь душу аждахе.

— Доктор неверующий... И Фирузины снадобья не помогли...

— Ты верно говоришь, Сабир, только доктор Марк тоже верующий.

— Э-хе-хе, оо-хее, ээ... — засмеялся сквозь боль Сабир-буба.

— Семьдесят лет живу, мои уши не слышали такой небылицы.

— А теперь слушай. У него тоже есть аллах, свой, правда, но есть.

— Свой... какой такой свой, Тоуфик... Ты, я вижу, на старости лет свихнулся. Оооо, давит, проклятый аждаха. Верит, говоришь, ээе... ээе.

Оба замолчали. Тишина нарушалась то и дело слабым стоном больного да перестуком четок. Молчание длилось долго. Потом Тоуфик-буба, опершись рукой о пол, встал, засеменял к двери, опустил ноги в калоши, взял палку:

— Подумай, Сабир, жить и червь тоже хочет.

Затворив за собой дверь, он спустился во двор, зажмурился от яркого солнца и, подойдя к женщине, проговорил:

— Как же это, дочка, его скрутило... Такой был крепкий, веселый... Да, на все воля аллаха...

Женщина всхлинула:

— Медсестра сделала уколы... Он кричал, не позволяя. Мамед заставил...

— Да-а-а, на все воля аллаха, — повторил Тоуфик-буба и пошел к выходу. Остановившись у ворот, не поворачивая головы, он тихо сказал:

— Дочка, все-таки его надо отправить в город, в больницу. Пусть Мамед повезет его.

И вышел на улицу.

Он ступал осторожно, не разгибая спины, чуть прищурив глаза, волоча одной рукой за собой дубовую палку, а другой пе-

ребирая черные шарики четок и тихо напевал: «азиз даглар, азиз даглар».

ОЗАНАКАЙ ЕХАЛ К СЫНУ

1

Всю ночь свирепствовал ветер. Он ломился в дверь, стонал в дымоходной трубе, толкался за калиткой и обессиленный валился с ног где-то за стеной сарая. И вдруг снова обрушивался на дом, в безумной злобе пытаясь размять, раздавить, расплющить его и выплюнуть в буруны.

Озанакаю не спалось. Не потому, что стихия покушалась на его дом, как, впрочем, на все дома в ауле. Озанакай бывал в куда более сложных переплетах. Здесь, как-никак, дом да люди рядом. Растолчет стекла — заткнешь зияющие дыры окон матрацами и одеялами. Сорвет ураган крышу — выстоят стены. А бури здесь бывают свирепые, как одичавшие чабанские псы. В прошлом году внезапно налетевший из-за бурунов ветер долго воевал с аулом. Снес крыши с двух соседних домов, сбросил их на огороды, расшвырял все заборы, разорвал провода и умчался. Месяц назад он, Озанакай, еле унес ноги от смерти. Смерть, оказывается, подкарауливает человека за каждым поворотом дороги, за каждым буруном. Внезапно ударил сильный мороз, такой, что выдавливал слезы, мгновенно застывавшие на ресницах. Сбил Озанакай свою большую отару в кучу, а сам чувствует, как леденеет тело.

Огромные псы жалобно скулили, глядя в темное небо и прижимаясь застывающими боками к затихшим, присмирившим овцам.

Озанакай последовал примеру псов: залез в самую гущу отары и лег с овцами, подобрав под себя ноги и вобрав голову в овчинный полушубок...

Озанакаю не спалось. Не потому, что стихия покушалась на его. Нет. Что-то натворил сын и надобно ехать в город.

Выйдя на веранду, он засунул в холщовый мешок большой белый круг сыра, три пышных, румяных, домашней выпечки, чурка и жирного индюка, завернутого в несколько газет, потом вошел в комнату и сел у печи. Накаленная полыхавшими и утробно гудящими углями, она стала навевать дрему.

— Старый шайтан, — забормотала недовольно жена, ворочаясь в постели за стеной. — Сам не спишь и другим не даешь...

«Тоже не спит, — сокрушенно подумал Озанакай. — Ничего не скажу ей про сына. Нечего зря терзать ее больное сердце. Да и о чем говорить, когда сам ничего не знаю?»

Во дворе с большими паузами завывал пес.

«И чего ему-то не спать... что может его тревожить? Пес есть пес... Нет, не говори так, Озанакай, пес — существо разумное и плачет он, и стонет, как человек, и смотрит когда с сочувствием, когда с лаской, а когда и с гневом. Да говорить не может». Озанакай вспомнил, как появился Шайтан в доме. Однажды, вернувшись из школы, Султанбек вынул из портфеля не книги, как бывало обычно, а белого щенка. Он переваливался с ноги на ногу и тыкался черной мордочкой во что попало. Ах, шайтан, — проговорил Озанакай беззлобно, с мягкой улыбкой глядя на белый комоч у своих ног, — какой страшный шайтан, где ты его нашел, сынок?

И хотя вырос щенок в огромного, сильного, красивого пса, белого как снег, с черной мордой, звали его все по-прежнему Шайтаном. Для Султанбека он был и другом, и конем, и соперником в борьбе.

Размышления Озанакай прервали мелодичные звуки ударов настенных часов. Пробило пять. Озанакай прошелся по комнатам, потом решительно вышел на веранду, обул сапоги, надел тулуп, каракулевую высокую папаху, попрощался с женой, наказав беречь себя и не надрываться по хозяйству, подхватил мешок и вышел во двор. За глухим стуком дверей остались тепло, уют и покой.

Автобус стоял у гостиницы, большой, как дом. Озанакай осторожно положил на землю мешок и прислонился к деревянному штакетнику, тянувшемуся вдоль всей длинной пыльной улицы. Ветер уходил за буруны.

Спустя полчаса к автобусу подошли еще несколько пассажиров. Преклонных лет невысокий мужчина в папаче и в кожанке опустил к ногам своей старухи ведро, взгляделся в Озанакай узкими щелками глаз и удивленно произнес, указывая пальцем на автобус:

— Ва, тебя приставили сторожить этого большого барана? Щелки глаз вовсе закрылись: он беззвучно смеялся.

Озанакай простодушно улыбнулся.

— Ты ли не знаешь, что этот баран без шофера никуда не денется? — продолжал мужчина. — Стоило ли так рано выходить! — щелки глаз раскрылись, насколько было возможно.

— К сыну еду!

— Да, дети нам — и радость, и хлопоты, и волнения. И пока на ноги поставишь, да и после, не дай аллах ногам подкоститься.

— Этот проклятый ветер вовсе лишил покоя. Как бы чего не случилось с отарой, — сказал Озанакай и задумался.

— Не ветер — аждаха. У Заирбека, соседа моего, забор,

словно ребра бараньи, расшвырял, и с сарая крышу снес. Уже который раз. А за отару чего волноваться? Чабаны присмотрят. Не бросил же ты ее?

— Что ты, что ты, такое преступление взять на совесть... Директор совхоза дал разрешение. И душа, скажу тебе, так и просится, так и рвется к сыну.

— Наверно, давно отбился от рук, — произнес хриплый женский голос, — ты — здесь, он — там, в большом городе. Войдет во вкус городской жизни — и дух чабанский забудет.

Озанакай хотел ответить, но в это время в одном из окон одноплатной гостиницы вспыхнул свет, спустя несколько томительных минут скрипнула дверь, и на крыльцо, громко и глубоко зевая, вышел мужчина.

— Ну вот и шофер, — облегченно произнес Озанакай, словно сваливая с плеч непомерную тяжесть.

Застегнув пуговицы куртки, шофер быстро пересек двор, вышел на улицу, обогнул автобус и поднялся в кабину. Двери автобуса нехотя и со скрипом отворились.

Озанакай сел в мягкое кресло, устало прикрыл глаза и весь ушел в думы о сыне.

2

Декан взглянул на Султанбека из-под тяжелых очков в роговой оправе, выдавил на синих губах, какие бывают у больных сердцем людей, улыбку, отчего на морщинистых щеках появились глубокие бороздки, и снова повторил:

— Просто взяли и ударили?

— Я жалею, что только раз ударил.

— Как вы сказали?

— Жалею, что раз ударил...

Султанбек стоял у стола, опустив голову. Прямо перед ним сидел Суслик, как прозвали однокурсники Суслаева за маленький рост, худобу, щедрость. Он катал по скамье бумажные шарики, то и дело бросая на Султанбека колкий взгляд маленьких мышиных глаз.

... Они возвращались с опытного хозяйства вчетвером. В лицо дул штормовой ветер, и приходилось почти ложиться на него, чтобы не относил назад. Шли медленно. До города было еще далеко.

— Тьфу, собака, — прокричал Суслик с дрожью в голосе, — совершенно не дает нам двигаться. Так мы и к ночи не доберемся.

— Что слезу пускаешь? — откликнулся Султанбек, — вернешься на ферму, переночуешь с коровами.

Он шел впереди, за ним, не договариваясь, пристроились остальные трое.

— Тебе-то что, ты привык... а я дух их с трудом переношу, — вновь задрожал голос Суслика.

— Ничего, переживешь, пересилишь свою интеллигентность. Как обогреют тебя, так и привыкнешь к духу.

— И как ты мог пойти в зоотехники, ума не приложу, — прокричал где-то позади Теймураз.

— Суслик ум приложил, и как следует, не одну ночь думал думу свою, — донесся голос Стаськи, — верно говорю, Суслик?

— Верно, — задрожал голос Суслика.

— Его путь лежит не в коровники и не в кошары, а ровно и прямо в аспирантуру, — продолжал Стаська. — Верно говорю, Суслик?

— Верно.

— Так-то, товарищи будущие зоотехники, — заключил Стаська и замолк.

— Тьфу, собака, не могу, ребята, устал, я пережду, посижу где-нибудь, вы идите...

— Не просидеть бы тебе здесь годы, — засмеялся Стаська, — топай давай, будущее светило, а пока ты не светишь, никто тебя не заметит.

Султанбек остановился, дышать становилось трудно, от быстрой ходьбы тело покрылось испариной.

— Держись за меня, легче будет идти.

— Уткнись в спину, держись за мой тулуп.

Султанбек теперь шел медленней, чтобы Суслик не отставал.

— В ногу иди, в ногу...

— Тебе легко, ты привык ходить, — задрожал снова голос Суслика.

— И ты привыкнешь.

Султанбек вспомнил безлунную, черную, как сажа, ночь, низкое, тяжелое небо, которое неожиданно навалилось сверху...

В отаре недосчитали десять овец, и он с Шайтаном ушел в буруны, на поиски. Пес, рыча, метался по бурунам, исчезал и вновь возвращался. Только когда забрезжил жидкий рассвет, они обнаружили жалко прижавшихся друг к дружке овец...

— Мне ни к чему, я не думаю идти в чабаны, — прокричал Суслик, голос его окреп. — Чабанский дух... чабанский дух мне проти... неприятен. Не пойму, отчего такой запах от них...

— Эх, ты Суслик... — прервал его Теймураз, — это дух степей и ветра... Ума не приложу, что из тебя получится...

Султанбек вспомнил студенческий вечер, тот единственный и памятный, который навечно остался в сердце. Он кружился с ней, он был счастливее всех на свете, ему казалось, что вот

вот они оторвутся от паркетного пола и закружатся над землей, он смотрел в ее большие глаза, в юное, чистое лицо, и счастье билось в груди. Он любил ее, да, он любил ее самозабвенно и до сумасшедствия, хотя никому не дал этого понять. Замолкла музыка, они встали у темного окна, учащенно дыша. Она взглянула на него прекрасными глазами:

— Как ты замечательно танцуешь, Султанбек...

— Правда? Твоя школа...

Потом приблизилась к лицу. Он замер.

— В тебе осталось что-то еще такое... чабанское... Понимаешь, Султанбек.

Будто чем-то тупым, тяжелым ударили по голове, ударили внезапно, из-за угла. В глазах помутилось. Перед ним стояла она, кого он любил больше всех на свете, больше себя.

Он повернулся и шатаясь, но решительно пошел к выходу...

— А от меня не несет этим духом? — глухо прокричал Султанбек.

— Несет... от тулупа.

Султанбек остановился, схватил Суслика за борта куртки и направил свой кулак ему в рот...

Дикий крик вырвался из груди Суслика, распластавшегося на земле.

Султанбек повернулся и быстро пошел навстречу ревущему ветру.

Его догоняли уносимые ветром проклятия.

— Собака...а-а-а... зубы мои... выбил зубы... соба... чабанская соба...

... — А вот он сожалеет, что раз ударил. — Громкий голос вернул Султанбека к действительности. — Такие выходки, я бы сказал, хулиганские выходки, караются очень строго. Вы понимаете?

Султанбек молча кивнул головой.

— Так почему вы ударили Суслаева? Не могли же вы побить без причины?

Султанбек глянул на Суслика, продолжавшего катать бумажные шарики, и глухо произнес:

— Пусть скажет Суслаев.

— Суслаев уже говорил, вы что же, не слушали? — Декан удивленно посмотрел на него. — Я могу повторить: безо всякой причины развернулся и ударил в зубы... Так вы хотите, чтобы вас лишили стипендии или еще лучше — исключили из института?

Султанбек продолжал молчать.

Аудитория замерла.

И вдруг тишину разорвал резкий голос.

— Я скажу.

Это был Стаська.

— И я скажу, — послышался приглушенный голос Теймураза.

3

Минавер проснулась поздно.

Она открыла глаза, окинула взглядом серую от туманного утра молчаливую комнату и сомкнула веки, пытаясь уснуть. Но сон уже ушел. В области сердца появилась боль, но ее насторожила и вызвала беспокойство не сама боль, с которой давно свыклась, а какая-то тяжесть в груди.

— Хорошо, что я не поехала с Озанакаем, — подумала она, — только в тягость была бы ему и сыну.

И тут она вспомнила, какие странные сны снились ей ночью, провела маленькой пухлой ладонью по лицу, откинув одеяло, встала с постели, надела теплый халат и, пытаясь отвлечься от сновидений, принялась за уборку, хотя и убирать-то было нечего, потом присела у печи и снова задумалась. Печь уже остыла и дом без тепла казался неуютным, а растопить ее у Минавер не было никакого желания. Угнетали мрачные мысли, и оттого неясная тоска и страх охватывал ее.

Но материнское сердце, и больное, всегда находит здоровый уголок для детей, и Минавер думала о сыне.

Что бы значили эти сны? Неужели с ним случилась такая беда, и Озанакай знал и поехал к сыну, опасаясь беспокоить больную жену? Но ведь он был очень спокоен, а когда тревожится, — это уж она изучила за долгую совместную жизнь, — места не находит дома, беспричинно ворчит, придирается, ищет повод для скандала... Почему же тогда он всю ночь не спал, неужели что-то знал и скрыл от нее?.. Нет, не было похоже, да и откуда он мог узнать, когда писем не было целый месяц, а до города так далеко? Все же чует сердце, что-то случилось, не к добру эти сны.

Минавер накинула на голову большую тяжелую шерстяную шаль, вышла во двор. Тяжелое, пасмурное утро навевало тоску, она нехотя, медленно пересекла двор и подошла к соседскому дому.

— Салима! Салима!

Дверь взвизгнула, и вышла девочка.

— Кто там? А, это вы, бабушка Минавер?

— Я, девочка моя, позови маму.

— А ее нет дома, рано утром ушла, куда не сказала. Заходите к нам, бабушка Минавер.

— Зайду, девочка моя, попозже зайду.

Минавер прошла к сараю, набрала охапку нарубленных дров и зашла в дом. Хорошо, что не оказалась дома, подумала она о соседке и от этой мысли стало легко. — Не дай аллах Озанакай узнает, рассвирепеет. Ох как не любит он гаданья! «Да нагадает еще такое, что рада не будешь. Что может случиться с сыном в большом городе? Добрых людей везде много, в беде не бросят. Это сердце все шалит, больное сердце, вот и покоя не дает, и сны снятся большие. Да и Озанакай уже в городе, если что и случилось—рядом отец. Как я рада, что он поехал к сыну».

Минавер положила дрова, плеснула на них из бутылки керосина, зажгла и поднесла спичку. Взметнулось пламя, в утробе печи заревело, потом стало мерно гудеть. Минавер села, прислонилась к печке и сомкнула веки. Ее охватила приятная дрема. «А что, если поделиться с соседкой сновидениями,— навязалась снова, казалось бы, забытая мысль,—она умеет точно угадывать, так, по крайней мере, говорят в ауле. Зайду и просто будто бы к слову поведаю, послушаю, что скажет. Откуда знать Озанакаю, что я делилась с ней тревогой...» И она стала засыпать.

4

Серый густой туман опутал землю, и автобус шел по авто-страде на самой малой скорости, освещая дорогу фарами.

Озанакай полулежал в кресле и заметно волновался: когда-то приедет в город, и вдруг там такой же туман, а он в незнакомом городе первый раз; как долго придется искать сына. Кто знает, как далеко расположено его общежитие, институт. Адрес-то у него есть. Надо же было обрушиться непогоде именно сегодня! Прожил жизнь, старый дурак, а в город едет впервые. Он усмехнулся, вздохнул, задумался. — Значит, так жил, что времени не было ехать. А плохо ли это? В совхозе его никто ничем упрекнуть не может; чабан он многим чабанам пример и учитель, не случайно носит на груди орден, но то, что в городе ни разу не был, конечно, не дело это. Находили же время чабаны Мустай, Арслан, Акай, в город поехать и в Москве погулять, и в загранице побывать, другую землю и жизнь повидать... А он вот впервые ехал в город и то только потому, что надо ехать к сыну. И тут предстала перед ним вся его жизнь в вечных трудах, заботах, опасностях. Неужто сын, на которого он столько надежд возлагает, подведет, обманет?..

В глубине души он никак не мог, не хотел смириться с этой мыслью.

Озанакай потер рукавом стекло и, прильнув к окну, стал вглядываться в серую пелену, а на сердце становилось тревожно, беспокойно.

НОЧЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Солтан остановил «Ниву» у ворот своего дома и коротко просигналил. Сигнал взмыл вверх и растаял в сумеречном небе. Солтан вновь просигналил. Ворота не открывали. Подождав еще с минуту и побарабанив по баранке, он вышел из машины, толкнул ногой калитку, ступил во двор и бросил взгляд в сторону дома — света не было ни в одном окне. Распахнув ворота и снова усевшись за руль, завел «Ниву» под навес.

У боковой стены дома был просторный навес, высокий, крытый шифером. В одном его углу стояла добротная печь, другой, противоположный угол занимала машина. На жердях, вытянутых вдоль навеса, висели связанные шпагатом крупные гроздья винограда и баранья туша.

Солтан вернулся к воротам, закрыл их, потом медленно пересек двор и по крепкой деревянной лестнице поднялся на веранду.

Привольно раскинувшееся село уходило вниз, к железной дороге. А еще ниже, в полутора часах езды, лежали Большие озера.

Солтан придвинул ногой табуретку, сел, закурил сигарету и, выпуская дым за перила, вспомнил, как лет двадцать пять — тридцать назад ходил на охоту на эти озера. Какой только птицы в те годы не было. И никакого тебе егеря. Стреляй, сколько душе угодно, все вокруг кишело дичью. И лазал без боязни по болоту, по топи, по воде, лежал на земле не думая ни о какой простуде. Возвращался домой увешанный тушками птиц. А теперь охота стала сезонной, разрешается по лицензии, озера замусорены. Одни говорят — человек всему виной, жаден стал до всего, некоторые винят природу. Научились рассуждать и дискутировать по каждому пустяку, умными стали, образованными, а вот собраться вместе и вычистить озера — не могут. Желания не хватает. Подумать только — двадцать пять — тридцать лет, вновь подумал Солтан, а как оскудела природа озер. Двадцать пять... Да, был он тогда юным, легким, ловким, сухопарым, а теперь вон как отяжелел...

Солтан притушил окурок о перила, поплевал на него и, зажав между большим и средним пальцами, выстрелил в сторону ворот. Потом встал, вошел в комнату, нащупал выключатель. Свет ослепил его: со щелчком выключателя заискрились, загорелись цветами радуги посуда в серванте, хрустальные вазы, кубки и цветочницы на столе. Он медленно прошелся по комнате, ноги приятно утопали в пушистом ворсе ковра. На телевизоре заметил лист бумаги, взял его и прочел: «Поехали в Махачкалу на смотр. Повидаю детей. Приеду, наверное, поздно. Мариам».

Солтан положил лист на место и вышел на веранду.

Над двором повис ковш Большой Медведицы. Воздух был теплый и плотный, от земли исходил запах хлеба. Солтан глубоко втянул в себя этот запах, подумал: может, соседи пекут чурек, а впрочем, и прогретая за день земля пахнет точно так, почти так...

Солтан прошел в угол веранды, лег на тахту, уютно вытянув ноги, и только сейчас понял, как он утомился за день. Да разве только за день? Усталость накапливалась, накапливалась в нем в течение долгих месяцев: весной пахали землю, косили траву, перегоняли овец, летом убирали хлеб, осенью — виноград и фрукты, и все эти длинные месяцы он мотался по полям, считал и высчитывал, расставлял людей и работал рядом с ними. И только в зимний месяц позволял себе уехать куда-нибудь на север и там в санатории отсыпался за все месяцы. Но проходила неделя, вторая, он начинал бредить своим хозяйством, раньше срока выезжал домой и всю дорогу рисовал в своем воображении колхоз, его людей, и только спрыгнув на перрон и проводив то-скливым взглядом последний вагон убежавшего поезда, в сердцах сплевывал под ноги и бурчал: «Какая бодливая корова гнала меня сюда?»

Протяжно и тоскливо замычала корова. «Доена ли? — пронеслась в голове Солтана мысль. — А кто мог ее подоить, если Мариам с утра нет? Придется вставать». — Но продолжал лежать. Скрипнула калитка, и женский голос спросил:

— Кто в доме?

Солтан узнал соседку, шестидесятилетнюю Периханум, и, не вставая с тахты, откликнулся:

— Я, тетя Периханум.

— Солтан, что ли? Ну и хорошо. А то сердце забилося: вышла во двор, гляжу — свет в окне и корова мычит, дурные мысли в голову поползли, неужели, думаю, кто-то залез... Не дай аллах...

— Кто может полезть, всем, слава богу, есть что кушать.

— Не говори так, Солтан, за всех ручаться трудно. В доме-то никого нет. Бродячая собака и та позарится...

Солтан усмехнулся и промолчал.

— Солтан!

— Что, тетушка?

— Я хочу тебя попросить.

— Проси, тетушка.

— Будь пострже с моим сыном. Ты его балуешь.

— Вап-пабай, — Солтан чуть не захлебнулся. — Я балую Музаффару? Это для меня новость.

— Да, балуешь. То в Москву едет, то к соседям в Азербайджан, то в Грузию. Жизнь не для того дается, чтобы по ней ездили. Мужчину горб на спине украшает, а не гладкие лопатки...

— Что ты, тетушка, говоришь, он же едет к соседям учиться, все полезное, нужное для нас перенимать.

— А бывает, такую пачку денег принесет,— не слушая Солтана, продолжала Периханум,— такую пачку... Ни отец мой, ни дед таких денег не видели... разве так можно баловать людей?

— Не я придумал, тетушка Периханум, денежное вознаграждение, которое называется премией.

— Знаю, что называется премией. Не дурочка, хоть и институтов не кончала. Только мы своих детей рублем не воспитывали. Знаю, Солтан, не ты придумал эти премии, но ведь ты можешь по своему усмотрению распорядиться: выдавай не деньги, а сделай хороший подарок... Не знаю, но деньги — не лекарство...

— А корову я подоила, не беспокойся за нее. Вот чего мычит,— не знаю, пойду-ка гляну, чего ей надо.— И она, переваливаясь с ноги на ногу, как утка, пошла к коровнику, который стоял в дальнем углу двора. Вскоре она вернулась и, не окликав Солтана, перелезла через высокий порог калитки и плотно привторила ее за собой.

«В ее словах много разумного»,— сказал про себя Солтан и вдруг вспомнил разговор с Музаффаром, который состоялся всего несколько часов назад на перроне станции. Солтан проводил колхозников на ВДНХ, думал напутствовать их добрыми советами, а пришлось читать мораль. И кому? Музаффару.

— Ты что еще выдумал,— Солтан окинул Музаффара суровым взглядом и широко зашагал, заложив руки за спину.— Женщине — женское, мужчине — мужское. Откуда могло в тебе зародиться такое? Может, я чего-то не доглядел?

Музаффар усмехнулся:

— Вы за соседа не ответчик.

— Я за всех вас в ответе. Мне доверили всех вас — хозяйство, людей, с меня и спрос.— Солтан остановился, задумался.— Значит, не сумел еще я стать таким руководителем.

— Вы это зря,— искренне проговорил Музаффар.— Вы для всех нас пример...

— А, перестань,— Солтан поднял и опустил руку, взмах ее был тяжел.— Это тебя деньги испортили, ясное дело, деньги.

— Что я, проедаю их, коплю, прячу? Приношу все до рубля домой. Тут дело не в деньгах. У меня на себя времени не хватает, выспаться не могу по-человечески, а с меня требуют коровам хвосты мыть... Нет, чтобы кто-нибудь за мной поухаживал...

— Может, тебе и лицо умыть по утрам? — Солтан усмех-

нул. — Видите ли, ему стыдно коровам хвосты мыть, он мужчина. А я корове мою хвост, представь себе, мою... Ты, Музаффар, рано зазнался. Сядешь сейчас в вагон, дорога до Москвы длинная, вот и думай всю дорогу, да и всегда думай, как жить человеку на земле. Главному агроному не мешает об этом подумать.

На небольшом уютном перроне былолюдно. Окна одноэтажного длинного здания вокзала и летнего павильона, увитых виноградом, жарко горели в закатном солнце.

Солтан хотел было продолжить разговор, но тут показался оранжевый пояс электровоза, и перрон засуетился, зашевелился. Все пришло в движение.

Музаффар присоединился к трем колхозникам, которые то-ропливо шли вслед за скользившим по рельсам поездом, потом поднялся в свой вагон, прошел в коридор и оттуда помахал в окно Солтану.

Солтану стало грустно. Поезд тихо поплыл мимо перрона, перед глазами пошли, побежали, замелькали лица в окнах, и наконец последний вагон оторвался от перрона, умчался вдаль, оставив после себя оглушенный, притихший вокзал.

Потом Солтан вспомнил, как вышел на привокзальную площадь, постоял в задумчивости, подошел к павильону «Воды-соки», выпил стакан персикового сока, крикнул от удовольствия и направился к небесно-голубого цвета «Ниве». Выехав на центральную магистраль, он подбавил газу, набрал положенные восемьдесят километров и включил приемник: до села было более получаса езды...

Солтан не захотел больше мысленно возвращаться к разговору с Музаффаром. Глядя на мерцание звезд, он поймал красную движущуюся и мигающую точку, проводил ее взглядом до полнеба и вдруг понял, что это спутник. Почему-то ему стало тревожно за эту красную точку: как бы не столкнулась, как бы не погасла... Но где-то в районе Большой Медведицы она внезапно растаяла в лунном небе. Солтан закрыл глаза и тут же уснул.

Проснулся он от шороха. Повернул голову — на веранде никого не было. Что-то в комнате звякнуло, потом глухо упало на пол. «Неужели старая Периханум права, — подумал Солтан, — и как эта беспризорная собака могла так тихо пройти мимо меня? Ну, я сейчас задам ей такую трепку, что больше не повадно будет лезать в чужие дома!»

Но он не успел встать. Двери комнаты открылись, и со шумом яркого света на веранду вышла женщина.

— Мариам? Ты как... это? Ты что, не уезжала?

— Уезжала, уезжала, лежи.

— Но ты выходишь из комнаты?

— А откуда же мне выходить? Я уже почти час как дома.
— Почти час? Но почему я не слышал, как ты пришла?
— Или я залетела бабочкой, или ты уснул как медведь.
— Второе вернее,—засмеялся Солтан.— А ты что спать не собираешься?

— Да вот прибрать решила, утром не успела, ты лежи, лежи, я быстро управлюсь.

— Ты посмотри на нее, ночь на дворе, а она уборку затеяла. Неугомонная ты у меня... Я подумал было прибрать, но в гостиной чисто, все блеснит...

— Блестит, конечно, когда включишь свет. А на столе можно письмо пальцем написать. Столько пыли... Да лежи, лежи, одна управлюсь.

— Ты бы рассказала, как съездила, как дети там...

— Съездила хорошо. Заняли первое место.

Солтан приподнялся, сел, прислонившись спиной к стене, и свесил с тахты ноги.

— Что же ты молчишь до сих пор! Заняли первое место в республиканском конкурсе, а она молчит, да еще уборку затеяла. Не поймешь наших женщин, век проживи рядом — не поймешь.

— Толку от того, что поймете. Беречь надо.

— Ну-у.. мы ли не бережем. Я ли не берегу тебя! Вон какой Дворец культуры отгрохал, не в каждом городе такой увидишь.
— Большое спасибо тебе... А сколько лет я тебе жужжала о нем.

— Ну, сколько лет... Все зависело от казны колхоза. Зато поднял его за два года, а ведь соседи десять лет строят, а то и больше.

— Вот за это и спасибо. И можешь высоко носить свою папаху: твои танцоры и певцы — первые в республике. Разве ты не горд?

— Горд, горд, что Мариам Игитова заставила колхоз выстроить Дворец культуры и сделала свой коллектив лауреатом республиканского конкурса. Ну, а как дети?

— Один был с женой на заводе, твой внук готовился к урокам, а другой — с семьей уехал на Голубые озера, где-то за Нальчиком, кажется.

— Но они ведь знали, что ты должна приехать!

— Ну и что с того? Работу из-за меня не отложишь. И поездку не отменишь.

— Да-а. Так никого и не увидела?

— Я же говорю — внука твоего видела. У них все хорошо.

Мариам подошла, присела на тахту.

— Ты искупался хоть или опять под кран полезешь?

— Под кран.

— Ну что ты скажешь: имея ванну, лезть, как мальчишка, под холодную воду...

— Знаешь, Мариам, под краном чувствую себя юным, двадцатилетним, а чугунное корыто не для меня.

Мариам встала, спустилась с веранды по лестнице.

— Интересно, который час? — вслух спросил Солтан, глядя в проколотое звездами небо.

— Два, — раздался снизу голос Мариам.

— Два-а-а, — протянул Солтан. — Вап-пабай, а чего мы не спим до сих пор? Помой-ка мне ноги, постели постель. Надо ложиться.

Мариам поднялась с большим медным почерневшим от времени тазом в руке, удобно села.

— Ну-ка, давай сюда ногу...

Она положила на колено вытянутую Солтаном ногу, сняла с нее хромовый сапог, отложила в сторону, стянула носок, потом повторила это с другой ногой. Тонкие руки ее делали свое дело быстро, ловко и уверенно. Солтан спустил ноги в теплую воду и блаженно закрыл глаза.

Ему было приятно ласковое прикосновение добрых, чутких рук Мариам. Точно так мыла ему ноги мать, а когда она совсем постарела — старшая сестра. Он приходил с охоты уставший, грязный, сбрасывал ружье, патронташ, трофеи, куртку в угол, а рядом уже стоял тазик с водой, и сестра засучивала рукава платья. Однажды, когда она мыла брату ноги, к ней заскочила подружка Мариам. Остановилась, замерла, побледнела:

— Да разве же в наше время так можно? Что за барские привычки, Солтан? Да и ты хороша, Салима, ноги мыть братцу, ужас какой-то!

А теперь мыла сама. Он и не помнит, чтобы когда-нибудь просил ее об этой услуге.

Руки Мариам поднимались по икрам, опускались к щиколоткам, под ступни, ласково и осторожно растирали натруженные ноги, и Солтан блаженно улыбался.

И, казалось, в этом мире, расцвеченном зелеными мерцающими звездами, не было ничего лучше прикосновения женских рук, мягкой воды, никого, счастливее сидевшей у таза хрупкой женщины и прислонившегося к холодной стене мужчины, ничего милее этого двухэтажного дома с добротной трубой и вытянутым навесом, походившего со стороны на одnogорбого, прилегшего после утомительного пути, верблюда, глядевшего в ночь одним глазом освещенного окна.



ЭТЮДЫ



КОГДА ПОЕТ МИРЕЙ МАТЬЕ

Откуда столько заразительной испепеляющей страсти, неистовой эмоции у этой маленькой женщины? Как в ее сердце могли слиться безмерная любовь и гнев, жгучая боль и сладостная радость? Кем же дан ей этот голос, сильный, содрогающий землю, в котором так счастливо ужились все эмоции души? Кто эта женщина — врач, исцеляющий мою больную душу, или бог-мать, исповедующая меня?

Я готов слушать ее вечно... Страдать и радоваться вместе с ней, гореть и гаснуть, петь и плакать. Я слушаю ее... весь погружен в ее боль и тоску, в ее смех, в печально-усталый вздох, в умирающий шепот.

Кто создал эту женщину, обладающую неопишуемой, невиданной способностью унести человека в свой мир — мир страстей и борьбы, мир забытья и пробуждения?

Я благодарен природе, я благодарен судьбе, что эта женщина существует, что она врывается в мою жизнь, как ветер, вдыхает в меня огонь и стужу, держит в забытии и заставляет трепетать сердце.

Я благославляю ее. И если это сердце пронзит боль, голос прервется на высочайшей ноте, исчезнет последний звук в онемевшем воздухе — я обнищаю и умру душой. В ней будет пусто, и пронзительная пустота будет леденить меня, а пока она поет, она будет еще долго и долго поднимать меня в поднебесье, заставлять неметь и неистовствовать, в радостном исступлении ронять слезу и жить.

Я благодарю ее!

Да, она бог, которому я верую и перед которым стою коленами преклоненно.

А ТЫ ГОРИ, ЗВЕЗДА, ГОРИ...

В комнате тихо.

Поет Сольвейг.

Я окунаюсь в блаженство, родившееся в зеленых фиордах, песня ее согревает меня и возвращает истомившейся душе покой.

Где она, Сольвейг?

А ты рядом и, как всегда, холодна и надменна. Жестокость твоя леденит душу.

Но ты гори, звезда, гори... Твой холод остужает мое сердце (как бы мне хотелось его согреть!), мы не приблизимся друг к другу (а мне хотелось бы сидеть рядом с тобой и молча глядеть в твои черные, как ночь, глаза).

Ты гори, звезда, гори...

Но без тебя в моем мире будет темно и мрачно. Да и может ли жить человек без своей звезды в небе? И пусть они все блекнут и гаснут с наступлением света.

Ты гори, звезда, гори...

Буди мысли мои и воспоминания. И я не боюсь, свет твой не остудит мою кровь, жестокость твоя не сделает меня черствым, а холодное мерцание не ослепит меня.

В моей комнате поет Сольвейг.

Есть еще на свете и Сольвейг, которая воскрешает человека, вдыхает в него жизнь и тепло свое, успокаивает утомленное сердце и уводит в сказочные зеленые фиорды, в край покоя и любви.

А ты гори, звезда, гори.

Я НЕ ХОЧУ УСПОКОЕНИЯ

Когда ко мне придет успокоенье,
мне станет скучно жить.

В груди увянет незаметно сердце
и сморщится как яблоко шафрана,
по синим венам кровь замедлит бег,
и станет легкой голова моя.

И взгляд мой станет скучным и усталым,
и безразличным к травам и дождям,

Раскаты гроз не станут волновать,

И запах моря, розы и жасмина,

Лицо любимой женщины, малого дитя.

И только запах пепла будет рядом

В слепой тоске, преследуя меня...

Я не хочу себе успокоенья!

Не лучше ль жить в седле,

Нестись степями бешеным галопом,
пока однажды не взорвется сердце
и сбросит наземь вмиг.

И у холма, присыпанного серою землею,
упомянут меня не старцем хилым,
а всадником, скончавшимся в седле.

Я не хочу себе успокоенья!

ТЫ ПРИШЛА И РАЗБИЛА МОЕ ОДИНОЧЕСТВО

Ты пришла и разбила мое одиночество.

Расколослось оно на осколки хрустальные, что слепят меня искрами, ранят острейшими гранями. Где мое хладнокровие, показное спокойствие? Я в смятении. Мысли мой мозг затопили. Чувства жесткое сердце мое измочалили. Ожидание вечное взгляд обострило. Если я ненароком тебе приглянулся, можно было признаться, можно было открыться, может быть — полюбить, может даже любовь задушить. Но зачем поступать так коварно, жестоко: оставлять навсегда сиротою меня? Убивать двойника, с кем делился я мыслями, у кого я порою совета просил, для кого и несчастья мои были в сладость, и печали мои приносили покой? Ну скажи, отчего ты так зло поступила? От великой любви? От безумной любви? От слепой неприязни к двойнику моему? Если б знала ты: в нем мое сердце рыдало, и по венам горячим текла моя кровь.

Ты пришла и разбила мое одиночество. Разлетелось оно на осколки хрустальные. Сердце — вдребезги. Мысли и чувства — все вдребезги. Ты ушла... Как скрепить мне осколки хрустальные? И составом каким?

Ты шепнула, по-моему, уходя от меня и шагнув в темноту.

Только я не расслышал. Велико было горе. Ты ушла. Только где же мое одиночество? Где мое одиночество??

СТИХИ О ТЕБЕ

Я пишу стихи о тебе. Не тебе, а о тебе. Не один поэт посвящал тебе стихи, может, даже кто из тайных поклонников становился поэтом. Но писали тебе, а я пишу о тебе...

Потому что ты моя музыка, светлая, проникновенная, лучезарная. Ты моя музыка, уводящая меня в мир изумительных грез и красоты, в мир тишины и юношеских мечтаний. Я пишу о тебе, потому что не могу не писать о твоих глазах. Кто-то сказал, что женщина должна обладать красивыми глазами и голосом. Глаза твои восхитительны! Неужели до меня никто не вздрагивал от их взгляда, не замирал, не пребывал в дивном оцепенении?!

Неужели на нашей маленькой земле еще кто-нибудь, еще какая-то женщина может обладать такими глазами?

И мне хочется одного — чтобы такие глаза были только у тебя. Без них мир мой будет тускл и мрачен, а существование — скучно и серо.

Они всегда передо мной: большие, голубые, в плену длинных ресниц, и днем и ночью, даже во сне глядят на меня.

Я не хочу их сравнивать ни с морем, ни с небом, все это банально, бледно.

Они — музыка, светлая, утонченная, музыка сотен и тысяч скрипок, ведущая меня в мир светлых чувств...

Они — моя боль, потому что мне никогда не быть рядом, не глядеть в них и не целовать их.

Они — мое страдание. Но я благодарю природу за то, что ты есть...

КАПЛЯ РЕКИ

Я заметил тебя в шумной реке пешеходов. Оцепенел. Ты шла стройная, красивая, независимая, устремленная вперед.

Оцепенел на миг, но река не могла остановить своего движения, она подхватила меня и понесла, и я поплыл, влекомый течением все быстрее и быстрее...

Ты была каплей этой реки, но отличалась от тысяч других капель. Ты сверкала и сияла всеми радужными цветами, ты источала свет и тепло, ты обладала неимоверной притягательной силой. Для меня.

Я оказался чуть впереди. Обернулся. Увидел твои красивые губы, слегка тронутые теплой улыбкой (чему они улыбались?), огромные голубые глаза, подернутые мягкой грустью, две прямые стрелочки бровей, ясный лоб.

Ты была...

И божество, и вдохновенье,
И жизнь, и слезы, и любовь!

Мы шли.

Мы текли в этом людском потоке, как две капли одной реки, которые могут быть рядом, могут разойтись, а могут и слиться.

СЕДИНА

Я увидел на висках седину. Серебряные ниточки. Как паутинки, легкие, невесомые, они змеились в черных, как смоль, волосах. Как паутинки, заключающие жертву в свои силки, опутывающие ее своими красивыми и крепкими узами.

Мне стало не по себе, дрожь пробежала по спине, зеркало упало на холодный цементный пол и раскололось. Но что от того? Седину ведь не расколешь.

Не расколешь... И я оцепенел от ужасной мысли: а что, если седина проникла бы в сердце и опутала его? Пульсирующий ком в кружевах паутины, как трепещущая рыба в капроновой сети.

ВЕЧНОСТЬ В МОРСКОЙ РАКОВИНЕ

В моей комнате повсюду разложены морские раковины. Самой необычной формы. Одна, с шершавыми завитками и глубокой розового цвета ложбиной, похожа на пепельницу. Другая напоминает рожок.

Третья состоит из двух полостей, словно два причудливо соединенных уха.

Четвертая похожа на ежа, только вместо колючек на ней темные крапинки.

В этих небольших раковинах, которые природа творила тысячи лет, словно вместились море, вобрав в себя его шум...

Я подношу раковину к уху — и слышу его...

Призывный, неумолчный голос необъятного сине-голубого простора.

Рождаясь где-то в водном пространстве, тяжелые волны угрюго двигаются к берегу, скрывая мускулы под тонкой зеленой тканью воды. И свежий ветер мечется над волнами.

А ровный шум моря не смолкает.

Яхты, как испуганные рыбины с высокими плавниками, летят к берегу, и над ними тревожно кричат чайки. Им по душе спокойная гладь.

Величественно, царственно плывет белоснежный бриг с наполненными ветром парусами. Он — как мечта. И нельзя ему никак без ветра, без свиста в снастях, без качки.

Ровный шум моря не смолкает.

Как много его в этой небольшой раковине, и никак он не стихнет. Какая сила заключила в эту известковую скорлупу шум моря?

Много чудес на свете, и раковина — великое чудо, рожденное, вскормленное морем, несущее в себе его зов, его голос. Оно несет через свою жизнь вечный шум голубого простора.

СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТИ

Кардибская осень	7
Происшествие в ауле Муно	20
Пожар	57
Оборотень	77
Черный день	98
Поездка	125
В Москву за салфетками	161
Семь дней тревоги	176

РАССКАЗЫ

Зимний романс	199
Циклоны уходят	205
У каждого своя голова	210
Еще бы пару месяцев, доктор	216
Бег времени	221
Раб	225
Последний выстрел	229
Лягушонок по имени Клим	232
Саня с Лунного переулка	239
Прозрение приходит утром	244
Совет Тоуфика-Бубы	252
Озанакай ехал к сыну	260
Ночь председателя	267

ЭТЮДЫ

Когда поет Мирей Матье	275
А ты гори, звезда, гори	275
Я не хочу успокоенья	276
Ты пришла и разбила мое одиночество	277
Стихи о тебе	277
Капля реки	278
Седина	278
Вечность в морской раковине	279

Феликс Михайлович Бахшиев
КАРДИБСКАЯ ОСЕНЬ

Рецензенты В. Носов, член СП СССР,
А. Горбанев, доктор филолог. наук, за-
служенный деятель науки.

Редактор С. Муртузалиева

Художник М. Левченко

Художественный редактор В. Арьков
Технический редактор С. Амирханова
Корректор Г. Мурадалиева

ИБ 1711

Сдано в набор 16. 06. 87. Подписано в пе-
чать 23. 08. 87. С 07312. Формат 60×84¹/₁₆.
Бумага тип. 2. Гарнитура «Школьная».
Печать высокая. Усл. печ. л. 16,7. Усл.
кр. от. 17,0. Уч.-изд. л. 17,8. Тираж 10000.
Заказ 1411. Цена 1 р. 50 коп.

Дагестанское книжное издательство
Государственного комитета Дагестанской
АССР по делам издательств, полиграфии
и книжной торговли
367025, Махачкала, ул. Маркова, 55.

Типография им. С. М. Кирова
Государственного комитета Дагестанской
АССР по делам издательств, полиграфии
и книжной торговли.
367025, Махачкала, ул. Маркова, 51.

